

ПОЛНОЕ
Шрейнер
избранное



ОЛИВИЯ
ШРЕЙНЕР
избранное

африканская
ферма
роман

рассказы
и аллегории

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО



Москва
художественная
литература
1974

**ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
А. ДАВИДСОНА**

**ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА
И. САЛЬНИКОВОЙ**

**© ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1974 г.**

ОЛИВИЯ ШРЕЙНЕР И ЕЕ КНИГИ

Оливия Шрейнер.

Это имя многим в нашей стране покажется сейчас незнакомым, неизвестным.

Но наши деды и прадеды отлично знали его. В Петербурге и в Москве когда-то издавалось почти все, что выходило из-под пера этой писательницы.

Раскройешь ли сейчас тогдашнюю «Ниву» или «Русскую мысль», «Журнал для всех» или «Литературные вечера», — всюду найдешь какой-нибудь рассказ Оливии Шрейнер. Переводили ее и в «Живописном обозрении», «Новом веке», «Мире божьем», «Русском богатстве», «Северном сиянии», «Вестнике иностранной литературы»... Выходили ее книги и в издании «для интеллигентных читателей», и в массовой серии «Книжка за книжкой». Выходили и до революции и после, в 20-х годах.

Максим Горький напечатал статью об Оливии Шрейнер еще в 1899 году в газете «Нижегородский листок».

Каким же сильным, звучным был голос этой женщины, если так гулко отзывался в России! А ведь доносился он с другого конца света, с юга Африки. Из мест, где теперь находится Южно-Африканская Республика, а тогда была Капская колония. И даже не из сколько-то известных краев той земли. Не с мыса Доброй Надежды и не

из Кейптауна, или, как тогда писали, Капштадта. Оливия Шрейнер и там-то жила, можно сказать, в захолустье. Как любят писать многие сегодняшние журналисты — в глубинке.

А голос ее разносился по всему миру. Ее печатали в Англии, Франции, Германии...

Для Марка Твена она была крупнейшим авторитетом во всем, что касалось Южной Африки. В очерках о его кругосветном путешествии читаешь: «Я думаю, что основное, о чем я здесь пишу, можно отыскать и в книгах Оливии Шрейнер». Или: «...упомянуто в книгах Оливии Шрейнер».

Что уж говорить о ее родине, Южной Африке! Как писали в 1901 году в одном из петербургских журналов: «Не найдется почти ни одного дома в Капской колонии и других южноафриканских странах, где не было бы ее произведений».

* * *

Оливия Шрейнер родилась 24 марта 1855 года на миссионерской станции в «туземном резервате» Виттеберген («Белые горы») — в глубине Капской колонии, на южном берегу реки Оранжевая. Теперь возле этих мест проходит граница между Южно-Африканской Республикой и государством Лесото.

Отец Оливии Шрейнер, миссионер, был выходцем из Германии. Мать — из Англии. На юге Африки они поселились в 1838 году, еще очень молодыми — отцу было двадцать четыре, а матери двадцать.

Они жили среди местных племен и народов, дольше всего среди басутов и готтентотов. Оба привязались к Южной Африке. Они оставались там до конца своих дней, отец прожил там около сорока лет, а мать — шестьдесят пять.

Девочка, нареченная Оливией, стала в их семье девятым ребенком. Она с детства проявляла очень самостоятельный характер, и отец не навязывал ей своих религиозных взглядов. Но дать ей систематическое образование семья не смогла. На семейный бюджет и без того легли непосильные расходы: троих братьев отправили учиться в Кембридж. И Оливии, когда ей исполнилось семнадцать, пришлось идти гувернанткой на бурскую ферму.

Все-таки семейное воспитание оказалось благотворным. Семья была, по тогдашним южноафриканским стандартам, очень культурной и очень либеральной. Один из братьев, Уильям, десятый ребенок в семье, стал впоследствии, правда на недолгий срок, премьер-министром Капской колонии. В истории своей страны он остался не только как самый либеральный премьер, но и как один из

очень редких государственных деятелей, выступавших в защиту африканцев.

Взгляды Оливии Шрейнер формировались и под влиянием прочитанного, а читала она, зачастую вместо школьных учебников, книги по философии, экономике, теологии, истории, политике. Да и вообще почти все время старалась учиться — сама или под руководством своего старшего брата Теофилуса, который был школьным учителем.

В ее записках сохранился, например, листок с распорядком дня. Она составила его, когда ей было четырнадцать лет. На сон, еду и все прямо не касающееся учебы отводила себе всего семь часов.

С 6 до 8 — французский и немецкий,

с 9 до 10 — музыка,

с 10 до 11 — латынь,

с 11 до 12 — математика,

с 1 до 2 — рисование,

с 2 до 3 — живопись,

с 3 до 4 — латынь,

с 4 до 5 — математика,

с 6 до 7 — занятия с Тео,

с 7 до 9 — читать,

с 10 до 1 — писать.

Во многих из этих предметов она не особенно преуспела. Да и вообще такая программа вряд ли была выполнима. Но она говорит о задачах, которые ставила перед собой юная Оливия Шрейнер.

А дальше школа жизни. Ее университеты — бурская ферма, где она несколько лет служила гувернанткой. Там она начала писать, один за другим, три романа и в 1881 году, когда ей было двадцать пять лет, кончила один из них.

Это была «Африканская ферма». Оливия Шрейнер отправила рукопись в Шотландию, одному из своих друзей, и в том же году отправилась вслед за нею сама. В ноябре 1881 года она прибыла в Лондон. В ее планы, правда не слишком определенные, входило намерение получить медицинское образование.

Но с выходом «Африканской фермы», с 1883 года, судьба Оливии Шрейнер круто переменилась. Роман имел бурный успех. О нем говорили повсюду, писали в газетах и журналах. Его переводили на другие языки. Роман вышел под именем Ральфа Айрона — Оливия Шрейнер, подобно многим другим известным писательницам XIX века, выбрала себе мужской псевдоним. Но подлинное имя автора все знали, и Оливия Шрейнер стала, как писали лондонские газеты, «львицей сезона».

Она прожила в Европе, главным образом в Лондоне, до 1889 года и находилась в центре общественной и культурной жизни.

Она говорила о поэзии с Оскаром Уайльдом, о философии с Гербертом Спенсером, беседовала с Райдером Хаггардом, с Гладстоном.

Особенно сблизилась она с социалистическим движением. Встречалась с лидером немецких социалистов Вильгельмом Либкнехтом и с лидером английских — Кейром Харди. Хорошо знала семью Карла Маркса, была близкой подругой младшей дочери Маркса — Элеоноры, часто виделась с ее мужем, Эдуардом Эвслингом, гостила у Лафаргов, находясь во Франции.

Круг интересов Оливии Шрейнер был очень широк. Она стала в Лондоне популярным оратором на митингах борьбы за равноправие женщин. А вместе со своим близким другом, врачом Хевелоком Эллисом, много работала над изучением психологии секса.

Свои социалистические идеи она наиболее полно выразила в книге «Женщина и труд», которую писала много лет. Вышла эта книга только в 1911 году и сразу же получила известность во многих странах. Была переведена и на русский язык и в 1912 году издана в Москве.

В 1889 году Оливия Шрейнер вернулась на родину, в Южную Африку. Следующее десятилетие было для нее плодотворным. Написала много небольших рассказов. Они были объединены в двух книгах: в 1893 году — «Грезы и действительность», и в 1897-м — «Грезы». В эти годы выходит много ее публицистических очерков о разных сторонах южноафриканской жизни. (Впоследствии, уже после ее смерти, они были собраны вместе и изданы в виде книги под названием «Мысли о Южной Африке».) Издаются и еще две ее книги: в 1897 году антиколониальная повесть «Рядовой Питер Холкит в Машоналенде» и в 1898 году, за год до англо-бурской войны, ее размышления по поводу предгрозово́й обстановки, сложившейся на юге Африки.

В годы англо-бурской войны Оливия Шрейнер мужественно выступила против английской политики. Английская сторона ожидала от нее обратного: все-таки она несла в себе английскую кровь, была близка к английской культуре, писала на английском языке. Но Оливия Шрейнер, хотя раньше и отмечала в своих произведениях немало отрицательных черт образа жизни и психического склада буров, все же в этот трудный для них час встала на их защиту.

Ее протесты против британского вторжения в Трансвааль и Оранжевую Республику были настолько гневными и получили такой отклик в Европе, что, захватив Йоханнесбург, где она тогда жила, английские военные власти, в сущности, держали ее под арестом. В России писали тогда, что с Оливией Шрейнер «обращались очень сурово: ей не позволено было видаться с мужем, ее рукописи были сожжены... и часовому отдан был приказ стрелять в нее при первой же попытке к бегству».

На страницах мировой печати, в том числе и в журнале «Нива», фотографии Оливии Шрейнер появлялись рядом с изображениями увешанных патронташами бородатых бурских генералов. Она вошла в ряд героев бурской войны.

Но кончилась война, и через несколько лет вожди бурских землевладельцев нашли общий язык с английским правительством, пошли на сговор с ним за счет африканского населения. И в 1906 году Оливия Шрейнер писала, что «бурский вопрос» интересует ее уже куда меньше, чем раньше. «Они более чем в состоянии сами позаботиться о себе».

* * *

Чем дальше, тем сильнее волновала ее судьба африканцев и других небелых жителей Южной Африки. В начале 90-х годов она отдала дань увлечению Сесилем Родсом. Он был тогда кумиром всех, кто верил в цивилизаторскую миссию Британской империи. Оливия Шрейнер была с ним близко знакома и, хотя никогда не разделяла восхищения его завоевательными планами, все-таки одно время поддавалась влиянию его личности. Но ее отрезвили зверства его отрядов при захвате междуречья Замбези и Лимпопо, земель, которые он назвал в свою собственную честь Родезией.

Оливия Шрейнер возвысила свой голос против Сесилия Родса, всемогущего тогда на юге Африки, и в целом против действий колониализма. Ее книга «Рядовой Питер Холкит в Машоналенде» открывалась уникальным обличительным документом — фотографией виселицы с трупами африканцев, казненных «пионерами» Сесилия Родса. Эта повесть была во всей мировой литературе первым произведением, где так резко разоблачались английские деяния в Африке и выражалось такое сочувствие африканским народам.

Повесть многократно переводилась и в России, выдержала несчетное число изданий в журналах, в качестве приложения к журналам, в виде отдельной книги.

Симпатия к африканцам — черта непривычная для литературы тех времен — проявлялась и в рассказах Оливии Шрейнер. Это тоже отмечалось тогда в нашей стране. В июньском номере «Журнала для всех» за 1900 год об одном из ее произведений говорилось: «Настоящими страдальцами являются здесь те, которые необъятной массой слоятся под европейским населением Южной Африки, — то дикари, ее исконные обитатели, которые так дорого расплачиваются за свое бессилие и некультурность. Настоятельно рекомендуем рассказ Оливии Шрейнер нашим читателям».

В своей общественной деятельности Оливия Шрейнер стояла куда ближе к африканцам, чем это считалось в ее стране естествен-

ным и принятым. В ее доме бывал наиболее известный тогда африканский политический деятель Джон Тенго Джабаву. И она заявила о своем выходе из кейптаунской Лиги освобождения женщин, когда Лига отказалась принимать в свои ряды небелых женщин.

Взгляд на будущее своей страны, свое политическое кредо Оливия Шрейнер наиболее полно выразила в 1908 году. Тогда создавался Южно-Африканский Союз, предшественник нынешней Южно-Африканской Республики, и обсуждался вопрос о его статусе, о будущих порядках. Журнал «Трансваал лидер» попросил Оливию Шрейнер высказать свое мнение. Ее ответы вышли не только в журнале, но и отдельной брошюрой. Через полвека, в канун провозглашения Южно-Африканской Республики, уже в наши дни, они были переизданы.

И сейчас они звучат злободневно, потому что проблемы, о которых говорила Оливия Шрейнер, не разрешены до сих пор.

Против расовой дискриминации, которая теперь, как и в те времена, является основой южноафриканской государственной политики, Оливия Шрейнер высказалась совершенно категорически: «Я уверена, что попытка строить нашу национальную жизнь на различиях по расе или цвету кожи, как таковых, окажется для нас гибельной».

При решении расовой проблемы Оливия Шрейнер настойчиво предлагала своим соотечественникам смотреть в будущее, а не только исходить из прошлого. «Проблема XX столетия не будет повторением проблемы XIX века или еще более ранних времен. Рушатся стены, отделявшие континенты друг от друга; повсюду европейцы, азиаты и африканцы будут перемешиваться. XXI столетие увидит мир очень отличным от того, каким он предстает на заре XX. И проблема, которую предстоит решать нынешнему столетию, заключается в том, чтобы достичь взаимодействия различных человеческих общностей на более широких и благотворных основах, которые обеспечили бы развитие всего человечества в соответствии с современными идеалами и с современными социальными требованиями».

Предлагая своим белым соотечественникам смотреть на будущее открытыми глазами, Оливия Шрейнер писала: «Не всегда европейцы будут составлять верхний слой».

Каждая нация, считала Оливия Шрейнер, должна вносить посильный вклад в дело всего человечества. И задача Южной Африки с ее многорасовым населением — показать пример построения отношений между различными расовыми группами и «создать свободную, духовно развитую, гармоничную нацию, каждая часть которой действовала бы вместе с остальными и для блага остальных».

В этом Оливия Шрейнер видела историческую роль своей страны: «такую великую и вдохновляющую роль, какая только доста-

валась какой-либо нации, — лишь бы мы оказались достаточно сильными, чтобы исполнить ее».

Рассуждая, из каких же составных частей должна сформироваться эта «южноафриканская нация», Оливия Шрейнер прежде всего говорила об африканцах и выходцах из Азии; убеждала понять африканцев, уважать их, видеть в них людей. Она напоминала, что африканцы-банту «уже жили в Южной Африке, когда мы пришли сюда», и что они в Южной Африке останутся, никуда не исчезнут, не вымрут, как это произошло с аборигенами многих других стран. И больше того, даже те, кто, казалось бы, мечтает избавиться от африканцев, на самом деле полностью зависят от них, от их труда.

«Черный человек живет здесь рядом с нами, и он здесь останется. Банту не только быстро возрастают в числе, как это и должно быть на их родном материке и в климате, который наиболее подходит именно для них; они не только отказываются вымирать в условиях контактов с нашей цивилизацией, а, наоборот, стремятся освоить ее и сделать ее своей собственной; и мы не только не в состоянии уничтожить их, но мы не можем даже выселить их, потому что нам они необходимы! Мы жаждем их присутствия, как в пустыне жаждут воды или как старатель жаждет увидеть сверкание золота. Мы нуждаемся во все большем числе этих людей — чтобы они работали на наших шахтах, строили наши железные дороги, трудились на наших полях, выполняли нашу домашнюю работу и покупали наши товары... Они — создатели наших богатств, великая основа, на которой зиждется наше государство. Они — наш многочисленный трудящийся класс».

Всяческого уважения, считала Оливия Шрейнер, заслуживают традиции африканских народов банту, населяющих Африку от мыса Доброй Надежды до границ Эфиопии и Нигерии. На Юге их называли кафрами — от арабского «каффир», то есть «неверный», «язычник». Даже само это слово, общепринятое в XIX столетии, со временем приобретало все более пренебрежительный оттенок. Оливия Шрейнер наперекор усилению расизма напоминала белым: «Каждый, кто видел банту в их традиционной жизни... знает, что даже наиболее горделивые из нас могли бы позавидовать общественному достоинству банту».

Уважения она требовала и для индийцев, поселившихся на юге Африки в конце прошлого столетия. Их она называла «здравомыслящими, трудолюбивыми и интеллектуально развитыми».

«Это и есть тот материал, из которого должна сформироваться наша нация; и мы — немногочисленная и в настоящее время безраздельно господствующая белая аристократия, на которой долг провести социальное переустройство лежит в первую очередь, — мы должны благодарить судьбу за такой человеческий материал».

Страна будет сильна и богата, доказывала Оливия Шрейнер, если «население Южной Африки будет единым».

«Но если оно не будет единым?» — задавала она вопрос.

Предвидя, что правящие круги не захотят создавать «южно-африканскую нацию», она показывала пагубность такого решения для самих же белых.

«Если ослепленные временными выгодами, мы по-прежнему видим в нашем черном населении только гигантские рабочие руки, которые трудятся на нас; если они для нас не люди, а только инструмент; если они целиком лишены земли, хотя и выказали столь большие способности к крестьянскому делу... если их не допускают к высшим формам труда, не дают прав гражданства, не предоставляют возможности участвовать в нашей социальной организации, хотя их собственную разрушили; если эти массы, не связанные с нами чувством благодарности и симпатии и далекие от нас по крови и цвету кожи, мы все же держим лишь в положении бурлящего невежественного пролетариата, — тогда я лучше не буду заглядывать в будущее своей страны...

Пока девять десятых нашего населения не станут полноправными гражданами и не получат права участвовать в управлении государством, разве можем мы чувствовать себя в безопасности? Разве у нас будет мир? Один разочарованный человек, считающий, что с ним поступили несправедливо, — это уязвимая точка общества, но когда в таком положении находится подавляющее большинство обитателей страны, — это уже трещина во всей социальной структуре... В конечном счете покоренный народ всегда кладет свою печать на лицо завоевателя... Если мы возвысим черного человека, мы возвысимся вместе с ним; если мы попираем его ногами, он тянет нас назад, сковывая наши движения».

Можно без преувеличения сказать, что до Оливии Шрейнер никто не проявлял такой дальновидности в подходе к расовой проблеме Южной Африки. И, к сожалению, сегодняшняя действительность подтвердила ее самые мрачные прогнозы.

* * *

Оливия Шрейнер активно участвовала в распространении на юге Африки социалистических идей, особенно с начала XX века, когда там появились первые социал-демократические организации.

От нее многие ее соотечественники впервые слышали о Карле Марксе и о его учении. Во время массового собрания в городском зале Кейптауна 1 июля 1906 года прозвучали слова Оливии Шрейнер о Марксе, которого она назвала «великим немецким социалистом и

вождем»: «Это был человек со столь необыкновенным даром понимать финансовые проблемы, что, по мнению, которое неоднократно высказывалось компетентными лицами, он мог стать одним из богатейших людей Европы, если бы использовал свое знание финансов для обогащения. Но этот человек решил посвятить всю свою жизнь и свой громадный талант только развитию тех теорий, которые, как он верил, послужат на благо человечеству. Он не отказался от служения своим великим идеалам и предпочел нужду и изгнание — нужду столь горькую, что ему, его жене, высокообразованной женщине, и маленьким детям подчас не хватало даже самого насущного, жизненно необходимого».

Эти слова не были случайным. В конце 1919 года, за год до своей смерти, Оливия Шрейнер писала, что она считает Маркса и Ленина величайшими людьми последних ста лет. Тогда же: «Я читала такую великолепную книгу — речи Карла Либкнехта во время войны. Она называется «Будущее принадлежит народу»... Какая прекрасная и смелая душа!..»

Революционные события Оливия Шрейнер принимала близко к сердцу, даже если они происходили очень далеко от ее родины. В 1905 году, когда в городах Южной Африки проходили собрания в поддержку русской революции и было даже создано общество «Друзья России», она публично заявила о своих симпатиях борцам против царизма.

Третьего февраля, через несколько дней после Кровавого воскресенья, она написала письмо кейптаунской Социал-демократической федерации в связи с тем, что по болезни не могла прийти на митинг протеста против репрессий в России. Письмо было опубликовано газетой «Саут Эффрикен ньюс» 6 февраля 1905 года. В нем говорилось: «Я глубоко сожалею, что не могу быть с вами на митинге в воскресенье, чтобы выразить мою солидарность с русским стачечным движением. Отсутствуя физически, я буду с вами душой; и еще больше — с теми, кто сейчас в далекой России взял на себя бремя извечной войны человечества за большую и высшую справедливость, войны, которая ведется столетиями то одним народом, то другим... Сегодня знамя перешло в руки великого русского народа. Я верю, что, являясь свидетелями этого движения в России, мы присутствуем при начале величайшего события в истории человечества за последние века».

Октябрьская революция взволновала Оливию Шрейнер, наполнила ее душу новыми надеждами. В 1918 году она писала, что «прочла все книги о России», которые «смогла достать в течение последнего года». Она радовалась, что английские докеры отказались грузить судно, которое везло оружие белополякам для борьбы против революционной России.

В том же, 1918 году, находясь в Лондоне, но уже тяжело болевшая и большую часть времени прикованная к постели, она все-таки пошла на коммунистический митинг. Билл Эндрюс, один из основателей Коммунистической партии Южной Африки, избранный ее секретарем на учредительном съезде в 1921 году, вспоминал потом, что на митинге в Лондоне в 1918 году ему «посчастливилось встретить великую южноафриканскую писательницу Оливию Шрейнер, которая была коммунисткой и пламенной поклонницей русской революции».

* * *

«Африканская ферма», занимающая основное место в этой книге, — не только первый, но и самый известный из романов Оливии Шрейнер. Именно он принес ей мировую известность. Два других романа — «От одного к другому» и «Ундина» — она так и не отдала в печать, считая работу над ними незавершенной. После ее смерти они все-таки были опубликованы («От одного к другому» вышел и на русском языке, в Ленинграде, в 1929 году), но вряд ли можно считать их особенно удачными.

Первый раз «Африканская ферма» была издана в нашей стране восемьдесят лет назад. Петербургский журнал «Вестник иностранной литературы» напечатал роман в четырех номерах, с сентября по декабрь 1893 года.

В заметке, сопровождавшей перевод, подчеркивалась важная мысль Оливии Шрейнер из ее предисловия к английским переизданиям романа.

Есть люди, писала Оливия Шрейнер, которым куда больше понравилась бы совсем иная книга об Африке. Книга, «которая рассказывала бы о диких приключениях, о стадах скота, загоняемых бушменами в непроходимые пропасти, о схватках с хищными львами и об удивительных способах спасения жизни от опасностей».

Этим читателям и критикам она отвечала: «Такую книгу написать мне невозможно. Такие книги всего лучше пишутся в Лондоне. Там можно предоставить простор творческой фантазии, не стесняя себя прикосновенностью с действительностью. Но если кто берет за изображение условий, в которых он вырос, тому приходится убеждаться, что факты сильнее, чем он. Тех блестящих образов, какие фантазия ищет в отдаленных странах, он доставить не может».

Показ реальной жизни — это прежде всего и отличало «Африканскую ферму» от большинства других тогдашних романов об Африке. И отрадно сейчас прочесть, что когда-то в «Вестнике иностранной литературы» роман хвалили именно за это.

Место основного действия в романе — ферма, подобная той, на которой Оливия Шрейнер служила гувернанткой. Типичная бурская ферма, затерянная в вельде, южноафриканских степях, на просторах Карру, обширного высокого плато. Ферма находится в глубине Капской колонии, но действие переносится и в Оранжевую Республику, действующие лица бывают и на мысе Доброй Надежды, и в Трансваале, и на алмазных копях Кимберли.

Время действия — сто лет тому назад, шестидесятые и семидесятые годы. На территории, которую в наши дни занимает Южно-Африканская Республика, тогда находились два английских владения — Капская колония и Наталь, и две бурские республики — Трансвааль и Оранжевая (Оранжевое Свободное Государство).

Среди действующих лиц — представители разных расовых и национальных групп пестрого населения Южной Африки.

Это готтентоты и «кафры» — южно-африканские банту.

Это выходцы из Англии — она обосновалась в этой части мира несколькими десятилетиями раньше.

Другой народ — известный тогда как буры (по-голландски — крестьяне). Это потомки выходцев из Голландии и Франции, обосновавшихся на мысе Доброй Надежды еще во второй половине XVII столетия. Себя они называли по-голландски африкандерами, то есть африканцами. Постепенно голландский язык здесь менялся, превращался в «капское наречие», а теперь считается особым языком африкаанс. На этом языке нынешние потомки выходцев из Голландии и Франции называют себя африканерами, что тоже означает — африканцы, или, может быть, точнее — белые африканцы.

Существовавшие сто лет назад взаимоотношения между этими группами очерчены в романе очень ярко. Тетупка Санни (прообразом для нее служила хозяйка самой Оливии Шрейнер) не выносит англичан. Грегори Роуз считает буров вульгарными.

Африканцев — готтентотов и «кафров» — среди главных действующих лиц романа нет. Но хорошо видно, какое место отводилось им в «Белой Южной Африке». Отчетливо обозначена и позиция автора — словами Линдал, главной героини. Глядя на пастуха-«кафра», она говорит Грегори Роузу: «Это самое интересное и умное существо из всех окружающих меня... Этот юноша наводит меня на размышления. Неужели его раса исчезнет в огне столкновения с более сильной? Глядя на него, невольно задумываешься о будущем и вспоминаешь о прошлом».

Из всего тогдашнего южноафриканского быта нагляднее всего показано существование бурских фермеров в те времена, когда промышленный бум еще по-настоящему не начался. Богатейшие месторождения алмазов еще только-только обнаружены, и никто

еще не догадывается, что через несколько лет неподалёку от них найдут и крупнейшие в мире месторождения золота. Главным богатством считаются овцы да еще страусы, снабжающие своими перьями парижских модниц.

Может показаться, что Оливия Шрейнер несправедлива к бурским фермерам, что их быт в романе уж слишком непригляден, утрировано их стремление понимать буквально все написанное в Библии и нежелание читать ничего, кроме Библии.

Но широко распространенное мнение о бурах было куда неприглядней — во всяком случае, до англо-бурской войны, когда буры вызвали всеобщее восхищение своим мужеством. Бытовавшие представления весьма лаконично сформулировал Марк Твен, побывав в 1896 году на юге Африки. Он писал: «Суммировав все добытые мною сведения о бурах, я пришел к следующим выводам:

Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотношениях с белыми, жестоки по отношению к своим чернокожим слугам, ленивы, искусны в стрельбе и верховой езде, увлекаются охотой, не терпят политической зависимости; хорошие отцы и мужья; они не любят шумное общество в городах, предпочитая ему уединенность, отдаленность, одиночество, пустоту и тишину степи; отличаются здоровым аппетитом и не очень разборчивы в еде... они гордятся своим голландско-гугенотским происхождением, своим религиозным и военным прошлым; гордятся подвигами своего народа в Южной Африке, своими смелыми исследованиями пустынных, не нанесенных на карту земель, куда они отправляются в поисках территорий, свободных от власти ненавистных им англичан, и своими победами над туземцами и англичанами, но больше всего они гордятся тем непосредственным интересом, какой постоянно проявляет к их делам само провидение. Буры не умеют ни читать, ни писать; и хотя здесь печатаются две-три газеты, однако никто, по-видимому, этим не интересуется; еще до недавнего времени здесь не было школ, детей не учили; слово «новости» оставляет буров равнодушными, — им совершенно все равно, что творится в мире...»

А впрочем, о жизни Капской колонии времен, близких к «Африканской ферме», есть подробные свидетельства и наших соотечественников: И. А. Гончарова, побывавшего там на фрегате «Паллада», или живописца и искусствоведа А. Вышеславцова, который был там пятью годами позднее и рассказал об этом в своих «Очерках пером и карандашом из кругосветного путешествия в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах». Обоим вспомнились там гоголевские типы, и Гончаров нашел среди бурских фермеров Коробочку, а Вышеславцов — Собакевича. Правда, они не забирались в такую глушь, как Оливия Шрейнер. Кто знает, какие сравнения пришли бы им в голову там.

Но мировая известность «Африканской фермы» объясняется прежде всего не тем, как показала Южная Африка. Эта книга приобрела такую популярность потому, что на материале своей страны Оливия Шрейнер сумела заговорить о крупных общечеловеческих проблемах: о борьбе против религиозного ханжества, о правах женщин, да и вообще об очень многом, что тогда волновало людей.

В судьбах Линдал, Вальдо и Эмм молодые люди и девушки, жившие далеко от Южной Африки, узнавали себя, свое поколение, его вопросы, тревоги, драмы.

Джером Джером писал об этом романе: «История африканской фермы» — вещь неповторимая. Я прекрасно помню ту бурю негодования, которую обрушили на «Африканскую ферму»... Эту книгу, дескать, нельзя дать в руки молодому человеку или благовоспитанной барышне. Но юноши и девушки жадно протягивали в ней руки и хватались за нее, как за поводыря в дебрях жизни».

* * *

Включенные в эту книгу рассказы появились в девяностых годах. И читатели в нашей стране знакомятся с ними тоже не впервые. Некоторые из них переводились не раз, еще и до «Африканской фермы». И писали об этих рассказах тоже немало.

Наиболее интересно, пожалуй, вспомнить, как отнесся к ним Горький. В своей большой статье «Аллегии Оливии Шрейнер» он не только рассказал своим читателям-нижегородцам о творчестве южноафриканской писательницы, но и дал свое мнение о широко распространенном тогда жанре коротких рассказов-аллегорий. Дань таким аллегориям отдали и западные писатели, такие как Оскар Уайльд, и многие из русских: В. Г. Короленко, Мамин-Сибиряк, Василевский-Буква.

Горький ставил вопрос: «Нужна ли аллегория, эта трудная литературная форма, всегда стремящаяся изложить заранее предвзятую мысль, нравоучение в художественном образе?»

И отвечал: «Несомненно, нужна». Но он подчеркивал трудность этого пути.

«Нужен огромный талант, нужно иметь глубокое философское образование, нечеловеческую опытность и сделать массу технической работы для того, чтобы написать книгу на тему Шрейнер, затронутую ею в рассказе «Охотник», и в реальных образах показать настоящее, неутолимое стремление человека к истине, все ошибки, все муки его на этом пути. Это труд свыше сил человеческих, и писатели, которые брались за эту тему, не имели успеха. Возьмите Флоберово «Искушение св. Антония», как попытку изобразить искание истины и все заблуждения человечества в области религии, — это неудачная

попытка... Мадьяр Эмирик Мадач, писатель очень талантливый, пробовал в своей «Трагедии человека» изобразить всю историю культуры, весь постепенный ход и рост творческого духа человечества, и получилось что-то сухое, скучное, отвлеченное...»

В своей статье Горький целиком привел два коротких рассказа Оливии Шрейнер: «Тайна художника» и «Дары жизни» (они включены и в эту книгу). И, частично, третий — «Три сновидения в пустыне».

О рассказе «Дары жизни» Горький написал: «Вот в доказательство одна из поэм — краткая, ясная и, смотрите, — какая значительная по мысли... Сколько потребовалось бы работы и знания жизни, психологии и остроумия, чтобы эту мысль развить в реальных образах, — в рассказе или романе!»

О рассказе «Тайна художника»: «Вот еще одна из аллегорий Шрейнер, немножко грустная, но так просто-красивая!»

А в целом оценил рассказы так: «Оливии Шрейнер превосходно удастся объединить в ее аллегориях крупное идейное содержание с художественным изложением. Простота и ясность — вот первое, внешнее достоинство ее маленьких рассказов; бодрость настроения и глубокая вера в силу человеческого духа — вот внутреннее значение ее аллегорий».

* * *

Сейчас, спустя почти сто лет, можно, должно быть, бросить Оливии Шрейнер немало упреков. В некоторой сентиментальности. В длиннотах, недостатке динамики действия.

Она умела писать афористически. «Трудом создан человек, трудом же можно лишить его всего человеческого». «Я была еще слишком молода, чтобы быть доброй». «Материнское чувство еще не поселилось в моем маленьком сердце, я не знала, что мужчины — все — мои дети, как знает это настоящая женщина с большим сердцем». Но порой ее рассуждения слишком многословны и, не исключено, получают от кого-нибудь из читателей насмешливое: «Старомодно».

Ну, во-первых, это ведь и написано сто лет назад. А во-вторых, проверку-то целым столетием эта женщина выдержала. Ее имя и лучшие из ее творений не забыты напрочь. И дело не только в ее таланте, а и в ее искренности, гуманизме. В том, что, как говорилось о ней в петербургском журнале: «Литература, по ее словам, должна служить способом распространения гуманитарных идей». Все ли новомодные романы, полные динамизма и начисто лишенные сентиментальности, выдержат проверку столетием?

Со времен Оливии Шрейнер правящие круги на ее родине непрерывно разжигали расовую и национальную рознь, воздвигали все новые барьеры между людьми разного цвета кожи и разных национальностей. Сегодняшняя государственная доктрина — апартеид, изобретенная крайними африканерскими националистами, гласит, что каждому народу предопределен свыше свой путь, своя культура. И что взаимопроникновение, сближение культур пагубно, преступно, как и смешение крови «белых» и «черных». Ссылаются и тут на Библию, в этом совсем не повинную.

Но все-таки Оливию Шрейнер чтут и считают крупнейшей писательницей Южной Африки все ее соотечественники — и белые, и черные, и метисы, и южноафриканские индийцы. Судя по сообщениям печати, в Южной Африке и за ее пределами сейчас готовится не меньше четырех или пяти книг об Оливии Шрейнер.

За ее идейное наследие, за право считать ее своим знаменем борьба ведется и сейчас. Стоящие у власти в стране африканерские националисты не могут чернить память Оливии Шрейнер — ведь все знают, как мужественно она защищала буров во время англо-бурской войны. Если бы можно было оставить в ее творчестве только эту линию, ее бы давно канонизировали. Но слишком много у нее было такого, о чем власти хотели бы забыть.

В 1955 году, когда исполнилось столетие со дня ее рождения, официальная печать сперва призвала торжественно отметить эту дату. Затем, когда демократы напомнили о ее выступлениях против расизма, официальная газета «Ди Бюргер» объявила: «Оливия Шрейнер в опасности».

И полного собрания сочинений крупнейшей южноафриканской писательницы на ее родине так и не издали.

Южноафриканские коммунисты считают Оливию Шрейнер «революционной социалисткой». В нынешней программе Южно-Африканской коммунистической партии ее имя названо в одном ряду с основателями партии Айвоном Джонсом и С. П. Бантингом и еще несколькими белыми южноафриканцами, которые «плыли против расистского потока»; память об этих людях, говорится в программе, «никогда не будет забыта африканским народом».

Махатма Ганди хорошо знал Оливию Шрейнер. Он прожил на юге Африки двадцать лет, с 1893 до 1914 года, там сложилось его мировоззрение, там родилось его учение — сатьяграха, там он научился руководить массовым движением. Покидая Южную Африку в июле 1914 года, он говорил на прощальном митинге в Кейптауне, что глубоко верит в страну, которая могла дать миру такого человека, как Оливия Шрейнер.

И, наконец, нельзя не привести стихотворения Роя Кэмпбелла, наиболее известного южноафриканского поэта. Оно называется

«Бюффелс коп» («Могила Оливии Шрейнер»). В недавно опубликованном переводе В. Потаповой оно звучит так:

Когда иссякнут мужество и силы,
Я вспомню, как предгрозовая мгла
Плыла над одинокою могилой,
И распростертого над ней орла,
Что уронил безмолвно, сизокрылый,
Перо серебряное из крыла.

Давно уже нет среди живых и того, кто написал эти строки, но и нынешние поэты посвящают стихи самой чтимой женщине Южной Африки.

А. Давидсон

африканская
ферма
роман

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
А. КЛЫШКО

Если мы хотим постичь предрассудки, привычки, страсти, рабом которых человек станет в жизни, должно постараться разглядеть первые образы внешнего мира, смутно отражающиеся в зеркале его сознания, либо расслышать первые слова, которые будят дремлющие силы его мышления и воплощаются в первых его опытах. Взрослого человека следует искать в колыбели.

Алексис Токвиль

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ

ЧАСЫ

Под синим ночным небом, раскинувшись во всю ширь, лежала пустынная равнина. Полная африканская луна заливала ее ярким светом. Песчаная земля, поросшая чахлыми кустами карру¹, и приземистые холмы, замыкавшие ее далеко на горизонте, и зонтики молочая с длинными перстообразными листьями, — все, все вокруг покоилось в белом сиянии, полное таинственной, ослепительной красоты.

Ничто не нарушало торжественного однозвучия ровной земли, кроме одинокого холма — коппи, похожего на погребальный курган. Холм высился нагромождением глыб железного шпата. Кое-где в расщелинах пробивались пучки травы и ярко-зеленые побеги хрустальника, а на самой макушке тянули вверх свои колючие длани опунции; в их широких и глянцеvitых листьях, точно в зеркалах, отражался лунный свет. У самого подножия коппи виднелись постройки. Сначала глазам открывались

¹ К а р р у — пустынное плато, также кустарники, растущие на таком плато. *Здесь и далее примечания переводчика.*

обнесенные оградами из дикого камня овечьи краали и хижины туземцев, за ними виднелся большой хозяйский дом, прямоугольное здание из красного кирпича под тростниковой крышей. Лунный свет придавал дремотное очарование даже кирпичным стенам дома и деревянной лестнице-стремянке, приставленной к окну чердака, и сообщал эфирную легкость высокой каменной ограде, в которую был заключен квадрат песчаной земли с двумя подсолнечниками. Особенно ярко блестели оцинкованные крыши пристроек и большого сарая, где стояли повозки. Каждое ребро рифленой жести сияло в свете луны, словно начищенное серебро.

Вокруг царил сон, и ферма, как и вся окружающая ее равнина, была погружена в тишину.

В хозяйском доме тяжело ворочалась во сне с боку на бок на своей просторной деревянной кровати голландка, тетюшка Санни.

Она легла спать, по обыкновению не раздеваясь, ночь была жаркая, и в духоте ее мучали кошмары: видела она во сне не злых духов и привидения, которые даже наяву терзали ее впечатлительное воображение; не своего второго супруга, чахоточного англичанина, покоившегося в могиле позади загонов для страусов; и даже не первого супруга — молодого бура. За ужином она ела бараньи ножки, и вот теперь ей снилось, будто бы одна из костей застряла у нее в горле; голландка грузно ворочалась с боку на бок и оглушительно храпела.

В соседней комнате, где служанка забыла с вечера затворить ставни, было светло, как днем. Лунный свет заливал ярким потоком две детские кроватки у стены. На одной из них спала белокурая девочка с узеньким лбом и усеянным веснушками лицом. Нежный свет луны, как обычно, скрывал телесные недостатки, выхватывая из тьмы лишь невинное личико ребенка, объятого сладкой дремой. Девочка, покоившаяся на соседней кровати, была прекрасна, словно юная фея. Казалось, будто она соткана из лунных лучей. Одеяло свесилось на пол, и свет луны ласкал ее маленькие руки и ноги. Вот она открыла глаза — и залюбовалась затоплявшим ее сиянием.

— Эмм! — позвала она — и, не дождавшись ответа, подобрала одеяло, поправила подушку и, укрывшись с головой в простыню, опять уснула.

Только один мальчик на всей ферме не смежал глаз в эту ночь. Он лежал в пристройке возле сарая. Дверь

и ставни были закрыты, и лучи света не проникали сюда снаружи. Хозяин комнаты, немец-управляющий, мирно храпел на своей кровати в углу, скрестив на груди узловатые руки, — его пышная, черная с проседью борода подымалась и опускалась в такт дыханию. Лежа на сундуке под окном, мальчик широко открытыми глазами смотрел в темноту, и его пальцы поглаживали стеганое лоскутное одеяло. Он натянул одеяло до самого подбородка, так что снаружи оставалась лишь купа черных шелковистых кудряшек и карие глаза. В густой темноте он ничего не мог различить: ни очертаний изъеденных жучками-точильщиками стропил над головой, ни столика из хвойного дерева с лежавшей на нем Библией, которую отец читал вслух перед сном, ни ящика с инструментами, ни даже очага. Было в этой непроглядной темноте лишь нечто привлекавшее внимание. Над изголовьем отцовской кровати громко тикали большие серебряные карманные часы.

Прислушиваясь, мальчик невольно отсчитывал: тик-так-тик-так! Раз, два, три, четыре... — Но скоро сбился и перестал считать, только слушал. — Тик-так-тик-так!

Часы шли не останавливаясь. В их тиканье было что-то неумолимое. Тик-так-тик-так — кто-то умер, вот так! Мальчик приподнялся на локте и напряг слух. Хотя бы они остановились, эти часы!

Сколько раз протикали они с тех пор, как он лег спать? Тысячу, а может, даже миллион раз?

Он снова принялся считать и, чтобы лучше слышать, сел в постели.

— У-мер — ушел! У-шел — у-мер! — твердили часы. — У-мер, у-шел!

Но куда, куда уходят они, все эти люди, которым часы отбивают последний миг?

Мальчик быстро улегся и накрылся одеялом с головой. Но вскоре высунул голову и прислушался.

— У-шел, у-мер, у-шел! У-мер, у-шел, вот так, вот так, — настойчиво повторяли часы.

На память пришли слова, которые отец прочитал накануне вечером, когда они ложились спать: «Ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими».

— Много лю-дей, мно-го лю-дей, — подхватили часы.

«Ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и многие находят их».

— Ма-ло лю-дей, ма-ло лю-дей, — тикали часы.

Мальчик лежал в темноте, и глаза его были широко раскрыты. Он видел нескончаемый людской поток, двигавшийся в одном направлении. Люди доходили до края земли и проваливались в бездну. Он смотрел, как они исчезают, один за другим, и, казалось, ничто не может их остановить. Он вспомнил, что этот поток не иссякал и в былые времена — так исчезали древние греки и римляне; так исчезают неисчислимые миллионы китайцев и индийцев. Сколько их ушло с тех пор, как он лег спать? Они ушли навсегда.

— На-век, на-век, — откликались часы.

— Остановите их, остановите! — закричал мальчик.

Часы шли и шли, не останавливаясь, неумолимые, как воля божия.

На лбу у мальчика выступили крупные капли пота. Он слез с постели и прижался лбом к глиняному полу.

— Господи боже, спаси их! — прорыдал он; страдание разрывало ему сердце. — Хоть нескольких спаси, ну хоть двоих-троих! Ну хоть тех, господи, кого ты успеешь спасти, пока я молюсь тебе! — В отчаянии он обхватил руками голову. — Господи боже, спаси их! — И он распростерся на полу.

О долгие, долгие века прошедшие, скольких поглотили вы? О долгие, долгие века грядущие, скольких вы еще поглотите! О боже, сколь же долга, сколь же нескончаемо долга вечность!

Мальчик всхлипнул и теснее прижался к полу.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

При свете дня ферма была неузнаваема. И равнина выглядела просто скучным плоским пространством сыпучего бурого песка, лишь кое-где поросшего островками сухого кустарника, который потрескивал под ногами, как валежник. Местами на красноватой земле виднелись бледные стебли молочая. По раскаленному песку сновали пауки и жучки. Резкий солнечный свет играл на кирпичных стенах дома, на оцинкованных крышах хозяйственных построек и на каменных оградах краалей. Кругом не было ни деревца, ни куста, ничего, что разнообразило

бы ровный вельд. Даже два подсолнечника у парадного крыльца хозяйского дома, не выдержав нестерпимо палящего взгляда солнца, понуро опустили долу свои медно-желтые лица. И только какие-то маленькие, похожие на цикад насекомые, прячась среди камней одинокого холма, наполняли воздух своим неумолчным стрекотом.

Сама хозяйка фермы при свете дня оказалась еще менее привлекательной, чем ночью, когда она ворочалась в своей постели. Голландка восседала на стуле в просторной гостиной своего дома, положив ноги на деревянную скамеечку. Поминутно отирая плоское лицо концом передника и прихлебывая кофе, она на капском паречии поносила жару. Дневной свет не прибавил красоты и дочери покойного англичанина, падчерице тетюшки Санни. Солнце беспощадно высветило ее веснушки и низкий морщинистый лоб.

— Линдал, — обратилась девочка к своей кухне; они сидели на полу и нанизывали бусы, — почему у тебя бусы никогда не спадают с иголки?

— Я стараюсь, — серьезно отвечала та и послунявила крошечный пальчик, — поэтому и не спадают.

Управляющий при дневном свете оказался рослым, плотно скроенным пожилым немцем в поношенном платье. У него была детская привычка потирать руки и восторженно кивать головой, когда он бывал чем-нибудь доволен: «*Ja, ja, ja!* — *Da, da, da.*». Он стоял на самом солнцепеке у ограды крааля и разглагольствовал перед двумя мальчишками-туземцами о надвигающемся конце света. Мальчишки, которым велено было убрать навозную кучу, церемигивались и явно отлынивали от работы, но немец ничего этого не замечал.

В степи за холмом его сын Вальдо пас овец и ягнят. Маленькое неухоженное стадо, как и сам пастырь, было с ног до головы запорошено бурой пылью. Мальчик ходил в изношенной куртке и в рваных вельсконах¹. Шляпа на нем была явно с чужой головы и налезала ему на глаза, скрывая черные курчавые волосы. Вся его невысокая фигурка производила какое-то нелепое впечатление. Стадо не доставляло ему лишних хлопот. Жара не позволяла овцам разбредиться далеко, они собирались небольшими группами вокруг кустов молочая, словно надеясь

¹ В е л ь с к о н ы — обувь из сыромятной кожи.

найти там тень. Сам пастырь укрылся под большим камнем у подножия копья. Растянувшись на животе, он болтал в воздухе ногами, обутыми в рваные вельсоны.

Немного погодя он вытащил из синей матерчатой сумки, где обычно лежал полдник, обломок грифельной дощечки, учебник арифметики и карандаш. С серьезным и сосредоточенным видом он записал несколько цифр и стал их складывать вслух:

— Шесть да два — восемь, да еще четыре — двенадцать, да два — четырнадцать, да еще четыре — восемнадцать... — Он помолчал и неуверенно добавил: — ...да еще четыре — восемнадцать...

Карандаш и грифельная дощечка выскользнули у него из пальцев и упали на песок. Он замер, потом что-то забормотал, сложив руки и низко опустив голову. Казалось, что он дремлет, и только неясное бормотание свидетельствовало, что это не так. Подошла старая овца и с любопытством обнюхала его. Когда наконец мальчик поднял голову, он уставился на далекие холмы каким-то тяжелым взглядом.

— И дастся вам... и дастся вам... — шептал он.

Постепенно уныние и подавленность сползли с его лица. Он просветлел.

Наступил полдень, солнечные лучи падали на землю почти отвесно, и было видно, как раскаленный воздух струится над землей.

Мальчик вскочил на ноги и расчистил на песке место, старательно выполов траву. Затем собрал двенадцать камешков, примерно одной величины, опустил на колени и сложил из них аккуратный квадратик в форме алтаря. Покончив со всем этим, он подобрал свой мешок и вынул из него полдник: баранью котлету и большой ломоть хлеба из непросеянной муки. Он долго вертел ломоть в руках, что-то обдумывая. Наконец отбросил хлеб в сторону, подошел к жертвеннику, опустил на колени и положил на него котлету. Никогда, с самого своего сотворения, мир не видел, наверное, такого маленького оборванного жреца. Он снял свою огромную шляпу, с торжественным видом опустил ее на землю, закрыл глаза и благоговейно сложил руки.

— О боже, отче мой, вот моя жертва, — молился он вслух. — У меня всего два пенса, и я не могу пожертвовать овцу. Будь это стадо мое, я бы принес тебе овцу. Но у меня нет ничего, кроме отбивной, мне дали ее на полд-

ник. Так ниспошли же, отче, огонь с неба! Ведь сказал же ты: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, то и горе скажете: «Поднимись и ввергнись в море», — и будет». Пусть будет, прошу тебя именем сына человеческого. Аминь.

Он стоял на коленях, касаясь лицом земли и закрывая голову руками. Солнце опалало ему темя и струило жаркие лучи на воздвигнутый им алтарь. Сейчас он поднимет голову и узрит бога во всем его величии! От страха у него замирало сердце, он задыхался. Наконец он поднял глаза. Над ним безмятежно голубело небо, под ногами краснела земля, а немного поодаль толпились овцы. И это было все. Он еще раз возвел глаза к небу — ничто не нарушало глубокого покоя, царившего в небесной лазури.

В изумлении мальчик снова простерся ниц, на этот раз надолго.

И снова он встал, и снова все было как прежде. Только солнце растопило жир в котлете, и он стекал по камешкам алтаря.

Тогда он склонился перед жертвенником в третий раз, а когда в третий раз поднял глаза, то увидел, что к бараньей котлете подбираются муравьи. Он отогнал их прочь, надел шляпу и сел в тени, обхватив колени руками. Он сидел и ждал. Когда же всемогущий бог явит ему свое величие?!

— Бог посылает мне испытание, — говорил он себе.

Так просидел он весь этот знойный день. Близился закат, а он все сидел и ждал. Солнце висело уже над самым горизонтом, от овец протянулись длинные тени, а он продолжал ждать. Надежда не покидала его, пока солнце не скрылось за холмами и не угасли его последние лучи. Только тогда мальчик собрал свое стадо, разметал камни алтаря и отшвырнул котлету.

Он погнал стадо домой. На душе у него было тягостно. Рассуждал он так:

— Бог не может лгать. Я верил в него. Но его гром не грянул. Значит, бог отверг меня, подобно Каину. Он не принимает моих молитв. Бог ненавидит меня, не быть мне утешену ангелами.

У ворот крааля его ждали обе девочки.

— Идем, — сказала золотоволосая Эмм, падчерица те-тушки Санни, — мы ждем тебя играть в прятки. Идем, пока еще светло. Вальдо, ты спрячься где-нибудь на холме. Мы с Линдал зажмурим глаза,

Девочки встали лицом к каменной стене овечьего загона, а Вальдо спрятался на склоне холма, среди глыб, и крикнул, что можно искать. Он успел заметить, как из коровника вышел пастух с ведрами в руках. Пастух был из племени банту, и вид у него был устрашающий.

«Ох,— подумал мальчик,— а вдруг он умрет сегодня ночью, ведь ему один путь — в ад! Я должен помолиться за него...»

Тут же ему пришла в голову другая мысль: «А сам он, что с ним будет после смерти?..» И он принялся торопливо шептать молитву.

— Так не играют,— выкрикнула маленькая Эмм, застав его в странной позе.— Что ты здесь делаешь, Вальдо? Так не играют. Ты должен был выскочить, когда мы добежали до белого камня.

— Я... я буду играть как надо,— сконфуженно обещал мальчик, выбираясь из своего убежища.— Я... я просто забыл, но теперь я буду играть как надо.

— Он, верно, спал,— сказала веснушчатая Эмм.

— Нет,— возразила маленькая красавица Линдал, окинув его внимательным взглядом,— просто он плакал.

Она никогда не ошибалась.

ИСПОВЕДЬ

Прошло два года. Однажды ночью, когда отец спал, Вальдо взобрался на каменистый холм. Он всегда убегал сюда, боясь, что отец проснется и услышит, как он молится или плачет. Ведь ни одна душа не должна знать о печали, запрятанной глубоко в его сердце.

Вальдо завернул вверх поля шляпы и смотрел то на луну, то на листья опунции прямо перед собой. Листья мерцали неярким светом, таким же холодным и таким же недобрым, как его собственное сердце. Грудь у него разрывалась от боли, словно набитая осколками стекла. Он просидел здесь уже полчаса и все не решался вернуться в душную комнату.

Мальчик изнемогал от одиночества. И твердо знал, что в целом мире нет никого хуже его. Он закрыл лицо руками, негромко всхлипнул. Слезы оставили на его щеках жгучие следы. Молиться он не мог. Много месяцев провел он в жарких молитвах и сегодня не мог уже молиться. А когда иссякли слезы,— не в силах вынести мук, он

сжал своими смуглыми руками голову. Если б хоть кто-нибудь подошел к бедняге, приласкал его. Сердце его было разбито.

С опухшими от слез глазами Вальдо сидел на плоском камне на самой вершине холма, а опунция, казалось, дразнила его своим холодным блеском. Немного погодя он разрыдался снова, но тут же сдержал слезы, медленно опустился на колени и согнулся в низком поклоне. Целый год носил он в душе свою тайну. Не смел думать о ней, не решался даже самому себе признаться.

— Я ненавижу бога! — проговорил он.

Ветер подхватил его слова и понес их над камнями и над листьями опунции. Отзвучав, слова замерли где-то на склоне холма.

Он сказал, сказал, что хотел!

— Я люблю сына человеческого, а бога ненавижу!

Ветер подхватил и эти слова.

Вальдо встал во весь рост и застегнул свою старую куртку на все пуговицы. Он был уверен, что погубил свою душу. Но это его не беспокоило. Если половина людей не обретает царствия небесного, ему ли тревожиться о своей душе? Нет, он больше не станет молить о милосердии. Лучше уж знать наверняка, что для него все кончено. Гораздо лучше.

С этой мыслью Вальдо стал спускаться с холма.

Да, лучше знать наверняка! Если б только не это одиночество, и не эта боль в сердце, и не эта ночь! А сколько еще таких ночей впереди? Весь день тоска спит в его груди, а вечером пробуждается, и тогда ее ничем не унять.

Случается, мы говорим судьбе: «Обрушь на нас самый тяжкий свой удар, твори все, что угодно, только избавь нас от тех мук, которые мы терпим в детстве!»

Как зазубренная стрела, вонзаются в детское сердце страдания, усугубленные безвыходным одиночеством, полным неведением.

Глава II

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ И РИСУНКИ НА СКАЛЕ

А потом наступил год великой засухи, год тысяча восемьсот шестьдесят второй. Напрасно зывала земля о ниспослании ей влаги. Напрасно люди и звери обращали

свои взоры к безжалостному небу, которое высилось над ними, подобно раскаленному своду печи.

Вода в запрудах из месяца в месяц, день ото дня убывала. Начался падеж овец. Коровы еще держались на ногах, но и они пошатывались, медленно блуждая в поисках подножного корма. Проходили недели, месяцы, а солнце все пекло и пекло с безоблачного неба, пока не сожгло последние листочки на кустарниках карру и не превратило землю в голую пустыню. И только молочаи, подобно высохшим старухам ведьмам, упрямо воздевали к небу свои скрюченные пальцы, тщетно моля небеса о дожде.

Вечером одного из долгих дней этого нестерпимо знойного лета на дальнем склоне холма сидели две девочки. Они сильно подросли с тех пор, как играли здесь с Вальдо в прятки, но все еще оставались детьми.

На них были платья из темной, грубой выделки ткани, длинные, до щиколоток, голубые передники и вельсоны домашней работы.

Девочки сидели под выступом скалы, на поверхности которой виднелись древние рисунки бушменов. Надежно укрытые от ветра и дождей черно-красные рисунки неплохо сохранились. Это были гротескные изображения быков, слонов, носорогов и еще единорога, подобного которому никто никогда не видел и не увидит.

Девочки сидели спиной к рисункам, в подолах у них лежали листья папоротника и розетки хрустальника, после долгих поисков найденные здесь, среди камней.

Эмм сняла свою коричневую широкополую шляпу и стала энергично обмахивать ею, как веером, разгоряченное лицо. Подруга сидела, низко склонив голову, и внимательно разглядывала листочки у себя на коленях. Наконец она выбрала розетку хрустальника и приколотла ее булавкой на лиф своего голубого передника.

— Наверно, брильянты похожи на эти росинки, — сказала она, внимательно разглядывая розетку у себя на груди и растирая ноготком одну из прозрачных капель. — Когда я стану взрослой, — продолжала она, — я буду носить настоящие брильянты, точно такие же, как эти.

— Но где же ты их возьмешь, Линдал? — возразила Эмм, сделав удивленные глаза и наморщив лоб. — Те

камни, что мы нашли вчера, — это ведь просто кусочки горного хрусталя. Так говорит старый Отто.

— Ты думаешь, я останусь здесь до конца жизни?

Линдал презрительно оттопырила верхнюю губу.

— Ну нет, — сказала ее подруга. — Я надеюсь, что мы когда-нибудь уедем отсюда. Но ведь нам с тобой по двенадцати лет, а раньше семнадцати мы не сможем выйти замуж. Остается еще четыре года. Даже целых пять. К тому же еще неизвестно, будут ли у нас брильянты, когда мы выйдем замуж.

— Ты думаешь, я останусь здесь до тех пор?

— Куда же ты денешься? — удивилась Эмм.

Линдал раздавила пальцами листок хрустального.

— Тетя Санни — скверная старуха, — заговорила она. — Твой отец женился на ней перед самой смертью. Он считал, что она лучше любой англичанки справится с хозяйством и воспитает нас. Он просил позаботиться о нашем образовании, а она откладывает себе каждый фартинг¹. Не покупает нам ни одной книжки. И если не обращается с нами дурно, то только потому, что страшится тени твоего отца! Сегодня утром она сказала служанке-готтентотке, что непременно задала бы тебе порку за разбитую тарелку, но третьего дня она слышала в кладовой странные звуки и уверена, что это твой отец приходил поговорить с ней. Она гадкая старуха. — Линдал отшвырнула листок хрустального. — И все-таки я буду учиться в школе, буду!

— А если она не позволит?

— Позволит, можешь мне поверить.

— Как же ты ее переубедишь?

Линдал не отвечала, она сидела, обняв руками колени.

— Зачем тебе уезжать?

— Чтобы жить в этом мире, надо быть умной. Много знать, — задумчиво произнесла Линдал.

— А мне вовсе не хочется ходить в школу, — сказала Эмм.

— А тебе и не надо. К тому времени, когда тебе будет семнадцать, старуха уже помрет, — и ты окажешься хозяйкой фермы. А вот мне ждать нечего и не от кого. И должна учиться.

— О Линдал, я отдам тебе часть моих овец, — вскричала Эмм в порыве великодушия.

¹ Ф а р т и н г — одна четвертая пенса.

— Мне не нужны чужие овцы! — с расстановкой промолвила Линдал. — Мне не надо ничего чужого... Когда я вырасту, — продолжала она, с каждым словом все гуще заливаясь румянцем, — я буду знать все на свете. И у меня будет куча денег. Не только по праздникам, и в будни я буду ходить в платьях из белого шелка с бутоньеркой, как у леди с той картинки, которая висит в спальне у тети Санни. И юбки я стану носить, вышитые не только по краю, но и сверху донизу.

Картинка в спальне тетюшки Санни была вырвана из модного журнала, бог весть как попавшего в эту глушь. Голландка приклеила ее к стене над кроватью, и обе девочки восхищались блистательной дамой, изображенной на этой картинке.

— Ах, это было бы восхитительно, — сказала Эмм, хотя все это казалось ей несбыточной мечтой.

В это время у подножия холма появился белый пес с лоснящейся шерстью и с большими рыжими ушами, одно из которых спадало на левый глаз, а следом и его хозяин — сутулый неуклюжий подросток лет четырнадцати — не кто иной, как Вальдо.

Пес быстро взбежал на вершину холма, за ним неловко вскарабкался Вальдо. На нем были выдававшая виды мешковатая куртка с подвернутыми рукавами, ветхие вельсоны и войлочная шляпа. Он подошел к Эмм и Линдал.

— Где ты пропадал весь день? — спросила Линдал, поднимая на него глаза.

— Пас овец и ягнят за дамбой. Вот, это тебе! — прибавил он, протягивая пучок нежно-изумрудных побегов травы.

— Где ты их нарвал?

— Возле дамбы.

Линдал тотчас же приколола букетик рядом с розеткой хрустальника.

— Красиво, — сказал он, смущенно потирая свои большие руки и не сводя с Линдал глаз. — Очень красиво.

— Да, только передник все портит. Терпеть его не могу.

Он внимательно посмотрел на нее.

— И мне тоже не нравится этот клетчатый материал. И все-таки тебе идет этот передник.

Он молча стоял перед девочками, опутив руки как плети...

— Сегодня кто-то приходил, — внезапно выпалил он.

— Кто? — в один голос спросили девочки.
— Англичанин.
— А какой он из себя? — поинтересовалась Эмм.
— Н-н-е знаю. У него очень большой нос, — протянул Вальдо. — Спрашивал, как пройти на ферму.
— Как его зовут?
— Бонапарт Бленкинс.
— Бонапарт! — воскликнула Эмм. — Совсем как в той песенке, которую готтентот Ханс наигрывает на скрипке. Под нее танцуют рил¹.

Бонапарт, Бонапарт! У меня больна жена.
Только по воскресным дням поднимается она.
Суп из риса и бобов я готовлю для нее.

— Какое смешное имя!
— Был еще один человек, которого тоже звали Бонапартом, — сказала большеглазая девочка.
— Я знаю, — сказала Эмм. — Бедный пророк, которого съели львы. Подумать только, какая жалость.
Ее подруга спокойно посмотрела на нее.
— Бонапарт — самый великий из когда-либо ходивших по земле людей, — сказала она, — он мой любимый герой.
— И чем же он велик? — спросила Эмм, поняв, что ошиблась.
— Его, одного-единственного, боялся весь мир, — задумчиво проговорила ее подруга. — Он не родился великим, нет. Он родился таким же, как мы, но сумел подчинить себе весь мир. Он был маленьким ребенком. Потом — лейтенантом, потом — генералом, наконец, — императором! Он никогда не отступался от задуманного. Он умел ждать, понимаешь? Ждал, ждал, ждал, и в конце концов добивался своего.

— Должно быть, он родился под счастливой звездой, — сказала Эмм.

— Не знаю, — отвечала Линдал, — но только он достигал всего, чего хотел, а это важнее. Он был властелином, и люди трепетали перед ним. Они объединились все вместе, чтобы победить его. Он был один против всех, и они его одолели. Они вцепились в него, как дикие кошки. Как трусливые дикие кошки. Их было много, а он один. Они сослали его на пустынный остров. Он был

¹ Р и л — народный шотландский танец.

один, а их тьма, но он всеял в них ужас. Вот это был человек!

— А потом? — спросила Эмм.

— А потом он жил на острове под стражей, — тихо и не спеша рассказывала Линдал, — долгими ночами, лежа без сна, он размышлял о том, что уже сделал и что еще сделает, если обретет свободу. А днем он бродил по берегам, и ему казалось, будто море опутало его холодной цепью.

— А потом? — спросила Эмм.

— Потом он умер на своем острове, его так и не освободили.

— Интересно, — сказала Эмм, — но только конец грустный.

— Ужаснейший конец, — проговорила рассказчица. Она сидела, опираясь на сложенные крест-накрест руки. — А самое худшее, что все это чистая правда. Я давно заметила, что хорошо кончаются только выдуманные истории, а в жизни все по-другому.

Все это время Вальдо не сводил с нее тяжелого взгляда своих карих глаз.

— Ведь и ты читал об этом, правда?

Он кивнул.

— Но в той книжке, с коричневой обложкой, говорится только о том, что он сделал, а не о том, что он думал.

— Я тоже читала только эту книжку, — ответила она, — но я знаю, что он думал. В книгах ведь не все говорится.

— Конечно, не все, — согласился он и сел у ее ног. — Того, что хочешь знать, в них не найти.

Дети сидели молча. Обеспокоенный долгим молчанием, пес принялся обнюхивать их.

— Если бы все вокруг заговорило! — воскликнул Вальдо, вытянув руку. — Сколько интересного мы узнали бы! Вот бы услышать историю этого холма! В учебнике физической географии сказано, что на месте нынешних пустынных равнин когда-то были большие озера. Может быть, среди этих холмов когда-то лежало озеро? А вот этот огромный валун выкатили со дна волны. Неясно только, как собрались все эти камни и почему именно здесь, посреди равнины? — Вопрос был трудный, и никто не нашелся, что ответить. — Когда я был маленьким, — продолжал он, — я мог часами смотреть на этот холм,

думая, что под ним похоронен какой-нибудь великан. Теперь-то я знаю, что этот холм намыло водой. Но как? Вот что самое удивительное. Занесло ли сюда сперва один камень, а потом и другие? — Он размышлял вслух, обращаясь скорее к себе самому, нежели к своим слушательницам.

— О Вальдо, просто бог воздвиг его здесь, этот холм, и все, — важно отозвалась Эмм.

— Но зачем же?

— Так богу угодно.

— Но почему именно здесь?

— Потому что так ему угодно.

Последние слова сказаны были тоном, не допускающим возражений. Неизвестно, удовлетворился ли Вальдо таким объяснением, но он отвернулся и не задавал больше никаких вопросов.

Чуть погода он подвинулся ближе к Линдал и, помолчав, тихо сказал:

— А тебе никогда не казалось, что камни говорят?.. Иногда, — продолжал он почти шепотом, — я лежу здесь и слышу их голоса. Они рассказывают о далеком прошлом, о древних временах, когда жили диковинные рыбы и звери, теперь уже окаменевшие, когда здесь расстились озера, и о тех временах, когда тут жили маленькие бушмены. Они спали в норах, выкопанных дикими собаками, и в руслах высохших ручьев, ели змей и охотились на антилоп, убивая их ядовитыми стрелами. Один из них, какой-нибудь старый бушмен, нарисовал вот это. — Вальдо показал на рисунок на скале. — Он был один из них, но не такой, как все. Он и сам не понимал зачем, просто ему хотелось сделать что-то особенное. Приготовить краску — дело хлопотливое. Немалых трудов стоило найти подходящую скалу. Нам эти картинки кажутся странными, даже смешными, и только; он же был убежден, что они прекрасны.

Обе девочки повернули головы к рисункам.

— Вот здесь он стоял на коленях в одной набедренной повязке и рисовал, рисовал, рисовал... А потом с восхищением смотрел на дело рук своих... — Вальдо поднялся, энергично размахивая руками. — Буры перестреляли их всех до единого, и теперь из-за этих камней никогда не выглянет лицо бушмена. — Он замолчал, на губах у него заиграла мечтательная улыбка. — Все кануло в прошлое. Скоро уйдем и мы, и останутся только камни. Как и сей-

час, они будут глядеть на все окружающее. Может быть, они не могут мыслить, как я, но говорить они умеют,— прибавил он задумчиво.— Правда ведь умеют, Линдал?

— Нет,— сказала она,— неправда.

Солнце зашло за дальние холмы, Вальдо внезапно вспомнил о своем стаде, вскочил на ноги и бросился бежать. По пятам за ним гналась собака, норовя вцепиться в его порванные штанины.

— Пойдем и мы, посмотрим на этого англичанина,— сказала Эмм.

Глава III

«Я БЫЛ СТРАННИКОМ, И ТЫ ПРИЮТИЛ МЕНЯ»

Обогнув холм, девочки увидели необычное скопление народа возле задней двери хозяйского дома.

На пороге, уперев руки в бока, стояла тетушка Санни, вся багровая от распиравшего ее гнева, и яростно трясла головой. У ног ее сидела желтая готтентотка, старшая служанка, а вокруг толпились остальные служанки, прикрытые одеялами. Две девушки, которым велено было молотить маис, замерли над деревянной колодой с тяжелыми цепями в руках. Глаза у них были вытаращены. Конечно же, не старый немец-управляющий, возвышавшийся среди толпы, собрал столько народу. Его темный, цвета маренго костюм, черная с проседью борода и серые глаза были знакомы всем так же хорошо, как тростниковая крыша хозяйского дома. Все взоры были обращены на стоявшего рядом незнакомца, а тот с легкой усмешкой поглядывал поверх своего красного крючковатого носа на тетушку Санни.

— Я, слава богу, не дитя неразумное,— разорялась тетушка Санни на своем родном языке,— и не вчера на свет родилась! *Меня* вам не провести! Рассказывайте свои сказки кому-нибудь другому! Я вас насквозь вижу, не хватало еще, чтобы у меня на ферме ночевали всякие бродяги! — кричала она срывающимся голосом.— Нет, черт подери, нет! Будь у него хоть шестьдесят шесть красных носов. Нет, нет и нет!

Тут немец-управляющий попробовал было вежливо намекнуть, что пришелец никакой не бродяга, а человек

в высшей степени уважаемый. Три дня назад у него, к несчастью, пала лошадь и...

— И слушать ничего не желаю! — закричала тетушка Санни. — Не родился еще такой хитрец, который мог бы меня вокруг пальца обвести. Будь у него денежки, он купил бы себе другую лошадь. Пешком ходят только воры, убийцы, католики да всякие продувные бестии. А у этого на лице написано, кто он! — вопила она, грозя незнакомцу кулаком. — Каков наглец! Заявился в дом женщины из почтенной бурской семьи и здоровается со всеми за руку, будто он порядочный человек. Ну нет! Такому не бывать.

Странник снял свой, когда-то щегольской, а теперь заношенный цилиндр, обнажив лысое темя в полукружье волос, и отвесил тетушке Санни церемонный поклон.

— Что изволила сказать эта дама, друг мой? — осведомился он, скосив глаза на старого немца.

— Э, гм, ну... буры... видите ли... как бы это сказать... опасаются тех... кто ходит пешком...

— Мой любезный друг, — произнес незнакомец, положив руку на плечо управляющему, — я, конечно же, купил бы себе другую лошадь, но пять дней назад, переправляясь через глубокую реку, я обронил свой кошелек. В нем было пятьсот фунтов. Пять дней проискал я кошелек, но так и не нашел. Пять дней. Последние, чудом сохранившиеся девять фунтов я заплатил какому-то туземцу, который обшарил все дно реки. Но и он, увы, ничего не нашел.

Немец хотел было перевести все это тетушке Санни, но та и слушать ничего не стала.

— Нет-нет, пусть немедленно убирается. Вы только посмотрите, как он пялит на меня глаза, я женщина бедная, беззащитная. Если он вздумает обидеть меня, кто за меня заступится? — кричала тетушка Санни.

— Послушайте, — сказал немец вполголоса, обращаясь к пришельцу. — Не глядите на нее так пристально. Она может подумать... что у вас... дурные намерения.

— О, конечно, мой друг, конечно, — откликнулся гость. — Больше я и не погляжу в ее сторону.

И он тут же перевел взгляд на двухлетнего темно-шоколадного младенца. Этот несмышленный сын Африки пришел в неопиcуемый ужас и с воплями спрятался под одеялом своей родительницы.

Тогда пришелец повернулся к деревянной колоде. Он стоял, опершись обеими руками о набалдашник своей трости. Вид у его башмаков был довольно жалкий, зато трость была как у истинного джентльмена.

— Ишь бродяга! — буркнула тетушка Санни, глядя на него в упор.

Англичанин продолжал смотреть на колоду; казалось, он даже не замечает неприязненного к себе отношения.

— А вы, случайно, не шотландец? — поинтересовался немец. — Она ведь только англичан терпеть не может.

— Милейший, — воскликнул незнакомец. — Я чистокровный ирландец, отец у меня ирландец и матушка ирландка! В моих жилах ни капли английской крови!

— И вы, разумеется, женаты... — подсказывал немец. — У вас есть жена и детки... Видите ли, буры недолюбливают закоренелых холостяков...

— Ах, — сказал гость, и у него потеплел взгляд, — у меня милая жена и трое прелестных детей: две очаровательные девочки и прекраснейший сын.

Все это было тотчас передано управляющим тетушке Санни. Она немного смягчилась, хотя и осталась тверда в убеждении, что намерения у этого человека дурные.

— Господь свидетель, — вскричала она громким голосом, — все англичане — уроды, но такого, как этот, свет не видывал! Нос колбасой. Башмаки каши просят. А глаза-то! Да ведь он косой! Веди его к себе! — велела она управляющему. — Ты отвечаешь мне за него головой.

Немец перешел. Пришелец снова отвесил тетушке Санни низкий поклон и последовал за своим доброжелателем в его крохотную комнатку.

— Я знал, что она скоро отойдет, — радостно говорил немец. — Тетушка Санни совсем не злая женщина! — И, перехватив удивленный, как ему показалось, взгляд, он поспешно добавил: — Мы тут живем попросту. Без громких титулов. Тетушка да дядюшка, вот и все наши титулы. Ну-с, вот моя комната, — сказал он, отворяя дверь. — Комната не ахти какая роскошная... Совсем даже не роскошная, но вы ведь не захотите спать в поле, а? — сказал он, украдкой глядя на своего гостя. — Входите, милости прошу. Угощу вас ужином. Царского стола не обещаю, но и с голоду не умрем... — Он потирал руки и оглядывался с довольной, хотя и несколько смущенной улыбкой.

— Друг мой, дорогой друг, — сказал гость, порывисто хватая его за руку, — да благословит вас господь, да благословит и наградит вас господь, заступник сирот и бездомных. Если б не вы, ночевать бы мне эту ночь на сырой земле.

Чуть позже Линдал принесла немцу ужин. Увидев свет в квадратном оконце, она не стала стучать, а откинула щеколду и вошла. В очаге потрескивал огонь, ярко-красным светом заливая всю невзрачную каморку с источенными потолочными балками, земляным полом и потрескавшейся штукатуркой на стенах. Комната была сплошь заполнена самыми разнообразными вещами. Рядом с очагом виднелся большой ящик для инструментов, над ним — полка, заставленная потрепанными книгами, еще дальше в углу возвышалась гора мешков, пустых и с зерном. С потолочных балок свисали ремни — «реймсы», старые башмаки, уздечки, связки лука. В другом углу стояла кровать, которую обычно задергивали синей занавеской. Но сейчас занавеска была откинута и в глаза бросалось стеганое одеяло из набивного ситца: выпуклые красные львы по всему фону. Полку над очагом у одной стены занимали какие-то мешочки и камешки, на другой стене висела карта южной Германии. Красными черточками на ней был отмечен путь, который прошел старый немец. Только здесь Линдал и Эмм чувствовали себя как дома. Усадьба, где жила и правила тетушка Санни, была для них местом, где они спали, ели, — а тут они были счастливы. Напрасно старалась голландка внушить девочкам, что они уже взрослые и не пристало им туда ходить, в эту лачугу. Каждое утро и каждый вечер они неизменно оказывались здесь. Здесь прошло их детство, с этими старыми стенами связано столько добрых воспоминаний.

Долгими зимними вечерами они сидели вокруг очага, дожидались, пока поджарится картошка, и загадывали друг другу загадки, а старик немец рассказывал им о маленькой немецкой деревушке, где пятьдесят лет назад, совсем еще мальчиком он играл в снежки. Он вспоминал вслух, как однажды отнес домой вязаные чулочки девочки, которая впоследствии стала матерью Вальдо. И обоим слушательницам казалось, будто они воочию видят, как, постукивая деревянными башмаками, разгуливают крестьянские девушки с золотыми косами и как мамы сзывают своих детей ужинать и накладывают им

в деревянные плошки картофель и поят молоком, а иногда девочки проводили время еще веселее: в лунные вечера затевали возню у дверей, и старый немец, как ребенок, бегал с ними взапуски, и все смеялись так громко, что от хохота дрожала крыша старого амбара. Но всего приятнее были теплые, темные, звездные ночи, когда все они садились на крылечке и пели на немецком языке псалмы; голоса их звучали звонко в ночной тишине, и немец украдкой, чтобы не видели дети, смахивал с глаз слезы; а иногда они просто смотрели на небо и говорили о звездах — о прекрасном Южном Кресте, о кроваво-красном Марсе, об Орионе с его поясом, о семи загадочных сестрах — какие они, сколько им миллионов или миллиардов лет, обитаемы они или нет. И старый немец высказывал предположение, что там, очень даже может быть, живут души тех, кого они любили. Может быть, вон на той далекой мерцающей искорке живет теперь маленькая девочка, чулочки которой он относил домой... И, отыскав в небе искорку, дети смотрели на нее потеплевшими глазами и говорили: «Вот звезда дяди Отто». И еще они размышляли о тех временах, когда свод небесный свернется, подобно свитку, и светила небесные осыплются с тверди, точно перезрелые плоды смоковницы, и оборвется течение времен, и «сын человеческий придет во славе его и с ним все ангелы его». Голоса их становились все тише, понижаясь до шепота. Они желали друг другу покойной ночи и расставались притихшие...

Когда Линдал заглянула в квадратное оконце, Вальдо сидел у очага и смотрел на кипящую кастрюлю, забыв о грифеле и дощечке, которые все еще были у него в руках. Старый Отто сидел за столом, уткнувшись в газету трехнедельной давности. На кровати в углу, вытянувшись, крепко спал их гость. Он дышал раскрытым ртом, все тощее его тело изобличало смертельную усталость. Девочка поставила еду на стол, сняла нагар со свечи и пристально посмотрела на спящего.

— Дядя Отто, — сказала она, положив руку на газету. Старый немец поднял глаза и взглянул на нее поверх очков. — Этот человек весь день был на ногах?

— С самого утра, бедняга. К ходьбе он непривычен, сразу видно, джентльмен. А что делать, если лошадь пала? — сказал он, выпятив нижнюю губу и сочувственно

разглядывая незнакомца; его пухлый двойной подбородок, вдребезги разбитые башмаки.

— А вы ему верите, дядя Отто?

— Конечно, верю. Он сам мне трижды рассказал обо всем, что с ним случилось...

— Но за один день,— с расстановкой сказала девочка,— нельзя износить башмаки. А что, если...

— *Если!* — вскричал немец, вскакивая со стула, до глубины души возмущенный высказанным сомнением. — *Если!* Но он же сам мне все рассказал... Вот он лежит, смотри — несчастный, измученный человек! У нас тут есть для него кое-что. — Он показал большим пальцем на булькающую кастрюлю. — Мы не французские кулинары, но похлебать это можно, ей-богу, можно. Все лучше, чем голодать, — прибавил он, весело кивая головой, всем своим видом показывая, что он крайне доволен и готовящимся ужином, и самим собой. — Тс-с, тише! — предостерег он Линдал, когда та стала расхаживать по комнате. — Тс-с, ты его разбудишь, мой цыпленочек.

Он переставил свечу так, чтобы свет не беспокоил спящего, разгладил газету и, поправив очки на носу, снова углубился в чтение.

Девочка долго рассматривала незнакомца, лишь иногда переводя свои темно-серые глаза на старого немца.

— А я думаю, он лжет... Покойной ночи, дядя Отто! — процедила она, повернулась к двери и вышла.

Старый немец долго еще сидел за чтением. Наконец он аккуратно сложил газету и спрятал ее в карман.

Гость так и не проснулся; Вальдо тоже сморил сон, он спал на полу, у очага, и старик поужинал в одиночестве.

После ужина он вытащил из-под груды мешков две белые козьи шкуры, свернул их вдвое и подложил мальчику под голову, предварительно вынув у него из-под щеки грифельную дощечку.

— Бедный ягненочек, бедный ягненочек! — проговорил немец, нежно поглаживая рукой некрасивую, крупную, как у медвежонка, голову. — Он так устал! Так устал!

Немец снял с гвоздя пальто и прикрыл мальчику ноги. Убрал с огня кастрюлю. Поискал глазами, где бы прилечь, и, не найдя себе места, опять сел за стол, раскрыл старую зачитанную Библию и скоро целиком погрузился в мир успокаивавших ему душу мыслей и видений.

«Я был странником, и ты приютил меня», — прочитал он. Он посмотрел на постель и повторил про себя: «Я был странником...»

С глубокой нежностью смотрел старик на незнакомца, не замечая ни обрюзгшего его подбородка, ни злобного, даже во сне, выражения лица. Нет, под этой телесной оболочкой ему чудился образ человека, который так долго жил в его мечтах, что стал почти явственно зримым. Образ странника...

— Сын человеческий, возлюбленный мой, ужели дано нам, слабым и грешным, бrenным и заблуждающимся, служить Тебе, приютить Тебя? — прошептал старый немец, поднимаясь. Радостно шагая из угла в угол, он напевал себе под нос строчки из псалмов и бормотал обрывки молитв. Огонь в очаге ярко освещал комнату, и старому немцу казалось, что Христос где-то рядом: вот-вот туманная пелена ниспадет с его глаз, и он узрит того, о ком некогда воскликнули: «Смотрите! Это он, богочеловек!»

Всю ночь он шагал, возведя глаза к закопченным балкам потолка. Грубое, обросшее бородой лицо его светилось восторгом, и ночь эта казалась ему, бодрствующему, не более долгой, чем спящим, ибо грезилось ему, будто он вознесся в обитель небесную.

И так быстро пролетела эта ночь, что, когда в четыре часа первые лучи летнего утра скользнули в оконце, старый немец не поверил своим глазам. Очнувшись, он поспешно сгреб в кучку еще не остывшие под пеплом уголья, а его сын заворочался и сквозь сон пробормотал, что сейчас, сию минуту встанет...

— Лежи. Еще рано. Я хотел только разжечь огонь, — сказал старик.

— Ты не спал всю ночь? — спросил мальчик.

— Ночь прошла так быстро. Спи, мой малыш, еще рано.

И он отправился за топливом.

Глава IV

БЛАЖЕННЫ ВЕРУЮЩИЕ

Бонапарт Бленкинс сидел, свесив ноги с постели. Его трудно было узнать — он словно переродился. Голову держал высоко, говорил в полный голос, жадно ел все,

что ему подавали. Перед ним стояла похлебка, которую он поглощал прямо из миски, отрываясь лишь для того, чтобы взглянуть на своего хозяина, чинившего плетеное сиденье старого кресла.

Сквозь раскрытую дверь видно было несколько молодых страусов; они с безучастным видом разгуливали по залитой полуденным солнцем равнине. Гость посмотрел на них, на оштукатуренные стены комнаты и задержал взгляд на Линдал, сидевшей на пороге с книгой. Затем он сделал вид, будто поправляет воображаемый накрахмаленный воротничок, пригладил остатки седых волос на затылке и обратился к немцу с такими словами:

— Судя по книгам, которые я у вас здесь вижу, вы увлекаетесь историей, милейший, так я понимаю. Ну конечно же, историей. Совершенно ясно.

— Пожалуй... возможно... немного... — неохотно признался немец.

— В таком случае, — произнес Бонапарт Бленкинс и величественно расправил плечи, — вам небезызвестно, конечно, имя моего великого, моего прославленного родича, Наполеона Бонапарты?

— Разумеется, — отвечал немец, поднимая на гостя глаза.

— Так вот, сэр, — сказал Бонапарт, — пятьдесят три года назад, в этот же самый час, в этот же самый апрельский день я появился на свет. Повитуха, сэр, та самая, заметьте, что принимала герцога Сазерлендского, подавая меня матушке, сказала при этом: «Ребенка с таким носом можно назвать только именем его великого предка». Вот меня и нарекли Бонапартом — Бонапартом Бленкинсом. Да, сэр, по материнской линии в моих жилах течет та же кровь, что и в его жилах.

— О-о-о! — удивленно протянул немец.

— Конечно же, это родство нелегко постичь человеку, не искушенному в изучении генеалогии аристократических фамилий, но родство тем не менее самое близкое.

— Невероятно! — еще более пораженный, вскричал немец, отрываясь от работы. — Наполеон — ирландец?

— Да, — подтвердил Бонапарт, — по материнской линии, сэр, отсюда и наше родство. Никому не удалось победить его, — сказал Бонапарт, потягиваясь, — никому, кроме герцога Веллингтона. И вы только вообразите себе, какое странное стечение обстоятельств, — добавил он, всем телом подаваясь вперед, — и с ним, с Веллингтоном

то есть, я в родстве! Его племянник женат на моей кузине. Ах, что это за женщина! Видели бы вы ее на придворном балу! Золотистый атлас, маргаритки в волосах! За сто миль помчишься, чтобы только полюбоваться на такую женщину! А мне вот не раз доводилось ее видеть, сэр!

Немец вплетал ремешок в сиденье кресла, размышляя над превратностями человеческой судьбы. Кто бы мог предполагать, что потомок герцогов и императоров окажется в его скромной каморке!

Бонапарт между тем предавался воспоминаниям:

— Ах, этот племянник герцога Веллингтона! Какие мы с ним штуки выкидывали! Он был частым гостем в «Бонапарт-холле». Дивный у меня был тогда дворец с парком, оранжереей; слуг и не счесть. Только одним недостатком и страдал племянник герцога Веллингтона, — промолвил Бонапарт, отметив про себя, что немец старательно ловит каждое его слово, — только одним недостатком: отказал ему бог в храбрости. Вам в России, случаем, не приходилось бывать? — спросил он как бы между прочим, впиваясь косыми глазами в немца.

— Нет, — скромно отвечал старик. — Повидал я Францию, Англию, Германию, здесь побродил, но больше нигде не был.

— А я, друг мой, — горделиво провозгласил Бонапарт, — изъездил весь белый свет и говорю на всех цивилизованных языках. Вот разве что голландскому да немецкому пока не умудрил господь. Я написал книгу о своих путешествиях — достопримечательные случаи, ну и все такое... Издатель сразу же ее отпечатал, но даже имени моего не проставил. Ну и мошенники эти издатели!.. Так вот, как-то раз путешествуем мы с племянником герцога Веллингтона по России. И вдруг одна из наших двух лошадей падает замертво. Представляете себе: морозный вечер, снегу намело на четыре фута, кругом дремучий лес, а сани ни с места. Вот-вот совсем стемнеет. Волки. «Ну и потеха!» — говорит племянник герцога Веллингтона.

«Это, по-вашему, потеха, сэр?! — отвечаю я. — Взгляните-ка». — И показываю на ближайший куст, из-за которого выглядывает медвежья голова. Племянник герцога Веллингтона, как кошка, вскарабкался на дерево. А я стою спокойный и невозмутимый, вот как перед вами. Зарядил ружье и только тогда полез на дерево. Лезу, а сук всего один, сэр! Один на двоих.

«Бон,— говорит мне племянник герцога,— уж вы устраивайтесь впереди, а я у вас за спиной».

«Хорошо, но держите ружье наготове. Тут их собирается целая стая!» Куда там, он уткнулся лицом мне в спину, зажмурил глаза от страха и спрашивает: «Много их?» — «Четверо», — отвечаю я. «А теперь?» — «Восемь». — «А теперь?» — «Десять!» — «Де-е-сять», — восклицает он и роняет ружье. «Велли,— говорю я ему,— что вы наде-лали? Теперь мы пропали». — «Бон, старина,— отве-чает он,— какой я вам помощник? У меня руки дро-жат».

«Велли,— кричу я, оборачиваясь и хватая его за руки,— Велли, дружище мой дорогой, прощайте! Я не боюсь смерти. Но вы знаете, какие у меня длинные ноги, они свисают так низко, что первый же медведь, слу-чись мне промахнуться, сдакает меня. Что ж, тогда бе-рите мое ружье и не поминайте лихом. Вы еще можете спастись. Только об одном прошу, передайте, передайте Мэри Энн, что я умер с ее именем на устах, что я молился за нее!»

«Прощайте, старина!»

«Храни вас бог!»

А медведи уселись вокруг дерева. Да, да,— восклик-нул он, перехватив взгляд немца,— и какой правильный круг у них получился. На снегу оставались следы их хвостов, и я потом еще раз проверил,— ни один учитель рисования не начертит бы ровнее. Это меня и спасло. Если б они накинулись на меня все враз, бедный старина Бон не сидел бы сейчас с вами. Но в том-то все дело, сэр, что они нападали по одному. Один кидается, остальные сидят, поджав хвосты, и ждут. Первый сунулся — я его наповал; второго — наповал; третьего — наповал. Дошла очередь до десятого, самого матерого — предводителя, надо полагать.

«Велли,— говорю я,— позвольте вашу руку. У меня ооченели пальцы, а в ружье — последняя пуля. Я про-махнусь. Покуда он будет со мной справляться, спу-ститесь и найдите свое ружье. Живите и помните чело-века, который положил живот за други своя». Медведь был — вот он, рукой подать; я уже чувствовал прикосно-вление его лапы.

«Ах, Бонни, Бонни», — вздыхает племянник герцога Веллингтона. Но в этот миг я опустил ружье, приставил его к уху зверя и бац — наповал!

Бонапарт Бленкинс посмотрел на своего собеседника, стараясь подметить, какое впечатление произвел его рассказ. Он вынул грязный носовой платок и, отерев себе лоб, приложил его к глазам.

— Не могу спокойно рассказывать об этом приключении, — заключил он, пряча платок в карман. — О неблагодарности, о подлости человеческой напоминает оно мне. И этот человек, этот человек, который лишь благодаря мне унес ноги из бескрайних лесов России, — этот человек оставил меня в трудный час!

Немец поднял глаза.

— Да, — вновь заговорил Бонапарт, — у меня были деньги, земли. И я сказал жене: «Но ведь есть Африка, эта страна развивается, ей нужны капиталы, нужны талантливые способные люди. Едем туда...» Я накопил на восемь тысяч фунтов разных машин — веялок, плугов, жаток, загрузил ими целый корабль. Следующим пароходом поплыл я сам, — вместе с женой и детьми. Добрались до мыса Доброй Надежды, и что же тут выясняется? Корабль со всем грузом утонул. Ничего не осталось — ни машин, ни денег.

Моя жена обратилась с письмом к племяннику герцога Веллингтона. Она сделала это тайком от меня. И как же поступил человек, который обязан мне жизнью? Может быть, выслал мне тридцать тысяч фунтов со словами: «Бонапарт, брат мой, прими эти крохи»? Нет. Ничего подобного. Он не прислал мне ни медяка.

«Напиши ему сам», — предложила жена. А я ей сказал: «Нет, Мэри Энн. Пока эти руки способны трудиться — нет; пока это тело способно переносить лишения — нет. Никто никогда не скажет, что Бонапарт Бленкинс просил милостыню».

Такая благородная гордость вконец растрогала немца.

— Да-да, вам не повезло, — сказал он и покачал головой, — не повезло.

Бонапарт прихлебнул из миски, откинулся на подушки и тяжело вздохнул.

— Пойду, пожалуй, погуляю, — сказал он некоторое время спустя и поднялся, — подышу этим благотворным воздухом. Ломота никак не проходит. Надо немного размяться.

С этими словами он важно надел на свою плешистую голову шляпу и направился к двери.

Когда он ушел, немец снова принялся за работу и еще долго вздыхал, поглощенный своими размышлениями.

«Ах, господи. Такие-то дела. Ах!»

— Дядя Отто, — спросила его с порога девочка, — ты когда-нибудь слышал, чтобы десять медведей сидели кружком да еще на собственных хвостах?

— Ну не то чтобы десять. А вообще-то медведи сплошь и рядом нападают на путешественников. Ничего тут нет невероятного, — сказал он. — Ах, какой храбрости человек! Прошел через такие испытания!

— Почему знать? Может, все это неправда, дядя Отто? Старик вскипел.

— Терпеть не могу маловеров! — вскричал он. — «Почему знать?» Человек говорит, стало быть, правда. Если все подвергать сомнению, требуя: докажи, докажи, докажи, не останется и места для веры. Почему ты знаешь, что ангел отворил Петру двери темницы? Так сказал Петр? Почему ты знаешь, что Моисей слышал голос Его? Так написал Моисей. Терпеть не могу маловеров!

Девочка нахмурила брови. Старик и не догадывался о глубине ее мыслей. Взрослые редко сознают, что их слова и поступки служат уроком и примером для юного подрастающего поколения. Ибо воспитывает нас не то, чему нас учат, но то, что мы видим воочию; и ребенок усваивает духовную пищу, которой будет кормиться до конца дней своих.

Когда немец опять взглянул на Линдал, ее маленькие губы сложились в довольную улыбку.

— Что ты увидела, малышка? — спросил он.

Девочка промолчала. Внезапно вечерний ветерок донес до них истошный вопль: «Ах, боже мой! Убивают!» — и почти в тот же миг в комнату влетел Бонапарт. Рот его был широко раскрыт, все тело дрожало. Его преследовал молодой страус.

— Заприте дверь! Заприте дверь! Если вам дорога моя жизнь, заприте дверь! — прокричал Бонапарт, в изнеможении падая на стул.

Но страус только сунул голову в дверь, прошипел что-то в его сторону и удалился.

Бонапарт сидел иссиня-бледный, а губы у него даже позеленели.

— Ах, мой друг, — неверным голосом проговорил он, — я заглянул в глаза вечности, побывал в долине смерти!

Моя жизнь висела на волоске! — сказал Бонапарт, хватая немца за руку.

— Успокойтесь!.. Успокойтесь!.. — говорил немец. Он закрыл дверь и участливо оглядывал гостя. — Вы просто испугались. Первый раз вижу, чтобы такой молодой страус гнался за человеком! Бывает иногда, правда, что они кого-нибудь невзлюбят... Мне как-то пришлось из-за этого отослать с фермы одного паренька. Успокойтесь, пожалуйста!

— Оглядываюсь назад, — рассказывал Бонапарт, — и вижу зияющую красную глотку, а эта — бр-р-р — отвратительная нога уже занесена для удара! Совсем расшалились нервы... — проговорил Бонапарт, едва не падая в обморок, — я всегда отличался тонкостью своей нервной организации. Не найдется ли у вас капли вина, глоточка бренди, милейший?

Старик поспешил к книжной полке, вытащил из-за книг маленькую бутылочку и вылил в чашку половину содержимого. Бонапарт одним глотком осушил ее.

— Ну как? — дружелюбно поинтересовался старик.

— Немного полегчало, самую капельку.

Немец вышел наружу и подобрал помятый цилиндр Бонапарта, лежавший недалеко от двери.

— Мне очень жаль, что так случилось. Извините. Птица вас так напугала. Ничего не поделаешь, к страусам надо привыкнуть, — проговорил немец и бережно поставил цилиндр на стол.

— Друг мой, — сказал Бонапарт Бленкинс, протягивая ему руку, — я вас извиняю. Пожалуйста, не тревожьтесь. Забудем об этом, я вас извиняю. Вы, вероятно, просто забыли предупредить меня. Протянем же друг другу руки, я не храню зла.

— Вы так добры, — сказал немец, пожимая протянутую руку с таким чувством, как будто и в самом деле был виноват в случившемся. — Благодарю вас.

— Право же, не стоит благодарности, — сказал Бонапарт Бленкинс. Он попробовал расправить сплюснутый цилиндр, но, убедясь в тщетности своих усилий, облокотился о стол и, подперев руками голову, устремил взгляд на остатки своего головного убора.

— Ах, мой старый друг, — обратился он к своему цилиндру, — ты долго служил мне верой и правдой. Но, увы, настал и твой час. Никогда больше не украсишь ты голову своего хозяина, никогда больше не защитишь чела его от

палящих лучей солнца или пронизывающих зимних ветров. Отныне хозяину твоему суждено идти своим путем с непокрытой головой. Прощай, прощай же, мой старый друг.

К концу этой трогательной речи немец поднялся. Он подошел к сундуку, стоявшему в ногах его кровати, и достал оттуда черную шляпу, на вид почти новую.

— Конечно, это совсем-совсем не то, к чему вы привыкли, — извиняющимся голосом произнес он и положил шляпу рядом с бывшим цилиндром, — но она еще может вам послужить. Будет по крайности чем накрыть голову.

— Мой друг, — сказал Бонапарт, — вы пренебрегли моим советом, я ведь настоятельно просил вас не утруждать себя заботами обо мне. Пусть я буду ходить с непокрытой головой.

— Ну, нет! — решительно вскричал немец. — Мне, право же, совсем ни к чему эта шляпа. Она все равно только пылится в сундуке.

— Ну что ж, в таком случае я принимаю ваш дар. Я понимаю, что вами руководит вполне понятное желание загладить невольную вину. У этой шляпы нет того изящества формы, что у моего цилиндра, но она мне еще послужит. Благодарю вас, — сказал Бонапарт, примерив шляпу и положив ее рядом со своей. — А теперь я прилягу, — добавил он, — ибо мне нужен отдых. Боюсь, что иначе я буду ужинать без аппетита.

— О, конечно, конечно, — произнес немец, принимаясь за прерванную работу и заботливым взглядом наблюдая за Бонапартом Бленкинсом. А тот растянулся на кровати и прикрыл себе ноги краем стеганого одеяла.

— Вы и не думайте никуда уезжать, оставайтесь здесь, — немного времени спустя проронил немец. — Тетушка Санни не возражает и...

— Друг мой, — печально проговорил Бонапарт, закрывая глаза, — вы так добры. Но не будь завтра воскресенье, слабый и немощный, я снова двинулся бы в путь. Мне нужно найти работу. Ни одного дня не могу я сидеть в праздности. Работа, труд — вот в чем секрет подлинного счастья!

Он взбил подушку, устроился поудобнее и принялся следить, как немец чинит сиденье кресла.

Через некоторое время Линдал молча поднялась, поставила книгу на полку и ушла. Поднялся и немец. Он

принес воды, достал муку и стал замешивать тесто для лепешек.

— По субботам я всегда ставлю тесто на два дня, — сказал он, — тогда в воскресенье и мысли и руки свободны от забот.

— Блаженно воскресенье, день господень! — провозгласил Бонапарт Бленкинс.

Наступило молчание. Бонапарт Бленкинс, не поворачивая головы, украдкой посмотрел, стоит ли на огне ужин.

— В этой дыре вам, должно быть, очень недостает слова божьего, — продолжал он. — Ах, сколь возлюблен дом Твой, обиталище славы Твоей!

— Что верно, то верно, — произнес немец, — но мы делаем все, что можем. Собираемся все вместе, и я... и я говорю несколько слов... может быть, они не пропадают даром. Может быть.

— Удивительное совпадение, — сказал Бонапарт Бленкинс, — и я тоже так поступал! Помню, случилось мне жить в Оранжевой Республике. Местность пустынная, один-единственный сосед на всю округу. Каждое воскресенье я сзывал всех: своего друга соседа, детей и слуг, и говорил им: «Возрадуйтесь, как я радуюсь, что мы служим Господу нашему!» — и потом я обращался к ним с проповедью. Ах, благословенное время! Если б оно только вернулось!

Немец месил тесто, месил энергично, старательно, молча. Уступить чужеземцу свою постель, подарить ему шляпу со своей головы, отдать бренди — все это куда бы еще ни шло! Но уступить свое право служить Богу!

После недолгого молчания немец вымолвил:

— Я поговорю с тетужкой Санни. Возможно, она согласится. Тогда вы будете служить по воскресеньям вместо меня, если...

— Друг мой, — сказал Бонапарт Бленкинс, — это было бы для меня великое счастье, несказанное блаженство. Но в этом заношенном платье, в этом ветхом рубище мне не пристало служить Тьму, чье имя я не смею сейчас назвать. Нет, друг мой, я останусь здесь. И когда вы соберетесь все вместе перед лицом Господа нашего, я буду думать и молиться за вас. Нет, я останусь здесь.

Глубоко растроганный таким самоотречением, немец очистил от муки пальцы и подошел к сундуку, откуда незадолго перед тем вынул шляпу. Порывшись, он извлек

на свет божий сюртук, брюки, жилет из черного сукна и, хитро улыбаясь, выложил все это на стол. Сукно было новехонькое, немец надевал его два раза в году, когда отправлялся в город к причастию. Развернув сюртук, он гордо показал его своему гостю.

— Конечно, этот сюртук сшит не по последней моде и не от лучшего портного. Но он еще сгодится, еще послужит. Примерьте, примерьте, — сказал он, и его серые глаза засветились от удовольствия.

Бонапарт Бленкинс поспешно встал и примерил. Сюртук сидел великолепно. Спинку жилета пришлось распороть, лишь тогда удалось застегнуть его на все пуговицы. Брюки пришлись в самую пору. Только башмаки портили общий вид. Но немца это не смутило. Он снял с гвоздя пару сапог с отворотами, тщательно вытер с них пыль и поставил их у ног Бонапарта Бленкинса. Теперь глаза старого немца просто сияли восторгом.

— Надевал всего один раз. Уж они-то послужат, им сносу не будет.

Бонапарт Бленкинс натянул сапоги и выпрямился. Голова его едва не упиралась в потолочную балку. А немец смотрел на него с глубоким восхищением. Новое оперение совершенно преобразило птицу.

Глава V

ВОСКРЕСНЫЕ МОЛИТВЫ

ПЕРВАЯ МОЛИТВА

Вальдо коснулся страниц книги губами и поднял глаза. Посреди равнины небольшим пятнышком виднелся одинокий холм. Мирно паслись овцы. Воздух еще не нагрелся, и все вокруг было затоплено тишиной раннего воскресного утра.

Мальчик снова посмотрел на книгу. По странице ползла черная букашка. Он поймал ее, посадил на палец и, опершись на локоть, стал, улыбаясь, наблюдать за движениями крохотной твари, смешно шевелившей усиками.

— Даже тебе, — шептал он, — не дано умереть без воли Его. Даже тебя Он любит. И примет в свои объятия, когда придет время, и воздаст тебе сторицей за все благое.

Когда букашка улетела, Вальдо бережно разгладил страницы своей Библии. Страницы эти некогда исторгали

у него кровавые слезы. Они омрачили его детство, наполняя его воображение кошмарными образами, которые не давали ему спать по ночам. Как ядовитые змеи с раздвоенными жалами, гнездились в его уме коварные, хоть и простые на вид вопросы, на которые он не находил ответа:

Почему в Евангелии от Марка говорится, что женщинам предстал лишь один ангел, у Луки же — что два? Может ли быть два лика у истины? Может ли? И еще: Сказано: доброе и дурное одно для всех во все времена. Так ли это? Как могло стать, что Иаиль, жена Хевера Кенейнина, «взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою» и подошла тихонько и вонзила кол в висок спящего; а дух господень пел ей громкие гимны,— так сказано в Писании,— и никто не возвысил голоса против этого, ведь нет ничего более подлого, чем убивать спящих? И как могло стать, чтобы некто взял себе в жены родную сестру, и Бог не проклял его за это; а ведь поступи кто-нибудь так теперь, ему прямая дорога в ад. Разве доброе и дурное не одно для всех во все времена?

Когда-то эти страницы заставляли его проливать кровавые слезы, ложились тяжким бременем на сердце. Это они лишили его всех радостей детства; и вот теперь он ласково водит рукой по этим страницам.

— Бог, отец наш, все знает,— говорил Вальдо себе.— Нам не понять, а Он все знает.— Мальчик задумался и прошептал, улыбаясь: — Я слышал сегодня утром Твой голос. Я лежал, не раскрывая глаз, и чувствовал, что Ты рядом. Отец наш, за что Ты меня так любишь? — Лицо Вальдо засияло еще ярче.— Вот уже четыре месяца меня не мучают сомнения. Я знаю, что Ты добр. Я знаю, что Ты всех любишь. Знаю, знаю, знаю! Ты всех любишь. Знаю, знаю, знаю! У меня не было больше сил терпеть. Не было сил.— Он тихонько рассмеялся.— И все то время, пока я изнемогал в мучениях, Ты смотрел на меня с любовью, только я этого не знал. Но теперь я знаю, теперь я чувствую, чувствую душой,— сказал мальчик и снова тихонько засмеялся.

Чтобы как-то выразить переполнявшую его радость, Вальдо читал нараспев разрозненные строки псалмов. А овцы смотрели на него своими ничего не выражающими глазами.

Наконец Вальдо умолк. Он лежал, глядя на песчаную, поросшую кустами равнину, и грезил наяву... Вот он переправился через реку Смерти и идет по земле обето-

ванной; ноги тонут в темной траве, а он все идет и идет. Наконец кто-то появляется вдали. Но кто же? Ангел божий? Нет. Это сам господь. Все ближе и ближе подходит Он и, когда раздается громовой голос: «Добро пожаловать!», сомнениям уже не остается места. Вальдо prostирается ниц, крепко обнимает его ноги. Потом поднимает глаза на склонившийся над ним лик; перехватывает сверкающий, полный любви взгляд; и нет никого вокруг, только они двое...

Вальдо рассмеялся радостным смехом, а потом вскочил, как внезапно разбуженный человек.

— Боже! — крикнул он. — Я не могу ждать, не могу ждать! Я хочу умереть, я хочу видеть Его. Хочу коснуться Его. Умереть! — Весь дрожа, он сложил руки. — Неужели я должен ждать еще много лет? Я хочу умереть, чтобы видеть Его! Пусть он возьмет меня к себе.

Мальчик припал к земле; тело его сотрясали рыдания... Прошло много времени, прежде чем он поднял голову и сказал:

— Ну что ж, я буду ждать. Я буду ждать. Но недолго. Не заставляй меня долго ждать, Господи Иисусе. Ты мне так нужен! Так нужен!

Вальдо сидел на песке, глядя перед собой полными слез глазами.

ВТОРАЯ МОЛИТВА

Тетушка Санни сидела в кресле посреди гостиной, держа в руке толстый псалтырь с медными застежками, ноги у нее удобно покоились на скамеечке, на шее белел чистый платок. Здесь же рядом, в опрятных передниках и новых башмаках, сидели Эмм и Линдал, а чуть поодаль — нарядная служанка в туго накрахмаленном белом чепце. За открытой дверью стоял и ее муж. Волосы у него были густо смазаны маслом и тщательно причесаны. Он не отрывал глаз от своих новых кожаных ботинок. Слугам тетушка Санни не разрешала присутствовать на молитве, считая, что в спасении души они не нуждаются. Все же остальные были в сборе и ждали управляющего.

Немец появился под руку с Бонапартом Бленкинсом, щегольски одетым в черную суконную тройку и в сверкающую белизной сорочку с белоснежным воротничком. Немец в потертой, темного с ворсом сукна куртке бросал на своего спутника взгляды, полные робкого восхищения.

У парадной двери Бонапарт Бленкинс с достоинством снял шляпу и поправил воротничок. Он прошествовал к столу посреди комнаты, торжественно возложил на него свою шляпу рядом с семейной Библией и склонил голову в безмолвной молитве.

Тетушка Санни посмотрела на служанку, а служанка на тетушку Санни.

Ничто не вызывало в тетушке Санни такого глубокого почтения, ничто не впечатляло ее с большей силой, ничто не могло пробудить в ее душе более благородные чувства, нежели новое блестящее черное сукно. Оно воскрешало в ее памяти фигуру predikant'a ¹, почтенных старейшин, восседающих в церкви по воскресеньям в переднем ряду, таких благочестивых и респектабельных в своих черных фраках с узкими длинными фалдами, оно неразрывно связывалось в ее воображении с заоблачными высями, где все так свято и чинно и где ни на ком не увидишь грубого домашнего тканья, и даже ангелы и серафимы все сплошь в черных фраках. Она уже сожалела, что назвала столь почтенного человека вором и римским католиком. Оставалось надеяться, что немец не передал ее слов. Непонятно только было, почему он появился в лохмотьях. Однако нет никаких сомнений, мужчина он представительный, истый джентльмен.

Немец начал читать псалом. В конце каждой строки Бонапарт Бленкинс всхлипывал, а в конце каждого стиха даже дважды.

Тетушка Санни не раз слышала, что некоторые люди всхлипывают на молитве. Старый Ян Вандерлинде, например, ее дядя по матери, всегда всхлипывал, с самого своего обращения, но она не видела в этом особого проявления благочестия. Но всхлипывать во время чтения псалмов? Тетушка Санни была поражена. А ведь вчера она грозила этому святому человеку кудаком! Неужели он не забыл ее грубости?

Молящиеся преклонили колени. В тетушке Санни было двести пятьдесят фунтов весу, и она не могла последовать их примеру. Сидя в кресле и прикрыв лицо руками, она поглядывала на чужестранца: Слов ей не удавалось разобрать, но по всему видно было, что он ревностно молится. Вот он ухватил стул за спинку и стал его трясти,

¹ Проповедник (африкаанс).

да так, что из-под ножек на земляном полу взвились струйки пыли.

Когда все поднялись с колен, Бонапарт Бленкинс чинно уселся на стул и открыл Библию. Он громко высморкался, поправил воротничок, провел рукой по странице, будто разглаживал ее, одернул жилет, снова высморкался, торжественно огляделся и начал:

— Ложью же осквернившие себя будут низринуты в озеро, горящее пламенем и серою, и будет им это вторая смерть.

Прочитав эти слова, Бонапарт Бленкинс сделал выразительную паузу и оглядел всех в комнате.

— Я не стану, мои дорогие друзья, — продолжал он, — утомлять вас и отнимать ваше драгоценное время, мы уже употребили его во славу Господу. Мне остается сказать вам немного, всего несколько слов, — да будут они подобны биту железному, отрешающему кости от мозга! Итак, ответьте: что есть лжец?

Вопрос был задан таким многозначительным тоном и сопровождался такой долгой паузой, что даже муж служанки-готтентотки оторвал взгляд от своих ботинок, хотя ни слова не понял.

— Я повторяю, — сказал Бонапарт. — Что есть лжец?

Его вопрос произвел глубокое впечатление. Присутствующие застыли в напряженном ожидании.

— Доводилось ли кому-либо из вас встречать лжеца, мои дорогие друзья? — И снова пауза, еще более продолжительная. — Надеюсь, нет. От всей души надеюсь, нет. Но я расскажу вам, что такое лжец. Я знал одного, это был маленький мальчик и жил он в Кейптауне, в переулке возле Шорт Маркет-стрит. Однажды, когда мы с его матушкой сидели, рассуждая о спасении души, она позвала его.

«Эй, Сэмпсон, — сказала она, — вот тебе шесть пенсов, ступай купи персигов у малайца за углом».

Когда он возвратился, она спросила, сколько ему дали на шесть пенсов.

«Пять персигов», — ответил он.

Он боялся, что если скажет правду: пять с половиной, она попросит у него половинку. И он солгал, друзья мои. Половинка застряла у него в горле, он умер, и его похоронили. Куда же попала душа этого маленького лжеца, друзья мои? В пылающее серное озеро, так-то. Перейдем теперь ко второй части рассуждения, а именно: что

есть озеро, горящее пламенем и серою? Попытаюсь объяснить вам и это, друзья мои,— проронил он снисходительно.— И хотя воображение само по себе бессильно постичь сие, постараюсь с божьей помощью просветить вас.

Случилось мне как-то путешествовать по Италии. И прибыл я в большой город, называемый Римом. Недалеко от него огнедышащая гора. Имя ей — Этна. И жил в этом городе Риме некий юноша, который не питал должного страха перед богом, и любил он женщину. Когда же эта женщина умерла, взшел он на огнедышащую гору и бросился в провал, что на самой ее вершине. На другой день поднялся туда и ваш покорный слуга. В душе моей не было страха, ибо господь хранит слуг своих; и на руках вознесет он их, если случится упасть, пусть даже в вулкан. Пока я взбирался туда, спустилась ночь. В страхе божием приблизился я к самому краю зияющей бездны и глянул вниз. То, что я увидел, вовеки не изгладится из моей памяти. Я увидел раскаленное озеро среди тьмы крошечной, огонь расплавленный, море кипящее; и по волнам носился белый скелет самоубийцы. Подобно легкой пробке, метался этот скелет по огненным волнам. Одна рука скелета была поднята и перст указывал на небо; другая опущена — устремленный вниз перст как бы говорил: «Мне в преисподнюю, тебе же, Бонапарт Бленкинс, в выси небесные!» Я смотрел, зачарованный и потрясенный. И в тот же миг разверзлись волны, затем вздыбились, закипели и поглотили самоубийцу, сокрыв его навсегда от ока людского.

Бонапарт Бленкинс сделал передышку и продолжал:

— Озеро из расплавленного камня поднималось все выше и выше, оно заполнило кратер и готово было выплеснуться за края. Не теряя присутствия духа, я взобрался на близлежащий утес, и через мгновение вокруг меня забушевал огненный поток. И всю ту долгую и ужасную ночь я простоял один на утесе, среди кипящей лавы, словно символ долготерпения и милосердия господа бога, пощадившего меня, дабы я мог сегодня свидетельствовать во славу его. А теперь, друзья мои, подумаем, какие уроки должно вынести из этого повествования. Урок первый: воздержитесь от самоубийства. Лишь последнему глупцу, друзья мои, лишь тому, кто не в своем рассудке, друзья мои, придет фантазия, друзья мои дорогие, добровольно покинуть этот мир. Жизнь дарит

нам наслаждения столь неисчислимы, столь разнообразны, что нам нелегко их постичь. Хорошая одежда, друзья мои, мягкая постель, вкусная пища — не прекрасно ли все это?! Не для того ли и дана нам плоть, чтобы мы лелеяли и берегли ее? Так не станем же держать плоть в небрежении, но ублажим ее и позаботимся о ней, друзья мои!

Все были глубоко взволнованы, а Бонапарт Бленкинс продолжал:

— Урок второй: воздержитесь от безрассудно-пылкой страсти. Не любите этот молодой человек так страстно, он бы не спрыгнул в провал. В доброе старое время праведные мужи так не поступали. Был ли одержим страстию Иеремия, или Эзекииль, или Осия, или хотя бы кто-нибудь из младших пророков? Нет. Так и нам это не пристало. Тысячи людей кипят сейчас в огненном озере. И ввергла их туда греховная страсть. Так будем же всегда помнить о спасении наших собственных душ!

Тебе хвалы пою, Господы!
Внемли же, Вседержитель,—
И мой бессмертный чистый дух
Прими в свою обитель.

О, возлюбленные друзья, помните же маленького мальчика и историю с персиками. Помните молодую девушку и юношу, помните также озеро, горящее пламенем и серой, и скелет самоубийцы на черных, как смоль, волнах Этны; помните глас, предостерегающий вас ныне; повторяю еще раз: берегитесь, и да ниспошлет нам господь свое благословение!

Тут он с оглушительным треском захлопнул Библию. Тетушка Санни сняла с шеи белый платок и вытерла слезы. Зашмыгала носом и ее служанка. Они ни слова не поняли из проповеди, но это лишь сильнее растрогало их. Так уж устроена душа человеческая: все непостижимое и таинственное извечно полно для нее очарования. Когда пропели последний псалом, немец подвел новоявленного проповедника к тетушке Санни, и та любезным жестом предложила ему кофе и пригласила сесть на кушетке. Тем временем немец поспешил к себе в пристройку посмотреть, не готов ли плумпудинг. Тетушка Санни заметила, что день жаркий. И так как при этом она принялась обмахивать себя концом фартука, Бонапарт Бленкинс без труда уловил ее мысль. Вежливым наклоном головы

он выразил свое согласие. Последовало продолжительное молчание. Тетушка Санни заговорила снова. Но Бонапарт не слушал, его взгляд был прикован к небольшому портрету, висевшему на стене. На портрете изображена была тетушка Санни в зеленом муслиновом платье, сшитом накануне конфирмации, пятнадцать лет назад. Бонапарт порывисто поднялся, подошел к портрету и замер. Будто стараясь что-то припомнить, он долго всматривался в портрет, и все легко могли заметить, как глубоко он взволнован. И вот, как бы не в силах больше сдерживать наплыв чувств, он схватил портрет, снял его с гвоздя и поднес ближе к глазам. Рассмотрев его получше, он с волнением повернулся к тетушке Санни и растроганным голосом сказал:

— Надеюсь, вы извините меня, мадам, за этот невольный порыв, но этот... этот портрет так живо напомнил мне мою первую и единственную любовь, мою дорогую покойную супругу, которая теперь, без сомнения, умножила собой сонм святых!

Тетушка Санни не поняла. Но служанка, сидевшая на полу у ее ног, старательно, как сумела, перевела английскую речь на капское наречие.

— Ах, моя первая любовь, возлюбленная моя, — чувствительно продолжал Бонапарт Бленкинс, не отрывая глаз от портрета. — О дорогие, прелестные черты! Ангельская моя супруга!.. Это, несомненно, ваша сестра, мадам? — прибавил он, переводя взгляд на тетушку Санни.

Та покраснела, отрицательно покачала головой и показала на себя.

Бонапарт переводил пристальный, сосредоточенный взгляд с портрета на тетушку Санни и обратно, как бы сравнивая черты, и лицо его постепенно светлело. Он в последний раз почтительно посмотрел на тетушку Санни, потом на портрет и расплылся в лучезарной улыбке.

— О да, ну как же я сразу не сообразил! — вскричал он, одаряя голландку восхищенным взглядом. — Глаза, губы, нос, подбородок, само выражение лица! Как я не заметил этого прежде!

— Еще чашечку кофе, — предложила тетушка Санни. — Вот вам сахар.

Бонапарт с величайшей тщательностью повесил портрет на место и хотел уже было взять чашку, когда вошел немец и сказал, что пудинг готов и жаркое уже на столе.

— Он человек богобоязненный и хорошо воспитанный, — изложила свое мнение тетушка Сании, когда Бонапарт вышел. — А что, он некрасив, так ведь на все воля божья. Можем ли мы насмехаться над творением рук господних? Пусть лучше урод, да праведник, чем писанный красавец, да грешник!.. Хотя, что и говорить, приятно, коли человек и душой и лицом хорош, — договорила она, любясь своим портретом.

После обеда немец и Бонапарт Бленкинс молча курили возле двери в пристройку. В руках у Бонапарта была книга, но он только делал вид, что читает, глаза у него слипались. Немец энергично попыхивал трубкой и, то и дело отрываясь от своей книги, поглядывал на безоблачное небо.

— Вы, кажется, говорили, — внезапно выпалил немец, — будто ищете место?

Бонапарт широко раскрыл рот и выпустил целое облако дыма.

— Допустим, — сказал немец, — я говорю, конечно, только предположительно, — что кто-нибудь, не будем называть имен, сделал бы вам предложение поступить учителем к двум детям? К двум прелестным девочкам — за вознаграждение в сорок фунтов в год? Приняли бы вы такое предложение? Я говорю, конечно, только для примера.

— Видите ли, милейший, — ответил Бонапарт Бленкинс, — все зависит от обстоятельств. Деньги для меня не самое важное. Жену я обеспечил на год вперед. Но здоровье у меня подорвано. И если б я нашел место, где джентльмен мог бы рассчитывать на соответствующее обращение, то меня не остановила бы ничтожность вознаграждения. Потому что, — повторил Бонапарт, — деньги для меня не главное.

— Так вот, — проговорил немец, сделав несколько глубоких затяжек. — Пойду-ка я повидать тетушку Санию. По воскресеньям я всегда посещаю ее. Мы с ней болтаем. Обо всем и ни о чем. Такая уж у нас привычка.

Старик сунул книгу в карман и направился к хозяйскому дому с хитрым и довольным выражением лица.

— Наивный человек, он и не подозревает, что я надумал, — бормотал немец. — Не имеет ни малейшего понятия. Вот будет приятный сюрприз для него!

Человек, которого он оставил у порога, посмотрел ему след и подмигнул, состроив неопишемую гримасу.

БОНАПАРТ БЛЕНКИНС ВЪЕТ ГНЕЗДО

С грудой овчин на плече Вальдо остановился у лестницы, ведущей на чердак хозяйского дома, и через отворенную дверь бывшей кладовой увидел Эмм. Она сидела там одна на скамье, настолько высокой, что ноги у нее не доставали до пола. Пристройка, прежде использовавшаяся под кладовую для зерна, была разделена теперь штабелем мешков с маисом на две половины — заднюю отдали Бонапарту Бленкинсу под спальню, а переднюю превратили в классную комнату.

— Что случилось? — участливо спросил Вальдо, видя заплаканное лицо девочки.

— Его рассердила Линдал, — ответила девочка, — а он в отместку задал мне четырнадцатую главу от Иоанна! Сказал, что научит меня вести себя, пусть Линдал лучше ему не досаждают.

— Что она натворила? — полюбопытствовал Вальдо.

— Когда он что-нибудь рассказывает, она смотрит на дверь, как будто и не слушает, — ответила девочка, удрученно листая страницы книги. — А сегодня она спросила про знаки зодиака. Он сказал, что удивлен ее вопросом, девочкам не пристало об этом знать. Тогда она спросила, кто такой Коперник, а он сказал, что это римский император; он жег христиан и за это его черви заживо съели. Не знаю почему, — плаксиво прибавила Эмм, — но Линдал взяла вдруг свои книги под мышку и сказала, что не будет ходить на его уроки, а ведь все знают: как Линдал решила, так она и сделает. Теперь мне придется каждый день сидеть здесь одной. — Из глаз Эмм покатались крупные слезы.

— Может, тетя Санни еще вытурит его, — пробормотал мальчик, стараясь ее утешить.

Эмм посмотрела на него и покачала головой.

— Нет. Вчера вечером служанка мыла ей ноги, а он и говорит: «Какие у вас красивые ноги, посмотреть приятно. Мне всегда нравились полные женщины». А она велела подавать ему к кофе свежие сливки... Нет, теперь он у нас навсегда останется, — грустно заключила Эмм.

Мальчик свалил овчины на землю, порылся у себя в карманах, извлек оттуда маленький сверточек и протянул ей.

— На, это тебе. Бери, бери.

Эмм развернула бумажку. Но даже при виде кусочка застывшей камеди, а ведь дети так любили ее жевать, — она не утешилась, и несколько крупных слезинок упали на подарок Вальдо.

Вальдо окончательно расстроился. Сам он столько плакал за свою недолгую жизнь, что чужие слезы надрывали ему сердце. Он неловко перешагнул через порог, подошел к столу и сказал:

— Если ты перестанешь плакать, я тебе расскажу тайну.

— Какую? — подхватила Эмм, чувствуя мгновенное облегчение.

— А ты не скажешь ни одной живой душе?

— Ни одной.

Он наклонился к ней и торжественно произнес:

— Я изобрел машинку!

Эмм смотрела широко раскрытыми глазами.

— Да, машинку для стрижки овец. Она почти готова, — сказал мальчик, — только одна вещь не ладится, но я скоро сделаю. Знаешь, — с таинственным видом прибавил он, — если все время думать, думать, дни и ночи только и думать о чем-нибудь, то тебя непременно осенит...

— А где она, эта машинка?

— Здесь! Я ее всегда вот здесь ношу. — Вальдо показывал себе на грудь, где у него было что-то спрятано под одеждой. — Это модель. Когда она будет готова, ее сделают в полную величину.

— Покажи!

Мальчик покачал головой.

— Только когда будет готова. А до тех пор не могу.

— Какая чудесная тайна, — сказала Эмм, и Вальдо стал собирать брошенные овчины.

Вечером отец и сын ужинали в своей каморке. Старик сокрушенно вздыхал. Наверное, думал о том, что Бонарт Бленкинс совсем забыл к нему дорогу. Сын ничего этого не замечал, он перенесся душой в мир, где нет места воздыханиям. Трудно сказать, что лучше; быть ничтожнейшим глупцом, но уметь взбираться по лестнице воображения в мир мечты, или же мудрейшим из людей, но видеть лишь то, что открыто глазам и ощущать только оступное прикосновению. Мальчик ел хлеб из непросеянной муки, запивал его кофе. Мысли его всецело были заняты машинкой; вот сейчас он придумает, как довершить

свое изобретение. В мечтах он уже видел, как ее пускают в ход; она стрижет на удивление ровно и гладко... Все время, пока он жевал хлеб и пил кофе, его не покидало блаженное ощущение. И ему было так хорошо, что он не променял бы этой тесной комнаты на заоблачные чертоги царя небесного, где стены сплошь усыпаны аметистами и выложены молочно-белыми жемчугами.

Безмолвие нарушил стук в дверь. В комнату вошла курчавая темнокожая девочка и сказала, что тетушка Санни срочно зовет к себе управляющего. Немец надел шляпу и побежал.

В кухне хозяйского дома было темно, и он прошел в кладовую, где и находилась тетушка Санни в компании двух служанок.

Девушка-банту, опустясь на колени, растирала между двух камней перец, другая девушка-готтентотка держала в руке горящую свечу в медном подсвечнике, сама же тетушка Санни стояла у полки, уперши руки в бедра. Все внимательно к чему-то прислушивались. Тетушка Санни и ему сделала знак головой прислушаться.

— Что это такое? — воскликнул старик в изумлении.

За стеной была кладовая. Сквозь тонкую дощатую перегородку доносились протяжные и мучительные стоны и глухие удары о стену.

Немец схватил тяжелую мутовку и готов уже был бежать туда, но тетушка Санни удержала его, властным движением положив руку на плечо.

— Это он... — сказала она. — Бьется головой...

— Но почему? — недоуменно спросил немец, переводя взгляд с тетушки Санни на служанок.

Ответом ему был громкий стон. Затем раздался знакомый голос — голос Бонапарта Бленкинса:

— Мэри Энн! Ангел мой! Жена моя!

— Ужасно, не правда ли? — вскричала тетушка Санни, прислушиваясь к учатившимся яростным ударам. — Он получил письмо: у него жена померла. Пойдите, утешьте его... Да и я с вами. Одной-то мне неловко, мне ведь всего тридцать три года, а он теперь человек холостой, — сказала она, краснея и поправляя на себе передник.

Все вчетвером они отправились утешать Бонапарта. Служанка-готтентотка несла свечу, за ней шли тетушка Санни и немец, а замыкала шествие девушка-банту.

— Ох, — произнесла тетушка Санни, — теперь-то я вижу, что он расстался с женой не по своей вине, так, видно, ему судьба судила.

У дверей она пропустила немца вперед, а сама вошла вслед за ним. Бонапарт Бленкинс лежал на раскладной кровати, уткнувшись лицом в подушку и подергивая ногами. Тетушка Санни села на ящик в ногах постели. Немец остался стоять. Скрестив на груди руки, он молча смотрел на Бонапарта.

— Все там будем, — выговорила наконец тетушка Санни, — на все воля божья.

Заслышав ее голос, Бонапарт Бленкинс перевернулся на спину.

— Конечно, тяжело, — продолжала она. — Мне ли не знать? Сама двоих мужей схоронила.

Бонапарт Бленкинс поднял глаза на немца.

— Что она говорит? Утешьте мое сердце.

Немец перевел ему слова тетушки Санни.

— Ах, я — я тоже! Схоронить двух дорогих, милых сердцу жен! — вскричал Бонапарт, в изнеможении откидываясь на подушку.

Он вопил до тех пор, пока потревоженные тарантулы, гнездившиеся в щелях между стропилами и кровлей из оцинкованной жести, не стали оттуда выглядывать, сверкая бусинками злых глаз.

Тетушка Санни вздохнула, вздохнула и служанка-готтентотка, а девушка-банту, которая оставалась у дверей, прикрыла рот рукой и произнесла: «моу-ва!»

— Уповайте на бога, — сказала тетушка Санни. — Он вознаградит вас за все потери.

— Да, да! — простонал Бонапарт. — Но я потерял жену! Потерял жену!

Растроганная тетушка Санни подошла поближе к постели.

— Спросите его, не откушает ли он кашки. Каша очень вкусная. Варится на кухне.

Немец перевел это предложение хозяйки, но безутешный вдовец только рукой махнул.

— До еды ли мне! В рот ничего не лезет. Нет и нет! Не говорите мне о еде!

— Кашки и немножко бренди, — уговаривала тетушка Санни.

Последнее слово Бонапарт Бленкинс понял без перевода.

— Ну что ж, пожалуй... несколько капель... попытаюсь... чтобы... выполнить свой долг... — заговорил он, глядя немцу в глаза. Губы его дрожали. — Ведь я должен выполнить свой долг, не так ли?

Тетушка Санни тотчас распорядилась, и одна из служанок побежала за кашей.

— Я знаю, каково это, сама пережила. Когда умер мой первый муж, меня никак не могли успокоить, — сказала тетушка Санни, — пока не заставили поест баранины да лепешек с медом. Я-то понимаю.

Бонапарт Бленкинс сел на постели, вытянул перед собой ноги и уперся руками в колени.

— О, что это была за женщина! Вы очень добры, что стараетесь утешить меня, — говорил он, всхлипывая. — Но ведь она была мне женой. Ради нее я и жил... Такой у меня характер; ради своей жены я и жизнь готов положить! Ради своей жены! Какое же это прекрасное слово — жена! Когда-то еще слетит оно с моих уст...

Немного успокоясь, он спросил немца, все еще не в силах унять дрожь своих отвислых губ:

— Как вы считаете, она все поняла? Переведите ей слово в слово, пусть знает, как я ей благодарен!

В этот момент возвратилась служанка с миской дымящейся каши и бутылкой из темного стекла.

Тетушка Санни подлила немного бренди в миску с кашей, хорошенько все размешала и подошла к постели.

— Ох, нет, нет, не могу! Поперек горла станет! — воскликнул Бонапарт, хватаясь за живот.

— Ну, хоть немножко, — уговаривала его тетушка Санни. — Хоть глоточек!

— Слишком густая! Слишком густая! Я не смогу ее проглотить.

Тетушка Санни добавила еще бренди и зачерпнула кашу ложкой. Бонапарт Бленкинс раскрыл рот, словно птенец, ожидающий, пока мать его накормит, — и тетушка Санни стала вливать ложку за ложкой в его скорбно поджатый рот.

— Ах, вот вам и будет полегче, — говорила тетушка Санни, которая едва ли могла провести четкую границу между функциями сердца и желудка. И в самом деле, по мере того, как убавлялась каша, убавлялась и печаль Бонапарта Бленкинса; он глядел на тетушку Санни кроткими заплаканными глазами.

— Скажите ему, — велела она, — что я желаю ему покойной ночи, и да пошлет ему бог утешение.

— Благослови вас, дорогой друг, господь вас благослови! — сказал Бонапарт в ответ.

Когда все ушли, он поднялся с постели и смыл водой мыло, которым были намазаны глаза.

— Бон, — сказал он, хлопая себя по ляжке, — ну и хват же ты, парень, свет таких не видал! Но только не зватьсь тебе Бонапартом, если не вытуришь ты отсюда старого святошу вместе с маленьким оборванцем, его сыночком. И ты должен прибрать к рукам эту полненькую особу, надеть ей колечко на палец. Ты же Бонапарт! Бон, ты парень что надо!

С этими приятными мыслями на душе он снял штаны и в отличном расположении духа завалился спать.

Глава VII

...РАССТАВЛЯЕТ СИЛКИ

— Можно мне войти? Надеюсь, я не помешал вам, мой дорогой друг? — говорил Бонапарт однажды поздним вечером, приоткрыв дверь в каморку немца-управляющего.

Прошло два месяца, как Бонапарт Бленкинс обосновался на ферме тетушки Санни в качестве домашнего учителя. Его влияние здесь росло день ото дня. Теперь он уже не заходил к старому Отто, проводил вечера с тетушкой Санни за чашкой кофе либо величественно прогуливался, заложив руки в карманы. Туземцев, почтительно желавших ему доброго здоровья, он даже не удостоивал взгляда. Вот почему старик немец был безмерно удивлен, заметив в дверях красный нос Бонапарта.

— Входите, входите, — радостно приветствовал он его. — Вальдо, сынок, посмотри, не осталось ли там чашечки кофе. Нет? Разведи огонь. Мы уже отужинали, но...

— Любезнейший, — сказал Бонапарт, снимая шляпу, — я пришел не ужинать, не земных благ вкушать. Я хочу усладить себя общением с родственной душой. Уверяю вас: только груз обязанностей и бремя забот мешали мне изливать сердце столь глубоко симпатичному мне человеку. Может быть, вы интересуетесь, когда я верну вам те два фунта?..

— О нет! Разведи огонь, Вальдо, разведи же огонь. Сейчас приготовлю по чашечке горячего кофе,—прервал его немец, потирая руки и оглядываясь. Он явно не знал, как выразить свое удовольствие по поводу такой приятной неожиданности.

Вот уже три недели, как ответом на робкие приветствия немца были надменные поклоны. С каждым днем Бонапарт задира л нос все выше, и в последний раз немец видел его у себя дома, когда тот приходил занять два фунта.

Немец подошел к изголовью кровати и снял с гвоздя синий холщовый мешочек. Этих синих холщовых мешочков у него было десятков пять. В них лежали разного рода камешки, семена, ржавые гвозди и части конской сбруи — и всем этим он очень дорожил.

— Что у нас здесь? А, кое-что вкусное! — сказал немец с интригующей улыбкой. Сунув руку в мешочек, он вытащил горсть миндальных орешков и изюма. — Я берегу это угощение для моих цыпляток, для моих девочек. Они уже подросли, но все равно знают, что у старика всегда пайдется для них что-нибудь сладкое. Да и старикам — все мы большие дети, — почему бы и старикам иногда не полакомиться, можем мы себе это позволить? Хе-хе!.. — И, смеясь собственной шутке, он насыпал миндаль на тарелку. — А вот и камушек, — два камушка, чтобы колоть орехи, — не последнее слово техники, а только ведь и Адам, поди, так же орехи щелкал! Ну и нам сгодится, обойдемся без щипцов!

С этими словами управляющий сел за стол, а Бонапарт Бленкинс устроился напротив него; тарелку с орехами немец поставил посредине, а перед гостем и перед собой положил по два плоских камешка.

— Не беспокойтесь, — сказал немец, — не беспокойтесь, я не забыл о сыне; наколю ему орешков, их у меня полный мешок. Ах, вот чудо! — воскликнул он, расколов крупный орех. — Три ядрышка в одной скорлупе! Сроду такого не видывал! Надо сохранить — это редкость! — С самым серьезным видом он завернул орешек в бумажку и заботливо спрятал в кармашек жилета. — Вот чудо! — говорил он, покачивая головой.

— Ах, друг мой, — заметил Бонапарт Бленкинс, — какая радость снова быть в вашем обществе!

У немца посветлели глаза, а гость схватил его руку и горячо пожал ее. Затем они снова принялись за орехи.

Некоторое время спустя Бонапарт Бленкинс⁷ прощедил, отправляя себе в рот горсть изюма:

— Сегодня вы поссорились с тетушкой Санни. Я очень огорчен, мой дорогой друг.

— О, право, не стоит огорчаться, — сказал немец. — Пропало два десятка овец. Я покрою убытки. Отдам дюжину своих, а за восемь остальных отработаю.

— Какая жалость, что вам приходится покрывать убытки, хотя вы ничуть не виноваты! — проговорил Бонапарт.

— О, — вздохнул немец, — видите ли, какое дело, вчера вечером я сам пересчитал овец в краале — не хватает двадцати. Спрашиваю пастуха, говорит — они в другом стаде. Так уверенно сказал. Кто мог подумать, что он лжет? Сегодня к вечеру отправляюсь считать другое стадо, и что вы думаете? Их там нет. Возвращаюсь, нет ни пастуха, ни овец. Но я не могу, не хочу поверить, что он украл их! — вспыхнул немец. — Кто угодно, только не он! Я знаю этого паренька три года. Он добрый малый. Ах, как он заботился о спасении своей души. А хозяйка хотела послать за полицией! Нет уж, пусть лучше спит за мой счет все убытки, я этого не допущу. Полиция! Он и бежал со страху. Я знаю, душа у него добрая. Ведь я сам... — Здесь он замялся. — Я сам внушал ему любовь к Господу.

Бонапарт Бленкинс, продолжая щелкать орехи, зевнул и с подчеркнутым равнодушием спросил:

— Ну, а жена его куда подевалась?

Тут немец снова вспыхнул.

— Жена! У нее на руках младенец шести дней от роду, а хозяйка собиралась прогнать ее. Это... — Старик даже поднялся, задыхаясь от негодования. — Это жестоко... так я скажу... дьявольски жестоко! Этого я не могу стерпеть. Я готов пронзить ножом человека, способного на такое! — Серые глаза его засверкали гневом, черная с проседью косматая борода затряслась. В это мгновение у него и впрямь был свирепый вид. Но тут же успокоясь, он сказал: — Все уладилось. Тетушка Санни разрешила ей пока остаться. А я завтра наведуясь к дядюшке Миллеру, не у него ли наши овцы? Нет так нет, отдам своих.

— Тетушка Санни — женщина необычная, — сказал Бонапарт Бленкинс, принимая от немца кисет с табаком.

— Что верно, то верно, сердце у нее доброе, — согласился немец. — Я живу здесь не первый год и питаю к

ней, надеюсь, как и она ко мне, искреннее чувство привязанности. Могу сказать, — добавил он потеплевшим голосом, — могу сказать, что нет здесь на ферме ни одной живой души, к которой я испытывал бы недоброе чувство.

— Ах, милейший, — молвил Бонапарт, — бог ниспосылает свою благодать всем без изъятия. Разве не любим мы червя последнего у нас под ногами? Разве делаем мы различие между людьми разного племени, пола или, может быть, цвета кожи? Нет!

В моей душе, в моей крови
Огонь божественной любви.

Помолчав, он продолжал уже не таким пылким тоном:

— Не представляется ли вам, что цветная служанка тетушки Санни — особа вполне добропорядочная, вполне?..

— О да, — перебил его немец. — Я имею к ней полное доверие. Душа у нее чистая, можно даже сказать, благородная. Некоторым богатым и знатым господам, которые смотрят на всех свысока, не мешало бы заимствовать у нее этих качеств.

Немец подал Бонапарту Бленкинсу уголек из очага, тот раскурил трубку, и они еще долго беседовали. Наконец Бонапарт Бленкинс выбил трубку и сказал:

— Пора мне и честь знать, мой любезный друг. Не закончить ли нам этот милый приятный вечер, проведенный в братском общении, молитвой? О, сколь целительно и сколь сладостно единение для братьев по духу, оно подобно росе на горах Гермонских, там господь ниспослал свою благодать.

— Еще чашечку кофе, — предложил немец. — Посидите.

— Благодарствую, мой друг, — отказался Бонапарт. — У меня еще кое-какие дела. И ваш славный сынок уже спит. Завтра ему на мельницу. Молодец он у вас, маленький мужчина.

Вальдо и вправду клевал носом у очага, но он еще не спал и присоединился к общей молитве.

Когда все поднялись с колен, Бонапарт Бленкинс потрепал его по щеке.

— Покойной ночи, малыш, — сказал он. — Тебе ведь завтра на мельницу, так что мы несколько дней не увидимся. Покойной ночи — и до свиданья. Да благословит тебя господь и да наставит он тебя на путь истинный! На-

деюсь, за время твоего отсутствия ничто не изменится. — На этих последних словах он сделал ударение. — Ах, мой дорогой друг, — прибавил он с удвоенной любезностью, — долго-долго буду я возвращаться воспоминаниями к этому вечеру, вечеру освежения душ наших пред лицом господ, блаженного общения с братом во Христе. Благослови вас господь, — прибавил он с еще большим пылом, — и да почиет на вас его благодать.

Он отворил дверь и исчез в ночи.

«Хи-хи-хи, — потешался Бонапарт Бленкинс, спотыкаясь во тьме о камни. — Будь я неладен, если эта ферма — не самое редкостное сборище дураков, каких еще свет не видывал. Хи-хи-хи! Вот уж поистине, на ловца и зверь бежит». Бонапарт расправил плечи, приосанился. Даже наедине с собой он обожал держаться величественно.

Он заглянул на кухню. Готтентотка, служившая ему переводчицей в беседах с хозяйкой фермы, ушла, и сама тетушка Санни уже отправилась спать.

«Ну ничего, Бон, мой мальчик, — сказал он, огибая угол дома и направляясь к себе. — Завтра так завтра. Ха-ха-ха!»

Глава VIII

...И ПРОВОДИТ НА МЯКИНЕ СТАРОГО ВОРОБЬЯ

На другой день, часа в четыре, немец-управляющий ехал верхом по вельду, возвращаясь после безуспешных поисков пропавших овец. С самого рассвета он был в седле и порядочно устал. Послеполуденный зной сморил лошадь, и она лениво ступала по песчаной дороге. Ничто, кроме больших красных пауков, то и дело перебежавших через дорогу, чтобы тут же исчезнуть в кустах, не нарушало унылого однообразия пути. Неожиданно за высоким кустом молочая немец заметил чернокожую женщину: она, видимо, пряталась от палящего солнца в его скудной тени. Немец повернул к ней. Не в его натуре было проехать мимо живого существа, не сказав доброго слова. Подъехав ближе, он узнал жену бежавшего с фермы пастуха. За спиной у нее, с помощью куска красного грязного одеяла, был подвязан ребенок. Другой кусок, примерно такой же величины, служил ей набедренной повязкой. Это была угрюмая, мрачного вида женщина.

Немец полюбобпытствовал, как она туда попала. Та пробормотала на местном наречии, что ее прогнали с фермы.

— Чем-нибудь провинилась? — спросил он. Она отрицательно замотала головой. — Хлеба хоть дали на дорогу? — Она проворчала, что нет, и отогнала мух от ребенка. Велев ей непременно дожидаться его, он усккал бешеным галопом.

«У нее нет сердца! — возмущался он жестокостью те-тушки Санни. — Нет сердца, так ли поступают люди милосердные?»

«О-о-о!» — восклицал он, пока лошадь мчала его по дороге. Но постепенно гнев его остыл, лошадь перешла на шаг, и к тому времени, когда она остановилась у его двери, он уже мирно кивал, как бы в ответ своим мыслям, и улыбался.

Соскочив с лошади, немец прошел в свою каморку и открыл ларь, где хранилась провизия. Он расстелил синий носовой платок, насыпал туда немного муки и завязал платок узелком; затем приготовил еще два таких узелка — один с маисом, другой с лепешками. Все это он сложил в парусиновый мешок, перекинул его за спину и выглянул за дверь. При одной мысли, что его могут заметить, — а доброе дело, по его понятиям, следовало совершать тайком от всех, — он покраснел до самых корней волос. Но вокруг не было ни души, он вскочил на коня и поехал обратно. Чернокожая женщина сидела под тем же кустом молочая. «Истинная Агарь, — подумалось ему, — изгнанная своей госпожой». Он велел ей снять платок с головы и свалил на него все, что привез. Женщина все также угрюмо и молча связала все это в узел.

— Постарайся добраться до соседней фермы, — посоветовал немец.

Женщина покачала головой: нет, она переночует здесь.

Немец раздумывал. Туземным женщинам привычно ночевать под открытым небом. Но у нее на руках новорожденный, а после жаркого дня ночь часто бывает холодная. Ему так и не пришла в голову простая мысль, что под покровом темноты она намерена вернуться в хижину, откуда ее изгнали. Он снял с себя старую коричневую куртку и протянул ее женщине.

Женщина молча приняла куртку и положила ее себе на колени. «Ну вот, теперь им будет тепло спать, неплохо

придуманно, а?» — сказал себе старик и повернул лошадь домой. Покачиваясь в седле, он кивал и кивал, да так исто-во, что у любого другого на его месте давно бы закружи-лась голова.

— Только бы он сегодня не попался им на глаза, — говорила Эмм, заливаясь слезами.

— Завтра будет то же самое, — сказал Линдал.

Девочки сидели на пороге каморки управляющего, ожидая его возвращения.

Прикрыв ладонью глаза от слепящих лучей вечернего солнца, Линдал смотрела по сторонам.

— Едет, — крикнула она. — Вот он едет и насвисты-вает. Слышишь? «О, Иерусалим прекрасный».

— Может быть, он нашел овец.

— Найдешь их! — сказала Линдал. — Просто такой уж он человек, в свой смертный час будет вот так же на-свистывать.

— Любуетесь, как солнышко заходит, а, цыплятки? — вскричал немец, осаживая лошадь. — Ах, и правда, какая красота! — Спешившись, он замер, продолжая держать руку на луке седла и глядя на широкий веер багряно пла-менеющих лучей и легкие золотистые облачка. — Эй, да вы плачете? — воскликнул немец, когда девочки подбе-жали к нему.

Но они не успели еще ничего ответить, как раздался голос тетюшки Санни:

— Ах ты, сукин сын, ах ты, сукин сын, пожалуй-ка сюда!

Немец оглянулся. Он подумал, что хозяйка вышла подышать вечерней прохладой и кричит на кого-нибудь из провинившихся слуг. Но, кроме тетюшки Санни на крыльце кухни, худощавой служанки и Бонапарта Блен-кинса, возвышающегося в дверях, — руки у него были вложены за фалды сюртука, взгляд устремлен на захо-дящее солнце, — он никого не увидел.

— Ты что, старый проходимец, оглох?

Старик уронил седло на землю.

— Что за ерунда! Ничего не понимаю, — пробормотал он, направляясь к дому.

Девочки последовали за ним. Эмм заливалась слезами, Линдал была бледная, с широко раскрытыми глазами.

— Ты говорил, что у меня сердце дьяволицы! Гово-рил, что готов меня убить! — кричала голландка. — Не-

ужели ты в самом деле вообразил, что я не выгоню служанку, потому что боюсь тебя? Ах ты, старый оборванец! Неужели ты в самом деле думаешь, будто я в тебя влюблена, мечтаю выйти за тебя замуж?! Паршивый кот, шелудивый пес! Если я увижу тебя завтра утром возле моего дома, я прикажу своим слугам выпороть тебя. И уж можешь быть покоен, защищать они тебя не станут, хоть ты и молился вместе с ними!

— Я удивлен, я удивлен, — сказал немец, приближаясь к ней и приложив руку ко лбу. — Я н-не понимаю...

— Спроси его! Спроси его! — вопила тетушка Санни, показывая на Бонапарта. — Он все знает. Ты думал, что он не сумеет мне открыть глаза на тебя. Но ты просчитался, старый болван. Я немножечко знаю английский язык... Если завтра утром я увижу тебя здесь, то велю своим слугам переломать тебе все кости, старый попрошайка. И хотя все твоё тряпье не стоит и медяка, я заберу все в уплату за овец. Я не разрешу тебе взять даже подкову. Да и лошадь моя. Ты растерял всех моих овец, негодяй!

Она вытерла рот ладонью.

Немец перевел взгляд на Бонапарта Бленкинса, который любовался с крыльца закатом солнца.

— Не обращайтесь ко мне, не приближайтесь ко мне, заблудший человек, — произнес Бонапарт, не удостаивая его взглядом и еще выше задирая подбородок. — Есть преступления, от которых содрогается природа; есть преступления, само упоминание о которых отвратительно уху человеческому; имя вашему преступлению — неблагодарность. Эта женщина — ваша благодетельница. На её ферме вы жили, за её овцами вы смотрели, в её доме вам разрешали служить богу, — честь, коей вы никогда не были достойны, — и чем же, чем вы отплатили ей? Подлостью!

— Но все это ложь, обман, наговор. Я должен, я хочу объяснить, — растерянно оглядываясь, начал старик. — Не сон ли это? Вы в своем уме? Что все это значит?

— Прочь, собака! — вскричала голландка. — Я была бы теперь богатой дамой, если б не твоя лень да не вечные твои моления с черномазыми слугами! Прочь!

— В чем дело? Что случилось? — воззвал немец к служанке, сидевшей у ног своей хозяйки.

Уж *она-то* ему друг верный, скажет всю правду. Но ответом ему был звонкий смех.

— Так его, миссис, так его!

До чего приятно смотреть, как повергают ниц человека, еще вчера распорядившегося их судьбами! Служанка отправила в рот дюжину кукурузных зерен и захохотала.

Лицо старика внезапно изменилось. Оно уже не выражало ни гнева, ни волнения. Он повернулся и медленно пошел по тропинке к своей пристройке. Он шел сгорбясь, ничего перед собой не видя и чуть не упал, споткнувшись о порог собственной двери.

Эмм разрыдалась и хотела было идти за ним, но голландка остановила ее такими отборными выражениями, что служанка скорчилась от хохота.

— Пошли отсюда, Эмм, — сказала Линдал, гордо отворачиваясь. — Нам не пристало слушать такую брань.

И она посмотрела тетушке Санни прямо в глаза. Та поняла смысл если не слов Линдал, то ее взгляда. Толстуха, переваливаясь, подошла к ним и схватила Эмм за руку. Однажды, — это было давно, — голландка ударила Линдал, но больше на это не решалась. Однако Эмм она не щадила.

— И ты туда же, уродина! — закричала она и, с силой притянув голову девочки к своему колену, вlepила ей две затрешины. Но тут Линдал перехватила ее руку. Тонкие пальцы девочки оказались так сильны, что уже перед сном тетушка Санни обнаружила их отпечатки на своем жирном запястье. У тетушки Санни хватило бы сил одним движением отшвырнуть девочку прочь. Но ее остановил взгляд ясных глаз и трепет побелевших губ.

Линдал взяла Эмм за руку и повела прочь.

— Пропустите! — бросила она Бленкинсу, стоявшему в дверях. И сам непобедимый Бонапарт, в час своего триумфа, посторонился, давая ей дорогу.

Служанка оборвала смех. Последовало сконфуженное молчание.

Едва войдя в детскую, Эмм опустилась на пол и залилась горькими слезами. Бледная как мел Линдал прилегла на кровать. Она лежала без движения, закрыв глаза ладонью.

Эмм рыдала.

— О-о-о! Они не позволяют ему взять лошадь... Вальдо уехал на мельницу... О-о-о! И они не разрешат нам попрощаться. О-о-о!

— Сделай одолжение, перестань! — накинулась на нее Линдал. — Не доставляй этому Бонапарту удовольствие слышать твой рев! Мы и спрашивать ни у кого не

станем. Сейчас они сядут ужинать. Как только услышишь, что накрывают на стол,— бежим прощаться.

Эмм подавила рыдания и прислушалась, сидя у двери. Внезапно раздались шаги и кто-то закрыл ставни.

— Кто это? — вздрогнув, спросила Линдал.

— Наверно, служанка,— отозвалась Эмм.— Почему она закрыла ставни раньше обычного?

Линдал вскочила с кровати, бросилась к двери и, ухватясь за ручку, дернула изо всех сил. Дверь не поддавалась. Линдал прикусила губу.

— В чем дело? — сказала Эмм, ничего не видя в темноте.

— Нас заперли,— тихо ответила Линдал.

Она повернулась и пошла к своей кровати. Немного погодя она опять поднялась, влезла на подоконник и долго ощупывала оконную раму. Потом скользнула вниз, пошла к кровати и отвинтила металлический шар с одной из ножек. Еще раз забралась на подоконник и выставила, с силой нажимая на шар, все до одного стекла в раме, начав с самого верхнего.

— Что ты делаешь?! — удивилась Эмм.

Ее подруга не отвечала. Покончив со стеклами, она расшатала и выломала поперечины оконного переплета. И нажала плечом на ставень. Ставень подался бы, если б, как она предполагала, он был закрыт только на деревянную щеколду. Но по звуку Линдал поняла, что снаружи его закрыли еще и на железный засов. Поразмыслив, она слезла и, отыскав на столе перочинный ножичек, вернулась к окну и стала проделывать дыру в твердом дереве.

— А сейчас что ты делаешь? — спросила Эмм. Она заинтересовалась так сильно, что перестала плакать.

— Пробую сделать отверстие,— коротко объяснила Линдал.

— Ты думаешь, это тебе удастся?

— Попытка не пытка.

Эмм, сгорая от любопытства, ждала, что будет. Линдал удалось пробуровать небольшую лунку, но тут стальное лезвие разлетелось на кусочки.

— Что случилось? — спросила Эмм и всхлипнула.

— Ничего,— ответила Линдал.— Принеси ночную сорочку, бумагу и спички.

В полном недоумении Эмм принялась шарить в темноте, пока не нашла все, что нужно.

- А это тебе зачем? — прошептала она.
- Чтобы поджечь окно.
- Но ведь сгорит весь дом.
- Да.
- Это же очень скверная шалость — сжечь дом.
- Очень, но мне все равно.

Линдал тщательно скомкала в углу подоконника свою сорочку, а сверху уложила щепки от сломанной рамы. В коробке оказалась всего одна-единственная спичка. Она осторожно чиркнула спичкой о стену. Спичка вспыхнула голубым огнем, осветив ее бледное лицо и блестящие глаза. Линдал медленно поднесла спичку к бумаге, — бумага вспыхнула, но тотчас же задымила. Линдал попыталась раздуть огонь, но это ей не удалось. Тогда она бросила бумагу на пол, затоптала ее, кинулась к постели и стала раздеваться.

Эмм подбежала к двери и принялась барабанить в нее кулаками.

— Тетушка Санни! Тетя Санни! Выпустите нас! — кричала она. — Что же нам делать, Линдал?

Линдал слизнула кровь с прикушенной губы.

— Я ложусь спать, — сказала она, — а ты, если тебе так нравится, можешь реветь до утра. Правда, я не слышала, чтобы от слез была какая-нибудь польза. Но тебе лучше знать.

Эмм уже засыпала, когда Линдал встала и подошла к ней.

— Вот, возьми, — сказала она, сунув ей в руку баночку с пудрой. — Щека-то, наверно, горит от удара?

Линдал ощупью вернулась на свою кровать. Вскоре Эмм уснула, а она еще долго лежала с открытыми глазами, прижав руки к груди, и шептала: «Придет день, когда я стану сильной, тогда я буду ненавидеть всех сильных и помогать всем слабым». И она снова закусил губу.

Немец в последний раз выглянул за дверь, прошелся из угла в угол, вздохнул. Затем достал перо, лист бумаги и сел к столу. Но прежде чем начать писать, он костяшкой пальца провел по своим старым глазам.

«Птенчики мои, — вывел он.

Вы так и не пришли проститься со стариком. Не могли, верно? Ах, какая радость, что есть мир, где нет раз-

лук, где властвуют бессмертные праведники. Я сижу в одиночестве, а мысли мои с вами. Ведь вы не забудете старика? Когда вы проснетесь, он уже будет далеко. Старик, хоть и леноват, но в руках у него трость. Это его третья нога. Придет день — и он вернется с золотом и алмазами. Примете ли вы его? Поживем — увидим. Иду встречать Вальдо. Он уйдет вместе со мною. Бедный мальчик! Знает бог, есть страна, где всем воздается по справедливости, но эта страна не здесь.

Служите, дети мои, Спасителю, вручите ему сердце свое, Помните, что жизнь коротка.

Сказал бы я: Линдал, возьми мои книги, Эмм возьми мои камешки. Но в этом доме мне не принадлежит ничего. Потому я молчу. Видит бог, все это несправедливо. Но я молчу, да будет так, но только это несправедливо, несправедливо!

Не плачьте о старике. Он идет искать удачи и, может статься, воротится с полным мешком.

Я очень люблю своих малюток. Думают ли они обо мне? Ваш старый Отто идет по свету искать свое счастье.

О. Ф.»

Закончив это необычное послание, немец положил его на видное место и стал собираться в путь. Он и не думал протестовать против утраты всего, что накопил. Но на глазах у него были слезы. Ведь он прожил здесь одиннадцать лет и тяжело вот так взять и уйти. Старик расстелил на постели большой синий платок и стал выкладывать на него все самое, по его разумению, необходимое: мешочек с какими-то удивительными семенами, придет день — он их непременно посеет; старый немецкий псалтырь; три камешка-уродца, безмерно дорогих его сердцу; Библию; рубаху и пару носовых платков. Узелок он положил на стул у кровати.

— Это немного, они не посмеют сказать, что я взял слишком много, — проговорил он, глядя на узелок.

Он положил рядом свою сучковатую палку, синий холщовый кисет, трубку и задумался, что надеть из верхнего платья. Из того, что осталось, предстояло выбрать между траченным молю пальто и черным, прохудившимся на локтях, альпака¹. В конце концов он решил взять

¹ А л п а к а — одежда из персти млекопитающего альцака.

пальто; конечно, в нем жарко, но ведь можно просто перекинуть его через руку и надевать только при появлении встречных путников. Да, да, в пальто решительно приличней. Он повесил его на спинку стула. Подумал еще и сунул в узелок кусок черствой лепешки. На этом приготовления были закончены. Старик стоял с довольным видом. За удовольствием, которое ему доставили сборы, печаль почти развеялась. Но тут тоска пронзила его с новой силой. Левой рукой он схватился за бок, а правой — за сердце.

— Ах, опять боль! — пробормотал старик.

Он побледнел, но через несколько мгновений к его щекам вернулся прежний цвет, — и он решил прибрать комнату.

— Я оставляю все в полном порядке, так чтобы они не посмели ворчать, что я оставил все в беспорядке, — сказал он себе. Он тщательно сдул пыль с мешочков и выложил их в ряд на каминной доске. Прибравшись, он разделся и лег. Привычным движением нащупал под подушкой книжку, достал и решил дочитать ее перед сном. События, изложенные в книгах, были для него столь же реальны и важны, как если бы случились с ним самим. Он не мог покинуть этот дом, не узнав прежде, смягчился ли нрав жестокого английского графа и сочетались ли счастливым браком барон и Эмилины... Старый немец надел очки и принялся читать. Время от времени он восклицал в избытке чувств: «Ах, так я и думал! Каков негодник!», «Вот, вот! Я с самого начала предвидел, что так будет!» Немец читал более получаса и только тогда, взглянув на часы, сказал себе: «Пора кончать: мне предстоит завтра долгий путь». Он снял очки и заложил ими страницу, на которой остановился. «Дочитаю в дороге, — решил он, засовывая книжицу в карман пальто, — очень занятная история». Улегшись, старик поразмышлял несколько минут о собственных невзгодах, гораздо дольше о двух девочках, затем о графе, Эмилине и бароне и наконец уснул — мирным сном младенца, невинной душе которого чужды заботы и печали.

Все стихло. Уголья в очаге едва высвечивали красных львов на одеяле и бросали тусклые блики на пол. К одиннадцати часам в каморке воцарилась полная тишина. А к часу ночи в очаге потух последний уголек и стало темно. Мышь, ютившаяся в норе под ящиком с инструментами, выбежала на середину комнаты, забралась на мешки в

углу, а затем, обманутая тишиной, забралась на стул у кровати. Она погрызла лепешку, торчавшую из узелка, тронула зубами свечку и замерла на задних лапках. Некоторое время мышь прислушивалась к ровному дыханию спящего, к торопливым шагам голодной дворовой собаки, рыскавшей по ферме в поисках забытой кости, затем внезапно юркнула в нору под ящиком с инструментами, напуганная громким кудахтаньем белой наседки, у которой дикий кот утащил цыпленка.

Настало два часа. Небо затянуло тучами, и ночь стала еще темнее. Дикий кот вернулся в свою нору на каменистом холме; дворовая собака нашла кость и принялась ее грызть.

Кругом царило спокойствие. И только у себя в спальне стонала и шумно металась на постели тетушка Санни; ей снилось, будто над домом парит зловещая черная тень.

Тишина, еще более глубокая, чем в спящей природе, стояла и в каморке старика. Не слышно было даже его дыхания. Но он еще не покидал дома, его старое пальто — то самое, которое он приготовил в дорогу, все еще висело на спинке стула; и узелок и палка тоже лежали на месте. И сам старик покоился на постели, на подушке раскинулись его волнистые черные с проседью волосы. Лицо сияло в темноте детской улыбкой — и было в нем умиротворение.

Есть некая странница, чей постук у дверей хуже худшего из мирских зол, мы с трепетом сторонимся и бежим ее. Но к иным она приходит, как добрый друг. Мнилось, будто смерть знала и любила старика — так ласково она с ним обошлась. Да за что ей было терзать этого сердечного, простодушного и невинного, как малое дитя, человека?!

Она разгладила морщины на его челе, запечатлела на устах улыбку, сомкнула ему глаза, — никогда больше не блеснут в них слезы, — и короткий земной сон превратила в вечный, беспробудный.

— Как он помолодел за эту ночь! — удивились те, что вошли к нему на следующее утро.

Да, милый чудак! Таких, как ты, время не старит. Волосы твои тронула седина, но свой последний час ты встретил чист и невинен, словно младенец.

БОНАПАРТ УБЕГАЕТ ОТ ПРИЗРАКА

Бонапарт стоял на куче золы, заложив руки назад, под фалды. Он еще издали завидел приближающийся фургон и уже заранее хохотал в предвкушении сцены, которую собирался разыграть.

Тем временем, свернувшись клубком среди мешков на задке фургона, Вальдо крепко прижимал к груди машинку для стрижки овец. Наконец-то она кончена! Счастливая мысль, необходимая для ее завершения, пришла ему накануне, когда он сонными глазами смотрел, как вода крутит мельничное колесо.

— Завтра смажу все маслом, подтяну винты и, пожалуйста, смотрите! — шептал он. — Пусть весь мир смотрит... весь свет... на мою машинку! — Вальдо с такой силой нажал на свое творение, что колесики едва выдержали его напор. Он бормотал все громче, не замечая, что говорит вслух. — Пятьдесят фунтов!.. Куплю отцу черную шляпу; Линдал — голубого шелку, самого тонкого, и еще темно-лилового — как степные колокольчики, и белые башмачки. И ящик, полный книг. Из них я узнаю обо всем... обо всем... — Его полусогнутые пальцы зашевелились. — И о том, отчего кристаллы такие прекрасные, отчего железо притягивает молнию, почему черные люди — черные и почему солнце греет. Я прочту, все прочту, все-все. — И тут на него нахлынуло странное чувство: словно к нему снизошел бог, словно кто-то добрый и сильный заключил его в свои объятия. Вальдо улыбнулся полузакрытыми глазами. — Ох, отец мой небесный, твое прикосновение — как тепло солнца... Библия не может поведать о тебе, а я чувствую... Святые книги написаны людьми... Но ты... — Его речь перешла в невнятное бормотание. Открыв глаза, он увидел бурую равнину. Уже полчаса они ехали по своей земле, а он и не заметил. Вальдо окликнул возницу, который клевал носом, сидя на козлах. До фермы оставалось не больше полумили. Вальдо вдруг показалось, будто он здесь целый год не был. Ему почудилось даже, что он видит Линдал; она стоит на кирпичной ограде и смотрит: не появился ли его фургон? Ему чудилось, что он видит и отца — то и дело останавливаясь, тот бредет от одной постройки к другой.

Вальдо понукал волов. Скорей! Скорей! Ведь он везет всем подарки. Отцу — табак, купленный в лавочке на

мельнице, Эмм — наперсток; для Линдал — прелестный цветок, выкопанный с корнями там, где распрягали воров; для тетушки Санни — платок. Дом был уже близко. Вальдо сунул кнут в руки вознице — погоняй же! — и бегом пустился к ферме.

Возле кучи золы стоял Бонапарт Бленкинс.

— С добрым утром, дружок, — окликнул он Вальдо. — Куда ты так торопишься, даже щеки покраснелись от бега?

Мальчик поднял голову, сегодня он был рад видеть и Бонапарта.

— Домой, — отвечал он, с трудом переводя дыхание.

— Напрасно, теперь там никого нет. И твоего милого друга папеньки нет, — сообщил Бонапарт Бленкинс.

— А где он?

— Вон там! — воскликнул Бонапарт, драматическим жестом указывая в сторону загонов для страусов.

— Что он там делает? — спросил мальчик.

Бонапарт Бленкинс потрепал его по щеке.

— Мы не могли его дольше держать здесь, слишком жарко. Вот мы и похоронили его, мой мальчик. Не могли его дольше держать здесь... Хе-хе-хе! — смеялся он собственной шутке. Вальдо шарахнулся прочь, пригнулся и стал пробираться вдоль низкой каменной ограды с осторожностью человека, подвергающегося большой опасности.

Около пяти часов пополудни Бонапарт Бленкинс, опустясь на колени, принялся разбирать сундук покойного.

Они с тетушкой Санни договорились, что, поскольку немца больше нет, он, Бонапарт Бленкинс, оставит учительство и заступит место управляющего. В качестве вознаграждения за прежние свои труды по ученой части Бонапарт высказал пожелание унаследовать имущество и комнату покойного. Тетушке Санни это пришлось не по душе. Покойный немец внушал ей куда больше почтения, чем при жизни. По ней, так лучше бы его имущество перешло к законному наследнику. Она твердо верила в то, что оттуда, сверху, видно и слышно все, что ни делается на земле. И так как она не знала, как далеко простирается власть духов над земным миром, то и взяла себе за правило поступать так, чтобы не восстанавливать против себя невидимых небесных аудиторов. Именно по этой причине она воздерживалась от дурного обращения с дочерью и племянницей покойного англичанина; она хотела, чтобы наслед-

ство управляющего получил его сын. Но у нее просто не хватило решимости отказать Бонапарту.

В тот вечер они вдвоем так мило провели время за чашечкой кофе, и Бонапарт Бленкинс, подумать только, он уже сносно, вполне сносно выучился говорить на местном наречии, объяснил, что в рассуждении прекрасного пола его вкусы целиком на стороне полных дам и что он весьма опытный земледелец.

И вот теперь он хозяйничал в комнате покойного управляющего.

— Где-нибудь здесь, где же им еще быть? — шептал он, аккуратно выкладывая из сундука старое платье. Но того, что он искал, там не было, — и ему пришлось свалить все обратно. — Где-нибудь в этой конуре, где же им еще быть? И я их отыщу, — утешал он себя. — Так я и поверил, что за эти годы ты ничего не отложил на черный день... Не такой уж ты глупец. Нет, нет, меня не проведешь!

Бонапарт расхаживал по комнате, тыкал пальцем во все трещины, где прятались пауки; выстукивал стену, пока не отбил порядочный кусок штукатурки, заглядывал в печную трубу и отковыривал сажу, не замечая, что она сыплется ему на лысый череп. Он перешукал все до единого синие холщовые мешочки, попытался приподнять камень под очагом, долго перелистывал, перетрясал книги, так что весь пол был усыпан пожелтевшими страницами.

Уже смеркалось. Некоторое время Бонапарт стоял в глубоком оцепенении, приплюснув пальцем нос. Потом решительно подошел к распахнутой двери и снял со стены висевшие там брюки и жилет, которые покойный носил до последнего дня жизни. Собственно, с них Бонапарт и начал накануне, сразу же после похорон, свои поиски, но тогда он очень торопился. Теперь он решил осмотреть платье внимательней. В одном из карманов жилета он обнаружил дыру и просунул в нее руку. Между тканью и подкладкой Бонапарт нащупал небольшой сверточек, вытащил его и стал жадно разглядывать. Внутри, под парусиной, что-то похрустывало; по звуку можно было предположить, что там лежит тугая пачка новеньких банкнот. Бонапарт торопливо сунул сверток себе в карман и опасно выглянул наружу. Но там никого не было. Никого — лишь оранжевое заходящее солнце озаряло покрытую кустарником карру равнину и кур, копошившихся на куче вола. Бонапарт сел на стул у двери, достал перочинный

ножичек и распорол сверток. Внутри оказалась пачка пожелтевших, истершихся бумаг. Бонапарт Бленкинс аккуратно развернул их, каждый листок в отдельности, и разгладил у себя на колене. По-немецки он не понимал, но, должно быть, бумаги очень ценные, если их хранят так бережно. В самом низу лежал пакетик с чем-то твердым.

— Вот они, Бон, вот они, дружочек! — воскликнул Бонапарт, хлопая себя по ляжкам. Подвинувшись ближе к свету, он осторожно развернул бумажку и увидел золотое обручальное кольцо.

— И на том спасибо, — сказал он и попробовал надеть кольцо на мизинец. Но палец был слишком толст.

Бонапарт снял кольцо и, положив на стол, уставился на него своими косыми глазами.

— Придет желанный час, — проговорил он, — и я поведу тебя при свете гименеева факела к алтарю, чтобы надеть на твой прелестный розовый пальчик, о Санни, радость моя, это колечко.

О дева! Быть тебе моей.
День счастья недалек.
Запустит пальцы Бонапарт
В твой толстый кошелек, —

продекламировал он в приливе поэтического вдохновения и замолк, охваченный самыми радужными мыслями.

— В твой толстый кошелек, — повторил он с удовольствием.

В ту самую минуту ему почудилось, — как впоследствии клятвенно уверял он до конца дней своих, — что некто пребольно стукнул его по гладкому темени.

Бонапарт Бленкинс вскочил и поднял глаза. Кругом ни души. В комнате было совсем темно, а темноты он терпеть не мог. Бонапарт поспешно собрал бумаги и потянулся за кольцом. Кольца не было! Как в воду кануло! А ведь никто не входил в комнату, не переступал даже порога. Не было кольца!

Ну нет, ночевать он здесь не останется! Ни за что на свете!

Бонапарт принялся совать бумаги в карман, но его вдруг трижды стукнули по темени! Челюсть у него отвисла, ноги стали как ватные. Он не смел шелохнуться, язык прилип к гортани.

— Возьми, возьми все назад! — прохрипел он. — Мне ничего не нужно, возь-ми-и-и... —

Тут некто дерзко ухватил его за остатки волос ниже затылка и дернул так резко, что он взвыл от боли. Что ж ему оставалось делать? Не стоять же словно в столбняке и ждать, пока поволокут в ад? Испустив отчаянный вопль, он повернулся и, не оглядываясь, кинулся бежать.

В час, когда выпала роса и совсем стемнело, у дальнего загона показался страус, за которым следовала одинокая фигурка. После того как ворота за птицей захлопнулись, фигурка двинулась было в сторону фермы, но вдруг замерла.

— Это ты, Вальдо? — раздался голос Линдал: она услышала какой-то шорох.

Мальчик сидел на сырой земле, спиной к стене. Он не ответил.

— Пойдем, — сказала Линдал, склоняясь над ним. — Я тебя весь день искала.

Он пробормотал что-то невнятное.

— Ты же ничего не ел. Я оставила тебе ужин в комнате. Пойдем со мной, Вальдо, — уговаривала она.

Линдал потянула его, и он нехотя встал.

Она заставила его взять себя под руку и переплела своими пальчиками его пальцы.

— Забудь обо всем, — шептала она. — С тех пор, как это случилось, я все время разговариваю, хожу, не даю себе ни минуты покоя. Сколько бы мы о нем ни думали, его не воротить. — Она еще крепче стиснула ему пальцы. — Самое лучшее — забыть. Он не ждал, не мучился, — продолжала она шепотом. — Ужасно, когда ждешь, видишь ее приход. — Она содрогнулась. — Хотела бы я так умереть... Ты знаешь, зачем я выпускала этого страуса? — оживленно прибавила она вдруг. — Это же Ханс, ну тот самый, что терпеть не может Бонапарта. Я надеялась, что он подстережет этого негодяя и заключает его до смерти.

Мальчик, казалось, не слышал.

— Только ничего не вышло. Ханс его не заклевал. А вот напугать — напугал. Просунул незаметно голову в открытую дверь, когда этот вор рылся в ваших вещах, и клюнул его в темя. Ну, теперь-то, я думаю, он не позарится на чужое... А мне так хотелось, чтобы страус затоптал его.

До самой двери они шли молча.

— Свечка и ужин на столе. Непременно поешь, — властно велела она. — А я пойду, не то они догадаются, что это я страуса натравила.

Он схватил ее за руку и зашептал ей в самое ухо:

— Бога нет! — Из пересохшего горла вырывалось еле внятное сипение. — Никакого бога! Нигде!

Она вздрогнула.

— Нигде! — повторил он сквозь стиснутые зубы, и она почувствовала на щеке его горячее дыхание.

— Вальдо, в своем ли ты уме? — сказала она и невольно отшатнулась.

Он отпустил ее руку и отвернулся.

Да, такова жизнь. Каждый выигрывает или проигрывает свои маленькие битвы в одиночку, ты — свои, я — свои. Мы не в силах протянуть другому руку помощи и не ждем ее сами.

Ты живешь полной жизнью, а я думаю, что ты не в своем рассудке; ты в глубоком отчаянии, а я смотрю на тебя удивленными глазами; дружба — крепкая опора, но под тяжестью испытаний сгибается и она. Все люди одиноки в тот час, когда на них обрушивается горчайшая беда.

Линдал стояла рядом в темноте, полная жалости и сочувствия. Когда он направился к двери, она поспешила вслед за ним.

— Поужинай, тебе станет легче, — сказала она, потерлась щекой о его плечо и убежала.

В передней хозяйского дома маленькая служанка с курчавыми волосами мыла тетушке Санни ноги в тазу. Бонапарт Бленкинс сидел на деревянной кушетке и разувался в ожидании своей очереди. В передней горели все три свечи. Тут же находилась и худая служанка-готтентотка. Когда в доме завелись призраки, единственное от них спасение — разжечь огонь поярче и созвать побольше народу.

Впрочем, Бонапарт успел уже оправиться от пережитого потрясения, а многочисленные дозы спиртного, которые он принял для восстановления душевного равновесия, привели его в приятное и любезное расположение духа.

— Этот мальчишка, этот Вальдо, — проговорил он, растирая себе пальцы на ноге, — прохлаждается весь день, с самого утра. Как управляющий, я не потерплю такой распушенности.

Готтентотка перевела.

— Так ведь он по отцу тоскует, — сказала тетушка Санни. — Тут уж ничего не поделаешь. Когда умер мой папенька, я целое утро проплакала. Мужа можно завести другого, а отца — нет, — прибавила она, искоса поглядев на Бонапарта.

Тот высказал желание отдать Вальдо распоряжения на следующий день, и курчавой девочке-служанке было велено тотчас разыскать и привести его. Спустя некоторое довольно долгое время мальчик появился в дверях.

Наряди его кто-нибудь во фрак, обильно намажь ему волосы бриллиантином, расчеши их гладенько, как у пастора в воскресенье перед святым причащением, — все равно он не стал бы выхоленным юношей. Теперь же, в немыслимом рванье, с копной всклокоченных, полных песка волос, с опухшими веками, с мрачным и упрямым видом, он походил на неухоженного буйволена.

— Боже милостивый, — вскрикнула тетушка Санни, — на кого он похож! Подойди-ка, мальчик. Ты что же, не хочешь поздороваться со мной? Может, тебя угостить ужином?

Он сказал, что ему ничего не надо, и отвел глаза в сторону.

— В комнате твоего папеньки объявилось привидение, — сказала тетушка Санни, — если боишься, можешь спать в кухне.

— Я буду ночевать дома, — тихо ответил мальчик.

— Ну что ж, тогда ступай, — сказала она, — только не проспи, тебе с утра выгонять стадо...

— Уж потрудись встать пораньше, мой мальчик, — с улыбочкой вставил Бонапарт. — Управляющий теперь я, надеюсь, мы с тобой поладим, станем добрыми друзьями... Самыми добрыми, если, конечно, ты будешь исполнять свой долг. Так-то, мой дорогой мальчик.

Вальдо повернулся, чтобы идти, а Бонапарт Бленкинс, с благодушным видом глядя на свечу, ловко подставил ему босую ногу, — и Вальдо с грохотом растянулся на полу.

Худая готтентотка захохотала так, что дрогнули стены. Залилась и тетушка Санни, у нее даже в боку закололо от хохота.

— Вот незадача! Надеюсь, ты не очень ушибся, мой мальчик, — сказал Бонапарт. — Не унывай. В жизни и не такого натерпишься! — добавил он, когда Вальдо поднялся.

Когда Вальдо ушел, служанка принялась мыть ноги Бонапарту.

— О господи, боже правый, как он плюхнулся! Ой, не могу, — надрывалась тетушка Санни. — Я всегда говорила, что у него не все дома, а сегодня он совсем невменяемый, — прибавила она, отирая слезившиеся от смеха глаза. — И взгляд-то у него какой дикий, словно сам дьявол в него вселился. Всегда он был чудной. И вечно-то один ходит и все сам с собой разговаривает. Сколько раз замечала: шевелит губами. Хоть двадцать раз позови его — не ответит. Глаза растарашенные. Одно слово — сумасшедший.

Смысл последнего слова дошел до Бонапарта без перевода.

— Какой он сумасшедший! — вскричал он. — Я знаю, как его вылечить от дури. Выпороть кнутом, и все как рукой снимет. Отличное средство.

Готтентотка рассмеялась и перевела.

— И я не позволю ему слоняться да бормотать всякую чушь, — продолжал Бонапарт. — Надо или овец пасти, или книжки читать, одно из двух. Отведает он у меня кнута.

Бонапарт Бленкинс, потирая руки и кося глазами, приятно улыбнулся тетушке Санни и готтентотке, и все трое злорадно захихикали.

А Вальдо сидел впотьмах в углу своей пустой каморки, уткнув голову в колени.

Глава X

БОНАПАРТ ПОКАЗЫВАЕТ ЗУБЫ

Досс сидел среди кустов карру, наклонив голову набок, так что рыжее ухо свешивалось на сердитый глаз. Он выказывал готовность отогнать любую дерзкую муху, которая осмелится сесть ему на нос. Вокруг, освещенные восходящим солнцем, паслись овцы, а позади лежал хозяин, занятый своей машинкой. В то утро она была Вальдо единственным утешением. Никакие глубокомысленные рассуждения, никакие — даже самые задушевные — поминальные песни не могли бы успокоить его сердце вернее, чем эта маленькая машинка для стрижки овец.

После всех стараний увидеть невидимое, после всех мучительных попыток объять необъятное, после всех терзаний перед ликом непостижимого, — как радостно, как освежительно бывает отдохнуть мыслью на чем-то простом, осязательном и вполне реальном; на чем-то имеющем запах и цвет, на чем-то, что можно потрогать и повертеть в руках. Есть будущая жизнь или нет, есть какой-нибудь смысл в том, чтобы вызывать к невидимой силе или нет, существует эта невидимая сила или нет, какова бы ни была моя собственная сущность и сущность всего окружающего, каковы бы ни были внутренняя суть и первопричина нашего бытия (а в некоторых умах смерть и горечь утраты неизбежно пробуждают обычно дремлющее, неукротимое желание заглянуть в самую глубь небытия), какова бы ни была причина ограниченности человеческого разума, — одно несомненно — нож всегда режет дерево, одно зубчатое колесо заставляет вращаться другое.

Вальдо с величайшим удовольствием возился со своей машинкой. Но Досс то и дело моргал, закрывал глаза, всем своим видом выражая скуку, и наконец уснул. Внезапно его глаза широко раскрылись: он услышал какой-то шум со стороны фермы. Поморгав и всмотревшись пристальней, Досс узнал гнедую кобылу. Все эти дни пес недоумевал, куда исчез его хозяин. Разглядев на спине у лошади человеческую фигуру, Досс энергично завилял хвостом. Но почти тут же насторожил одно ухо, а другое опустил; хвост его замер, а на морде изобразилось неудовольствие, граничащее с презрением. От краешков пасти разбежались мелкие морщинки.

Мягкий песок скрадывал звуки шагов, и мальчик увидел Бонапарта Бленкинса, когда тот уже спешил. Досс поднялся на ноги и попятился, недовольный появлением этого человека, производившего поистине странное впечатление, одинаково немислимое и для города, и для сельской местности. Фалды черного сюртука были загнуты вверх и пришпилены булавками, сюртук дополняли штаны из черной кожи и штилеты с кожаными крагами. В руках спешившийся всадник держал хлыст из шкуры носорога.

Вальдо вздрогнул и поднял глаза. Будь у него хоть секунда времени, он постарался бы спрятать свое сокровище в песок. Пусть это всего лишь деревянная игрушка, но он любит ее, как всякий творец неизбежно любит порождение своей плоти или духа. Взгляд чужих

холодных глаз, устремленный на нее, подобен прикосновению грубых пальцев к нежной пыльце на крыльях бабочки.

— Что там у тебя, мальчик? — поинтересовался Бонапарт Бленкинс, останавливаясь над ним и показывая хлыстом на машинку.

Вальдо пробормотал что-то невнятное и прикрыл рукой свое изобретение.

— О, я вижу, у тебя какая-то занятная вещица, — сказал Бонапарт Бленкинс, присаживаясь на муравьиную кочку и рассматривая машинку с величайшим интересом. — Для чего это, а?

— Для стрижки овец.

— Презабавная вещица! — сказал Бонапарт Бленкинс. — И как же она стрижет?.. В жизни не видел ничего хитроумнее.

Ни один родитель не заподозрит в неискренности уста, восхваляющие его дитя, его первенца. А тут нашелся человек, восторгающийся его, Вальдо, творением. И Вальдо простил все. Он стал объяснять, как направлять ножницы, как держать овцу и как шерсть падает в лоток. Щеки его зарделись румянцем.

— Ну, вот что я тебе скажу, мальчик, — веско произнес Бонапарт Бленкинс, выслушав объяснение, — мы должны запатентовать твоё изобретение. Можешь считать себя богатым человеком. Три года — и не сыскать будет фермы по всей Капской колонии, где бы обходились без этой штучки. Ты гений, да и только! — добавил Бонапарт Бленкинс, подымаясь.

— Если сделать ее побольше, — сказал мальчик, поднимая глаза, — она бы стригла еще чище. Как вы думаете, найдется ли мастер, который мог бы изготовить ее в полную величину?

— Найдется, еще бы не нашелся, — заверил Бонапарт Бленкинс. — А нет — положишься на меня, я закажу в Англии. И долго ты над ней трудился?

— Девять месяцев, — ответил мальчик.

— Какая замечательная машинка, — расхваливал Бонапарт. — Просто восхитительная... Одного только ей не хватает, сущей мелочи...

Бонапарт Бленкинс наступил на машинку и раздавил ее. Мальчик смотрел на него во все глаза.

— Так-то лучше, — молвил Бонапарт, — не правда ли? В Англии не сделают, в Америку pošлем заказ. Ну-с, до

скорого свидания... А ты и впрямь гений, прирожденный гений, мой милый мальчик.

Он сел на лошадь и поехал. Собака с явным удовольствием провожала его глазами, а ее хозяин лежал ничком на песке, положив голову на руки, а вокруг него валялись обломки деревянных колесиков. Собака вспрыгнула ему на спину и потянула его за черные волосы, но, видя, что на нее не обращают внимания, оставила своего хозяина и затеяла игру с жуком. Жук катил домой навозный катышек, который старательно лепил все утро. Досс раздавил катышек и откусил жуку задние лапки, а затем и голову. И все для забавы. Кто мог бы сказать, для чего жило и трудилось это насекомое. А оно жило, трудилось — и, оказывается, все попусту.

Глава XI

...ПЫТАЕТСЯ УКУСИТЬ

— Что я на чердаке нашла-а-а! — неделю спустя сообщила Эмм, подбегая к Вальдо, безучастно раскладывавшему на каменной ограде вокруг крааля лепешки кизяка. — Целый сундук с книгами моего отца. А мы-то думали, что тетя Санни сожгла их в печке...

Мальчик оторвался от дела и посмотрел Эмм в лицо.

— Книжки не такие уж интересные, рассказов там нет, — прибавила Эмм, — но ты можешь пойти и выбрать любую.

С этими словами она взяла пустую тарелку, в которой утром принесла завтрак, и ушла к себе.

После этого Вальдо стал работать куда проворней. Через полчаса приказание Бонапарта было выполнено, весь кизяк аккуратным штабелем лежал на ограде. Затем необходимо было посыпать солью кожи, выложенные сушиться. Посудина оказалась пустой, и Вальдо отправился за солью на чердак усадебного дома.

Дверь в комнату Бонапарта Бленкинса помещалась как раз под лестницей, он увидел Вальдо, когда тот поднимался по лестнице, подошел к порогу и стал ждать, пока мальчик спустится. Пусть начистит ему башмаки.

Досс, убедясь, что ему не взобраться по стремянке, терпеливо сидел внизу. Иногда он задира морду и смотрел, не возвращается ли хозяин, но никого не было вид-

но. Бонапарт уже поднял голову и позвал Вальдо. Никакого ответа. Что он там делает? Бонапарт Блэнкинс ни разу еще не был на чердаке сам. Ему так хотелось знать, что там есть, и не только там, но и вообще во всех закрытых ящиках, во всех укромных уголках, но залезть туда он боялся.

Так он и стоял, вперив взгляд в чердачную дверь и прощая себя, чем там, во имя всех святых, занимается мальчишка? На чердаках сваливают всякий хлам. Почему же этот недотепа торчит там так долго?

Случись тетушке Санни увидеть Вальдо в это время, она окончательно утвердилась бы во мнении, что у него «не все дома». Набрав в свою посудину соли, он кинулся искать среди хлама ящик с книгами и вскоре обнаружил его под кучей старых мешков. Это был обычный упаковочный ящик, наглухо заколоченный, но одна доска была отбита. Приподняв ее, Вальдо увидел плотный ряд книжных корешков. Он опустился на колени и долго поглаживал шершавые доски, словно не верил своим глазам. Затем он засунул руку в ящик и вытащил сразу две книги. Погладил их и принялся листать, бережно перебирая пальцами слежавшиеся страницы и любовно пробуя их на ощупь. Бедняга не мог наглядеться на свое сокровище. За всю жизнь у него побывало в руках не больше дюжины книг, а теперь он стоял над золотой россыпью. Насладясь зрелищем книг, он стал разбирать названия, то и дело отрываясь, чтобы заглянуть внутрь и прочесть какую-нибудь фразу. Но от волнения он ничего не понимал. Наконец ему попался на глаза толстый том в потертom переплете коричневой кожи. Он прочел имя автора и развернул книгу наугад, на главе о собственности — Коммунизм, учение Фурье и учение Сен-Симона — это была работа по политической экономии. Он дочитал страницу, перевернул ее и начал читать дальше, стоя на коленях, с открытым ртом.

Не все, что он читал, было ему понятно. Впервыезнакомился он с подобными мыслями. Мысли эти казались ему собственными, хотя до сих пор никогда не приходили в голову.

Он беззвучно рассмеялся, полный ликующей радости.

Так, значит, не все мыслящие существа возносят этот крик: «Как ты, господи благой, создал все от века, так есть и пребудет, ныне и присно и во веки веков; и не нам дано знать как. Аминь». Стало быть, есть среди них и та-

кие, которые слышат глас вельда и холмов: «Познай и объясни, каковы мы и как сюда попали!»? И такие, что непременно хотят знать обычаи давно минувших веков и проникнуть в сущность отношений между людьми?

Вальдо дрожал от волнения всем своим телом. Выходит, он не один сомневается, не один. Вряд ли он сумел бы объяснить, почему у него так тепло и радостно на душе. Щеки у него пылали.

Не удивительно, что Бонапарт Бленкинс не мог дождаться его чуть ли не три четверти часа. Не слышал Вальдо и жалобных повизгиваний Досса.

Наконец мальчик сунул книгу за пазуху и тщательно застегнул куртку на все пуговицы. Он захватил соль и пошел к лестнице.

Бонапарт стоял, задрав голову и поигрывая фалдами сюртука.

— Что ты там делал столько времени? — крикнул он Вальдо, когда тот начал спускаться с непривычным для него проворством. — Ты что, не слышал, как я тебя звал?

Бонапарт Бленкинс продолжал поигрывать фалдами, не спуская с мальчика глаз. О, ему грех жаловаться на свое зрение! Он поглядел на посудину с солью: горшочек явно маловат, чтобы наполнять его три четверти часа. Отчего этот недотепа так раскраснелся? Не пьян же он. Вина тетушка Санни не держит. Глаза у него широко раскрыты и блестят. Значит, он не спал. Заниматься любовью на чердаке не с кем. Тогда в чем же дело? Бонапарт вперил в Вальдо пронзительный взгляд. Какая удивительная перемена в выражении его лица! Совсем другой человек! Может быть, тетушка Санни хранит там bultongs, — так, кажется, называют здесь вяленое мясо? Или копченые колбаски? Наверняка там есть что-нибудь вкусное. Наверняка!

Бонапарт так углубился в свои умозаключения, что совсем забыл о нечищенных башмаках.

Дождавшись, пока Вальдо спустится, он подошел к дверям и, воздев глаза к чистому, без облачка, небу, вслух загадал себе такую загадку:

— Что общего между ягодицами некоего мальчика в куртке, солью и кнутом? Отгадка: пока ничего, но скоро будет.

Крайне довольный собственным остроумием, Бонапарт засмеялся кудахтающим смехом и снова улегся на кровать.

В тот день на ферме пекли хлеб. В кирпичной печи развели огонь, и тетушка Санни, всегда самолично руководившая этим важным делом, ради такого случая покинула даже свое необъятное кресло.

Вальдо был тут же, неподалеку. Он только что задал корм свиньям и теперь, перегнувшись через невысокую стенку, смотрел на семейство свиней. Одна половина хлеба была сухой, зато другая тонула в жидкой грязи. С краю, зажмурясь, лежала большая свинья, она кормила десятых своих поросят. Кабан стоял по колено в грязи, уткнув морду в гнилую тыкву. Его завитый в крючок хвост подрагивал.

Вальдо раздумывал, почему ему доставляет удовольствие на них смотреть. Ведь свиньи совсем не красивы, если взять каждую в отдельности, а вот вместе красивы. Их объединяет нечто общее. Свинья с поросятами составляет одно целое, так же как и хряк с гнилой тыквой, и всем вместе вполне подходит лужа грязи. Зрелище вполне гармоничное: ни убавить, ни прибавить. Не в этом ли и есть секрет всякой красоты?

Так он стоял, погруженный в свои мысли, и любясь поросячим выводком, нагибался все ниже и ниже.

Все это время Бонапарт Бленкинс бродил вокруг дома, поглядывая время от времени на свинарник. С каждым новым кругом он подходил все ближе. Но Вальдо стоял как во сне и не замечал его.

Еще в мальчишеские годы, когда Бонапарт жил в захудалом ирландском городишке и играл со своими товарищами на улицах, возле сточных канав, — он снискал себе прозвище Бен-Подставь-Ножку: так ловко умел он сбить с ног любого своего незадачливого приятеля. Прошло много лет, Бен-Подставь-Ножку стал величаться Бонапартом Бленкинсом, но искусства своего не утратил.

Он подошел вплотную к Вальдо. Как и в былые времена, проворно поставил ногу между стеной и мальчиком, и одним рывком перебросил его через загородку.

Поросята в переполохе бросились за материнскую спину, а свинья недовольно хрюкнула.

Все это видела тетушка Санни. Она всплеснула руками и разразилась хохотом. Бонапарт Бленкинс стоял с невозмутимым видом, мечтательно уставясь вдаль.

При падении Вальдо книга выскользнула у него из-за пазухи. Бонапарт подхватил ее и стал тщательно рассматривать, не обращая внимания на мальчика, который не-

ловко перелезал через загородку. В другое время Вальдо молча ушел бы, но в этот раз он хотел, чтобы ему возвратили книгу.

— А, это ты, — сказал Бонапарт Бленкинс, отрываясь от книги. — Надеюсь, ты не испачкал свою куртку, ведь она такого изящного покроя. Наследственная фамильная вещь. Перешла к тебе от бабушки? Вид у нее просто неопиcуемый!

— О господи! Господи! — взвизгивала тетушка Сани, держась за бока. — Вы только поглядите на него. Да ему век не отмыться теперь. О господи! Не могу, сил больше нет! Право, Бонапарт, с вами не соскучишься!

Бонапарт Бленкинс между тем внимательно изучал книгу. Политическая экономия не относилась к числу наук, каковые озаряли его непросвещенный разум. Посему он имел весьма смутное представление относительно содержания книги. Что касается имени автора — Дж.-С. Милль, то он вполне мог быть достопочтенным членом «Общества распространения Священного писания в метрополии и колониях», а это отнюдь не проясняло вопрос. Бонапарт склонен был предположить, что политическая экономия трактует о выгоднейшем способе поставок обмундирования для армии и флота, сочетая в себе, таким образом, политику с экономикой.

В конце концов Бленкинс счел за лучшее применить для оценки книги и ее содержания правило простое, банальное, но зато всякому доступное: если бы люди руководствовались им почаще, им не пришлось бы ломать себе понапрасну голову и тратить массу драгоценного времени. Правило, легко запоминающееся:

Столкнувшись с книгой, с человеком, с точкой зрения, совершенно для вас непостижимыми, объявляйте эту книгу, человека, точку зрения безнравственными. Поносите их, браните их, утверждайте, что все, отрицающие это мнение, — дураки или мошенники, либо то и другое вместе. Никогда не старайтесь постичь, но употребите все усилия, чтобы уничтожить эту книгу, человека или точку зрения.

Действуя в соответствии с этим правилом, столь же универсальным, как и замечательно простым в применении, Бонапарт Бленкинс приблизился к тетушке Сани с книгой в руках. Вальдо нерешительно последовал за ним, глядя на книгу глазами, какие бывают у собаки, когда злой человек отнимает у нее щенят.

— Эта книга, — произнес Бонапарт Бленкинс, — отнюдь не годится для юного и незрелого ума.

Тетушка Санни ни слова не поняла и переспросила: — Что?

— Я говорю: эта книга, — он энергично постучал пальцем по переплету, — эта книга sleg, sleg, Davel, Davel.

По выражению его лица тетушка Санни поняла, что дело, должно быть, нешуточное. А из слов: sleg и Davel — («плохо» и «дьявол») — заключила, что книга эта вредная и к ней приложил руку сатана, сбивающий добрых людей с пути истинного.

— Где ты взял книгу? — спросила она, сверля Вальдо своими маленькими глазками. — Пусть мои ноги станут тонкими, как палки, если эта книга не досталась ему от папеньки! Он притворялся смиренником и жил холостяком столько лет, потому что, видите ли, не мог забыть свою покойницу жену, но грешков за ним водилось больше, чем за любым кафром. Как будто десять покойных жен могут заменить одну живую, в соку, у которой, славу богу, и руки, и ноги, и все остальное на месте! — Тетушка Санни даже фыркнула от презрения.

— Это не отцовская книга, — крикнул взбешенный Вальдо. — Я взял ее у вас на чердаке.

— У меня на чердаке? Мою книгу?! Да как ты смел? — закричала тетушка Санни.

— Эта книга не ваша, а отца Эмм. Эмм мне позволила, — угрюмо пробормотал он.

— Дайте-ка мне ее... Как она называется? Что здесь написано? — спросила тетушка Санни, указывая на заглавие.

Бонапарт Бленкинс понял, что она сказала, — и медленно прочитал: «По-ли-ти-чес-кая эко-но-мия».

— Боже милостивый! — ахнула тетушка Санни, — слова-то какие, сразу видно, богопротивная книга. Даже и не выговоришь. Мало нам пагубы на ферме! Лучший баран-меринос околел неизвестно от чего. Комолая корова двух мертвых телят принесла, на овец парша напала, а тут еще засуха... Не хватало только этой книги, чтобы навлечь на нас гнев господень! Нет уж, мне еще на конфирмации пастор не велел читать ничего, кроме Священного писания да молитвенника, а все другое — от лукавого. Сама не читала, читать не стану и другим закажу! — заявила она, гордая сознанием непоколебимой своей добродетели.

Вальдо понял, что судьба книги решена, и с мрачным видом отвернулся, собираясь уйти.

— Слушай, что тебе говорят! — завопила тетушка Санни. — Вот она, твоя дьявольская полити-голлачи-гомини! Получай! — Она целила ему в голову, но промахнулась, книга лишь слегка чиркнула его по лицу и тяжело упала у ног.

— Ступай, — кричала она, — иди, бубни себе под нос. Сам с собой человек разговаривает! Первая примета, что с сатаной стакнулся. Ступай, расскажи ему. Ну ступай же, беги!

Но мальчик не ускорил и не замедлил шага, шел, точно и не слышал ее, и скоро скрылся за углом сарая.

И прежде и после этого летнего дня случалось, что людям в голову швыряли книги, и делали это ручки более нежные и белые, чем у фермерши. Но только добивались ли хоть когда-нибудь этим желаемого результата? Мы страдаем, и все, ради чего страдаем, становится нам вдвое дороже. «Мы это выстрадали, — говорим мы, — и пережитые нами муки навсегда остаются в сердце».

Бонапарт Бленкинс подобрал книгу; во время падения она лишилась переплета, и принес ее тетушке Санни. Та как раз подкладывала дрова в печь. Бонапарт постучал пальцем по книге и кивком показал на огонь. Тетушка Санни поняла его без слов и, взяв у него книгу, засунула ее в дальний угол, где пожарче. «Политическая экономия» затлелась, потом вспыхнула ярким пламенем и перестала существовать, сгорев, подобно сонму бедных сожженных еретиков.

Бонапарт Бленкинс осклабился и, желая в полной мере насладиться зрелищем, уткнулся чуть не в самую дверцу; он даже опалил себе белые брови. Затем он осведомился, нет ли на чердаке еще книг.

Когда ему сказали, что есть, он показал знаками, что неплохо бы, мол, принести целую охапку и подбросить в печь. Но тут тетушка Санни заколебалась. Покойный англичанин завещал все свои личные пожитки дочери. Бонапарту Бленкинсу легко говорить — сожгите. Ему терять нечего. А вот у нее нет ни малейшего желания испытывать провидение.

Она решительно замотала головой: нет. Новый управляющий был неприятно удивлен таким ответом, но тут же нашелся и предложил: пусть ключ от чердака отныне хра-

нится у него, чтобы никто не мог забраться туда без его ведома. На это тетушка Санни охотно согласилась, и, совершенно довольные друг другом, они отправились за ключом.

Глава XII

...И КУСАЕТ

Бонапарт Бленкинс ехал верхом на серой кобыле. В тот день он совершал объезд фермы — частью для укрепления здоровья, частью для поддержания своей репутации управляющего. Серая кобыла плелась шагом, не обращая внимания на хлыст, которым он постукивал ее по ушам, предаваясь своим мыслям. А думал он вот что:

«Нет, Бон, дружочек, и не мечтай делать предложения! Ты завещание бери в расчет. А коли раньше чем через четыре года свататься к ней нельзя, так зачем предложение делать? Ухаживай, обхаживай, но подавать чрезмерных надежд, ни-ни. Ибо,— Бонапарт с глубокомысленным видом приложил палец к носу,— женщинам только повод дай, вмиг к рукам приберут! Упаси бог их обнадеживать. А уж здесь я...»

Тут Бонапарт осадил лошадь и замер. Он был совсем близко от дома. У свинарника стояла Эмм в обществе незнакомой особы женского пола. Перегнувшись через стенку, незнакомка разглядывала поросят. С тех пор, как Бонапарт Бленкинс появился на ферме, еще ни один человек не заезжал к ним в гости, и теперь он с интересом рассматривал новое лицо. Это была девушка лет пятнадцати, такая коротышка, весом, однако, не менее ста пятидесяти фунтов, со вздернутым, пуговкой, носом и колыхавшимися, как желе, щеками — чертами лица и комплекцией вылитая тетушка Санни, вот только глаза у нее были сонные, без искорки и добродушные. На ней было ярко-зеленое ситцевое платье, в ушах — медные кольца, на шее — стеклянные бусы. Посасывая палец, она не отрываясь смотрела на поросят.

— Я вижу, у нас гости. Кто это? — спросил Бонапарт, когда зашел в дом и принялся стоя отхлебывать кофе из поданной ему чашки.

— Да ведь это моя племянница, — сказала тетушка Санни, и готтентотка перевела. — Единственная дочь моего

единственного брата Пауля. Лакомый кусочек, — прибавила она. — У отца в зеленом сундуке под кроватью одной наличностью две тысячи фунтов, да ферма, да овец пять тысяч, а сколько там коз да лошадей — один господь знает. Среди зимы по десять дойных коров держат. Вот женихи и слетаются, как мухи на мед... Говорит, до весны непременно замуж выйдет, за кого только — решиться не может. Ну точь-в-точь как я в ее годы, — продолжала тетушка Санни, — от молодых людей отбою не было. Ну, мое от меня не уйдет. Только скажи, что прошел, мол, срок мне вдоветь после моего англичанина, — толпами повалят.

Тетушка Санни красноречиво ухмыльнулась, но тут же посерьезнела, видя, что Бонапарт Бленкинс собирается уходить.

— Куда это вы?

— Я? Гм-м, я должен осмотреть краали... К ужину вернусь, — ответил Бонапарт Бленкинс и, едва завернув за угол, чуть не бегом пустился к себе. Вскоре он стоял перед зеркальцем в своей лучшей белой рубашке с оборочками и брился. Побрившись, он надел свои праздничные штаны и густо намадил остатки кудрей на затылке, что, однако же, к его досаде, не скрыло седины. Больше всего приводил его в отчаяние лиловый нос. Бонапарт Бленкинс потер двумя пальцами штукатурку и попробовал его припудрить, но вышло еще хуже. Пришлось стереть слой побелки. Потом он долго изучал в зеркальце свои глаза. Да, их уголки немного опущены, и кажется, будто они косят. Но зато какой цвет! Чистая голубизна. Он надел свой новый сюртук, подхватил тросточку и, весьма довольный собой, явился к ужину.

— Тетя, — сказала в тот вечер Трана, когда они с тетушкой Санни лежали на необъятно большой деревянной кровати, — отчего этот англичанин все вздыхал, глядя на меня? Посмотрит и — вздохнет. Посмотрит — и вздохнет.

Тетушка Санни уже задремала было, но при этих словах встрепенулась; сон сразу слетел с нее.

— Ха! Да все оттого, что ты на меня похожа. Этот человек влюблен в меня без памяти. Я ему третьего дня заметила — так, между прочим, — что, пока Эмм не исполнится шестнадцать, мне нельзя идти замуж, не то я лишусь всех овец, завещанных мне ее отцом. А он мне ответил: Иаков, мол, семь лет спину гнул да еще семь за жену свою отслужил... Ну, конечно же, это он меня имел в виду, — прибавила тетушка Санни с достоинством. — Но пусть не

воображает, что я брошусь ему на шею; ему еще придется хорошенько попросить меня, и не единожды.

— О! — только и сказала Трана; она отнюдь не отличалась живостью ума и разговорчивостью. Однако спустя некоторое время она все-таки сказала:

— Пройти мимо не может, чтобы не задеть!

— Сама небось на глаза лезешь.

— Тетя, — молвила Трана чуть погодя, — ну и урод же он!

— Да нет же! Просто мы не привыкли к большеносым мужчинам. А у них там, он говорит, у всех такие носы, и чем красней у человека нос, тем даже больше ему уважения. А он, видишь ли, родственник королевы Виктории, — рассказывала тетушка Санни, воодушевляясь, — ему даже губернаторы и епископы не чета. А когда умрет тетка, она у него водянкой больна, у него станет денег скупить все фермы у нас в округе.

— О! — сказала Трана. — Тогда, конечно, другое дело.

— Да, — подтвердила тетушка Санни, — и ему всего сорок один год, хотя он и выглядит на шестьдесят. А что у него волос нет, так тут не его вина. Вчера он доподлинно объяснил, как он лишился своих кудрей.

И тетушка Санни рассказала, как восемнадцать лет от роду Бонапарт Бленкинс ухаживал за прелестной юной леди; ненавистный соперник, завидуя его пышным золотистым кудрям, прислал ему банку помады; несчастный намазал на ночь волосы, а утром увидел, что вся подушка усыпана золотыми локонами; кинувшись к зеркалу, он обнаружил на своей голове большую, сверкающую лысину. Остатки волос стали серебряно-белыми, и юная леди вышла замуж за соперника.

— И если б не милосердие божие да не чтение псалмов, он наложил бы на себя руки. Он говорит, что ему очень даже просто на это решиться, коли он полюбит, а женщина откажет.

— Спокойной ночи, — сказала Трана, и скоро обе уснули.

Все на ферме погрузились в сон. Тусклый свет пробивался лишь из оконца пристройки. Вальдо сидел у горящего очага, погруженный в свои грустные думы. Ночь уже близилась к концу, а он все сидел, время от времени машинально подбрасывая в огонь сухие лепешки коровьего навоза; они вспыхивали ярким пламенем, а затем пре-

вращались в груды пылающих углей; все это отражалось в его глазах, и он все думал, думал, думал. Наконец, когда огонь разгорелся так, что стало светло как днем, Вальдо вдруг поднялся и медленно подошел к свисавшему с потолочной балки ремню из воловьей кожи. Сняв его с гвоздя, он сделал на конце петлю и намотал ремень на руку.

— Мои, мои! По праву принадлежат мне, — пробормотал он и затем чуть громче произнес: — А если я упаду и разобьюсь, тем лучше!

Он открыл дверь и вышел в звездную ночь.

Вальдо шел, опустив голову, а над ним ослепительно сияло южное небо, каждый кусочек которого, пусть даже с ладонь величиной, усеян дюжинами холодных серебряных точек, и где Млечный Путь тянется широкой полосой серебристого инея. Он миновал дверь, за которой лежал Бонапарт Бленкинс в грезах о Тране и ее движимом и недвижимом имуществе, остановился у стремянки и стал подниматься по ней. Затем он забрался на крышу. Крыша оказалась старая, трухлявая, алебастр, которым она была промазана, крошился у него под ногами. Он ступал, словно по земле, всей тяжестью ступни, — нисколько не заботясь о своей безопасности. Тем лучше, если он упадет.

Пройдя всю крышу, Вальдо опустился на колени почти у самого конька и прикрепил ремень к печной трубе. Слуховое оконце было прямо под ним. Свободным концом ремня он обвязался вокруг пояса, и теперь было проще простого спуститься, открыть окно, просунув руку в одно из выбитых стекол, залезть внутрь, набрать охапку книг и тем же путем — обратно! Они сожгли одну книгу — у него их будет двадцать. Все против него — он будет против всех. Никто не хочет прийти ему на помощь — он сам за себя постоит.

Вальдо откинул с хмурого лба пряди влажных от пота волос и подставил под ночной ветерок разгоряченное лицо. И только тогда увидел царственное небо у себя над головой. Он встал на колени. На него взирали сверху мириады пронзительных глаз. В них светилась скрытая насмешка:

«Сколько ожесточения, сколько злости, сколько гнева в тебе, бедный человечек!»

Ему стало стыдно. Он сел на конек крыши и стал смотреть на них.

«Сколько ожесточения, сколько злости, сколько гнева!»

И тут словно чья-то ледяная рука коснулась его лба, пульсировавшего каждой жилкой, звезды помутились и стали расплываться у него в глазах. Тетушка Санни и сожженная книга, Бонапарт Бленкинс и сломанная машинка, ящик на чердаке и сам он, — каким незначительным показалось ему все это, — даже могила вон там, за выгонами.

Эти безмятежно сияющие звезды — какое множество таких же, как его, жизней видели они, жизней, которые яростно отстаивали себя, но, едва вспыхнув, угасали? А они, древние звезды, все льют свой свет, они вечны.

«Сколько ожесточения, сколько гнева, бедный человек!» — повторяли они.

Вальдо выронил конец ремня, и, сложив руки на коленях, стал смотреть на звезды.

«Мы видели землю еще юной, — говорили звезды. — Видели, как на ее поверхности появлялись маленькие твари, молились, любили, плакали, и рыдали, и исчезали с лица земли. А мы вечны, как неизведанная тайна!»

Подперев голову руками, он смотрел на небо. Яркие звезды закатились и взошли новые, а он все сидел.

Наконец он поднялся и отвязал ремень от трубы.

Книги? Что ему до них? Страстное желание завладеть ими прошло, умерло в нем. Эти люди не хотят отдать ему книги — ну и пусть. Не в этом суть. Зачем ненавидеть, противиться, бороться? Пускай все вершится по воле судьбы.

Вальдо снова намотал ремень на руку через локоть и пошел по коньку крыши обратно.

Тогда-то Бонапарт Бленкинс — он только что перестал грезить о Тране и повернулся на другой бок, готовясь уснуть снова, — и услышал, как кто-то спускается по лестнице. Первым его побуждением было закрыться одеялом с головой и закричать. Однако, вспомнив, что дверь заперта изнутри и окно тоже на задвижке, он высунул голову из-под одеяла и прислушался, ловя каждый звук. Кто бы он ни был, этот злоумышленник, сюда-то ему не проникнуть. Придя к такому выводу, Бонапарт Бленкинс совсем осмелел, слез с кровати, подкрался на цыпочках к двери и приложил глаз к замочной скважине. Ничего не разглядев, он поспешил к окну и прижался лицом к стеклу. Мимо скользнула человеческая тень.

Вальдо даже не старался ступать тихо, и шарканье его тяжелых вельсконов, когда он шел по мощеному двору,

Бонапарт Бленкинс отчетливо слышал даже через закрытое окно. Управляющий слушал до тех пор, пока шаги не удалились и не замерли за углом сарая. Тогда он почувствовал, что у него озябли ноги, и торопливо юркнул под одеяло.

— Что вы держите на чердаке? — поинтересовался Бонапарт на следующий вечер, ткнув пальцем на потолок и поясняя свой вопрос известными ему голландскими словами. Служанку тетушка Санни отпустила, и переводить его речь было некому.

— Кожи и мыло, — отвечала тетушка Санни, — пустые бутылки, ящики, мешки.

— А провизию — ну сахар, скажем? — Бонапарт Бленкинс показал сначала на сахарницу, а затем на потолок.

Тетушка Санни качнула головой.

— Только соль и сушеные персики.

— Персики?! — переспросил Бонапарт. — Закрой дверь, моя милочка. Закрой ее с той стороны, — крикнул он Эмм, оказавшейся в столовой. Перегнувшись всем телом через подлокотник и чуть не касаясь носом уха тетушки Санни, он показал жестами и мимикой, будто кладет что-то в рот. Видя, однако, что она ничего не понимает, он пояснил: — Вальдо, Вальдо. Ну Вальдо же, ам-ам! — и показал на потолок.

Только тогда тетушка Санни смутно уяснила себе, о чем речь. Для вящей убедительности он изобразил, будто лезет по лестнице, открывает дверь и что-то усердно жует, — проговорил: «Персики, персики, персики!» — и сделал вид, что спускается по лестнице.

Тут уж тетушка Санни, естественно, догадалась, что Вальдо был на чердаке и ел ее персики.

Чтобы объяснить, как он все это узнал, Бонапарт Бленкинс лег на софу и, плотно зажмурив глаза, произнес: «Ночь, ночь, ночь!» Затем он привстал, дико озираясь и внимательно вслушиваясь, вновь изобразил, как Вальдо спускается по стремянке, и поглядел на тетушку Санни. Ну, теперь-то она, конечно, поняла, как он подстерегал ночью вора!

— Вот дурак этот Вальдо, — сказала тетушка Санни, — их и не угрызешь, они, поди, твердые, как камень, и все червивые.

Не слушая ее, Бонапарт Бленкинс полез в карман брюк и вытащил из-под фалды сюртука аккуратно скатанную плетку из кожи носорога.

Он показал глазами на эту плетку, на входную дверь и подмигнул тетушке Санни.

— А? Позовем его? Вальдо, Вальдо-о-о, а?

Тетушка Санни кивнула и захихикала. Презабавно посмотреть, как мальчишке зададут трепку, хотя этих персиков ничуть не жаль. Когда служанка внесла лохань с водой для мытья ног, тетушка Санни послала ее за Вальдо. Бонапарт Бленкинс сложил плетку вдвое, спрятал ее в карман, приосанился и, напустив на себя важность, приготовился доказать, что он шутить не любит. Вальдо остановился в дверях и снял шляпу.

— Войди-ка, юноша, — сказал Бонапарт Бленкинс, — и закрой за собой дверь.

Вальдо вошел.

— Ничего страшного не случилось, дитя, — сказала тетушка Санни. — Сама была маленькой. Ну взял, так и признайся.

Бонапарт Бленкинс нашел это замечание несообразным с серьезностью драматического момента. Выпятив губы и взмахнув рукой, он торжественно провозгласил:

— Вальдо, меня без меры огорчает необходимость призывать тебя по такому прискорбному поводу, но долг не позволяет мне поступить иначе. Не стану утверждать, что искреннее и чистосердечное признание исключит необходимость наказания, хотя ты и можешь облегчить себе участь добровольным и смиренным покаянием. Вальдо, отвечай мне, как родному отцу: брал ли ты или не брал, ел ли ты или не ел персики на чердаке?

— Скажи, что брал, мальчик, — добродушно подсказывала тетушка Санни, ей вдруг стало жаль Вальдо. — Скажи, брал, и вся, мол, недолга. Тогда он побьет тебя не так сильно.

Мальчик медленно поднял глаза и уставился на нее отсутствующим взглядом, а потом вдруг краска залила ему лицо.

— Так тебе нечего сказать? — прорычал Бонапарт Бленкинс, на мгновение утратив чувство собственного достоинства и манеры. — Тогда я скажу тебе, что, когда какой-нибудь юнец тратит три четверти часа, чтобы набрать соли в банку, а в три часа ночи рыскает по чердаку, — естественно предположить, что в голове у него завелась

дурь. А если она там заводится, ее вышибают. — Бонапарт заглянул Вальдо в лицо и осклабился. Но тут же испугался, что эдак он испортит всю торжественность момента и сцена потеряет драматизм.

— Вальдо, — сказал он, — сию минуту и без всякой утайки признавайся, что ты ел персики.

Вальдо стоял белый как мел. Он смотрел себе под ноги, с упрямым видом сцепив пальцы рук.

— Ну-с, так намерен ты отвечать?

Вальдо метнул на него взгляд исподлобья и снова устал себе под ноги.

— Что за бес в него вселился! — вскричала тетушка Санни. — Ну скажи, что брал — и все тут. Все дети одинаковы. Я постарше твоего была, а таскала у матушки *bul-tongs* из кладовой да всю вину сваливала на чернокожих ребятишек, не самой же подставлять спину под розги. Скажи: брал, мол.

Но Вальдо молчал.

— Полагаю, недолгое одиночное заключение пойдет ему на пользу, — сказал Бонапарт Бленкинс. — У тебя будет возможность, отрок, поразмыслить о том чудовищном грехе, каковым ты запятнал себя. Вспомни, что ты обязан оказывать повиновение тем, кто старше и умнее тебя и чей долг направлять тебя и учить уму-разуму.

С этими словами Бонапарт поднялся и снял с гвоздя на стене ключ от чулана.

— Ступай, мой мальчик, — сказал Бонапарт, указывая на дверь. Идя вслед за Вальдо, он скривил рот, вытащил из кармана кончик плети и поиграл им.

Тетушке Санни было немного жаль Вальдо, но она не могла удержаться от смеха. Забавно смотреть, как кого-нибудь наказывают. Вреда от порки никакого. До свадьбы все заживет. Мало ли ее самое секли, и, слава богу, только на пользу пошло.

Зайдя в кухню, Бонапарт Бленкинс взял свечу со стола и велел мальчику идти вперед. Они подошли к чулану, небольшому каменному строению, примыкавшему к сараю, с низкой крышей и без окон. В одном углу был сложен кизяк, в другом стояла кофейная мельница, укрепленная на чурбаке фута в три высотой.

Бонапарт отпер висячий замок на грубо сколоченной двери.

— Прошу, — сказал он.

Вальдо угрюмо повиновался, ему было все равно! взаперти так взаперти.

Бонапарт пропустил его вперед, вошел следом и плотно прикрыл дверь.

Он поставил свечу на сложенный пирамидой кизяк, сунул руку в задний карман брюк и потянул оттуда веревку.

— Я очень-очень огорчен, Вальдо, мой мальчик, что ты ведешь себя так дурно. Мне больно за тебя, — сказал Бонапарт, заходя за спину Вальдо. Хотя тот и стоял не шевелясь, взгляд у него был такой грозный, что управляющий испугался за себя. Потихоньку вытащив веревку, он отступил к деревянному столбу. На конце веревки была петля. Бонапарт резким движением отвел руки Вальдо за спину, набросил на них петлю и затянул. Теперь оставалось только обмотать другой конец вокруг столба. Связав Вальдо, управляющий почувствовал себя в безопасности.

Мальчик рванулся, пытаясь освободиться. Но, поняв, что это невозможно, замер на месте.

— Брыкливым лошадям ноги стреножат, — изрек Бонапарт Бленкинс, для верности прихватывая веревкой и колени. — Ну-с, а теперь, мой дорогой Вальдо, — добавил он, — вынимая из кармана плетъ, — я тебе всыплю!

Бонапарт прислушался. Все было тихо. Так тихо, что они даже слышали дыхание друг друга.

— «Наказывай сына твоего, пока есть еще надежда на исправление, — сказал Бонапарт Бленкинс, — и да не смущается душа твоя его слезами». Так велел сам бог, доподлинные его слова. И я поступлю с тобой, как отец твой, Вальдо. Пожалуй, надо оголить тебе спину.

Он достал складной ножичек и распорол им рубашу Вальдо от воротника и до пояса.

— А теперь да обратит бог на пользу тебе то, что я сейчас сделаю.

Первый удар пришелся от плеча и вдоль спины. Второй по тому же месту. Мальчик содрогнулся всем телом.

— Что, хорошо, а? — спросил Бонапарт, заглядывая ему в лицо и шепелявя, точно обращаясь к грудному младенцу. — Приятно?

Глаза у Вальдо потемнели и потухли и, казалось, даже не замечали его. После шестнадцатого удара Бонапарт остановился, чтобы вытереть окровавленную плетъ.

— Что, холодно? Продрог? Может, тебе рубашечку натянуть? Ну, нет, я еще не кончил.

Хлестнув еще несколько раз, Бонапарт снова отер плетью и спрятал ее в карман. Затем перерезал веревку, которой был привязан Вальдо, и взял свечу.

— Похоже, ты язык проглотил. Разучился плакать? — сказал он и потрепал Вальдо по щеке.

Мальчик вскинул на него глаза. Во взгляде его был не гнев, не ярость, а дикий ужас. Бонапарт Бленкинс поспешно запер дверь и оставил Вальдо в темноте. Ему самому стало жутко от этого взгляда.

Занималась заря. Вальдо лежал, припав лицом к земле возле груды кизяка. В верхней части двери зияло небольшое отверстие — в этом месте выпал сучок, и сквозь отверстие пробивался серый предутренний свет.

Стало быть, ночь все-таки кончается!

Ничто не длится вечно. Как он забыл об этом! Всю эту долгую темную ночь он, не зная покоя, не чувствуя ни боли, ни усталости, метался из угла в угол, метался, не смея остановиться, без малейшей надежды, что этому наступит конец. Отчаяние его было так велико, что когда он стукнулся головой о каменную стену, то даже не ощутил силы удара. Страшная ночь! Ломая руки, Вальдо стонал: «О боже, господи возлюбленный, господи прекрасный, дай мне хоть раз, хоть один-единственный раз дай мне почувствовать сейчас, что ты со мной!» Он молился громко, почти кричал, но ответа ему не было. Он вслушивался, но не слышал ни звука, подобно пророкам Ваала, взывавшим некогда к своему богу: «Ваале, услышь нас! Ваале, услышь нас!» — а бог в это время охотился.

То была долгая безумная ночь, и безумные мысли рождала она; эти мысли навечно оставили след в душе Вальдо. Для нас не проходят бесследно не только годы, но и ночи, вместившие в себя мысли и страдания многих лет. И вот наконец рассвело, и только тогда Вальдо понял, как смертельно устал. Весь дрожа, он попытался плотнее запахнуться в распоротую на спине рубашу. Плечи ныли. Он даже не заметил, что изранил их в темноте. Вальдо взглянул на пепельно-серый луч рассвета, пробивавшийся сквозь глазок в двери, и содрогнулся. Потом прижался щекой к земле и заснул.

Несколько часов спустя у сарая появился Бонапарт Бленкинс с ломтем хлеба. Отперев дверь, он заглянул внутрь и лишь после этого решил войти. Увидев на полу неподвижную фигуру, Бонапарт потрогал ее носком башмака. Убедясь, что Вальдо дышит и, стало быть, жив, Бонапарт швырнул ему кусок. Затем нагнулся, расковырял ногтем подсохший рубец на спине и с интересом осмотрел плоды своих трудов. Придется самому пересчитывать овец, парень разделан в пух и прах. С этой мыслью Бонапарт вышел и запер за собой дверь.

— О, Линдал, — вся в слезах сказала Эмм, войдя в столовую. — Я умоляла Бонапарта выпустить его, но он и слушать не захотел.

— Напрасно ты его просишь, он все равно Вальдо не выпустит, только еще дольше продержит, — отозвалась Линдал. Она кроила на обеденном столе передники.

— О, но ведь уже поздно. Они его убьют! — прорыдала Эмм. Утешений не последовало, и она прибавила, всхлиывая: — Как ты можешь кроить передники, когда Вальдо сидит взаперти!

Какое-то время, может быть, минут десять после ее ухода, Линдал спокойно продолжала кроить. Затем сложила выкройки, скатала оставшийся материал в трубку и, стиснув кулачки, пошла в гостиную. Лицо у нее было багровым. Решительно толкнув дверь, Линдал вошла в гостиную и направилась к стене, на которой висел ключ от сарая. В гостиной сидели Бонапарт Бленкинс и тетушка Санни.

— Что тебе нужно? — спросили они в один голос.

— Вот это, — ответила она, снимая ключ с гвоздя и показывая его им.

— Почему вы позволили ей взять ключ? — спросила тетушка Санни по-голландски.

— Почему вы не остановили ее? — спросил Бонапарт Бленкинс по-английски.

— Отчего вы не отобрали у нее ключ? — спросила тетушка Санни.

Пока они пререкались на разных языках, Линдал, закусив губу, двинулась к сараю.

— Вальдо, — говорила она, помогая ему встать, — не вечно же мы будем маленькими; в один прекрасный

день и мы станем сильными! — И своими нежными губами она коснулась его обнаженного плеча. Как, чем еще могла она утешить его?

Глава XIII

FAIRE L'AMOUR ¹

— Четыре года живу в этом доме и никогда еще не была на чердаке, — сказала тетушка Санни своей служанке. — И пополюе меня женщины лазят по лестницам. Заберусь-ка я туда сегодня да наведу порядок. Принеси лестницу, а сама стань здесь, будешь ее поддерживать.

— Не упадите, а то кое-кто горевать будет, — промолвила служанка, показывая глазами на трубку Бонапарта, оставленную им на столе.

— Придержи язык, негодница! — приструнила ее тетушка Санни, с трудом сдерживая довольную улыбку. — Неси, что велено.

В потолке гостиной был люк, которым никогда не пользовались. Служанка приставила к стене лесенку, откинула дверку и, дождавшись, пока тетушка Санни с превеликими усилиями заберется на чердак, поспешила отнести лесенку в сарай, к своему мужу.

Тетушка Санни прошлась по чердаку, среди пустых бутылок и овчин, заглянула в мешок с сушеными персиками, которыми будто бы лакомился Вальдо, и присела у бочонка с солониной у самого люка. Ей показалось, что баранину нарезали слишком крупно, и, вынув складной нож, она стала разрезать каждый кусок на несколько частей.

— Вечная история, — ворчала тетушка Санни. — Ни в чем нельзя положиться на прислугу. Нет уж, если выйду я за Бонапарта и он получит наследство от своей богатой тетки, ни за что не стану огорчаться из-за какой-то там баранины... — И с блаженной улыбкой она погрузила руку в рассол.

Тем временем в гостиную вошла ее племянница, неотступно сопровождаемая управляющим. Склонив голову набок, он умильно улыбался. Окликни их в ту минуту тетушка Санни, и жизнь Бонапарта Бленкинса потекла бы,

¹ Ухаживание (франц.).

вероятно, по другому руслу. Но тетушка Санни молчала, не глядя на открытый люк.

— Садитесь, милочка,— сказал Бонапарт, подводя Трану к креслу хозяйки. Сам он сел напротив нее так близко, что едва не касался ее коленями.— Позвольте подложить вам под ножки грелочку... Ваша тетушка куда-то отлучилась. Давненько я жду такого благоприятного случая!

Трана, ни слова не понимавшая по-английски, сидя в кресле, размышляла, какие все же странные обычаи у этих чужеземцев. Пожилой господин садится так близко к девушке, что едва не задевает ее ногами... Она провела в обществе Бонапарта пять дней, побаивалась старика и приходила в ужас при виде его носа.

— Как долго мечтал я об этой минуте! — проговорил Бонапарт Бленкинс.— Но эта несносная особа, твоя пожилая родственница, как тень ходит за нами. Трана, посмотри на меня, ну не прячь же свои глазки!

Бонапарт Бленкинс знал, что девушка не понимает ни слова, но ведь на струнах любви играют взглядом, выражением лица, жестами, а вовсе не рассуждениями. Он отметил про себя, что Трана покраснела.

— Всю ночь,— продолжал он с жаром,— я лежал без сна, видя перед собой твой ангельский образ. Я стремился заключить тебя в объятья, но тебя не было со мной. Не было... — В пояснение своих слов он широко раскидывал руки и прижимал их к груди.

— О, пожалуйста, отпустите меня,— взмолилась Трана.— Я ничего не понимаю.

— Да, да,— сказал Бонапарт, откинувшись на спинку кресла к величайшему ее облегчению.— С того самого мига как *здесь*,— он приложил руки к сердцу,— запечатлелся твой аметистовый образ, нет предела моей муке. Словно раскаленные уголья, жжет она мою непорочную душу! — И он снова перегнулся к ней. «Господи боже,— подумала Трана,— какая же я, однако, глупая! Да у старичка, видно, живот болит, вот. Тети нет, вот он и пришел просить, чтобы я ему помогла».

Она сочувственно улыбнулась Бонапарту, встала и, обойдя его, направилась в спальню. Немного погодя она вернулась, в руках у нее был пузырек с красными каплями.

— Эти капли отлично помогают при расстройстве желудка,— сказала она, протягивая ему лекарство.— Моя мама всегда принимает их, когда нездорова,

Лицо тетушки Санни, взиравшей на эту картину из открытого люка, давно налилось багровым цветом. Тигрицей, готовой к прыжку, затаилась она на чердаке, сжав в руке баранью лопатку. Бонапарт Бленкинс стоял как раз под открытым люком; тетушка Санни выпрямилась и ухватила обеими руками бочонок с солониной.

— О роза пустыни, соловей забытой богом глуши, улади своим пением мои одинокие ночи! — вскричал Бонапарт, хватая ручку Траны. — Не сопротивляйся! Ланью трепетной устремись в эти объятия, и я...

В этот миг ему на голову обрушился водопад холодного рассола вперемежку с кусками грудинки. Полуослепленный Бонапарт поднял взор к потолку и сквозь нависшие на ресницах соленые капли увидел красный от гнева лик тетушки Санни. С воплем ужаса он пустился в бегство. В дверях его настигла пущенная ловкой рукой баранья лопатка; она угодила ему в самую поясницу.

— Лестницу! Принесите мне лестницу! Он от меня не уйдет! — кричала тетушка Санни.

В тот день, поздним вечером, Вальдо, стоя на коленях в своей хижине, промывал ранку на лапе у собаки: Досс напоролся на колючку. Раны на его собственной спине за пять дней почти зажили, и, если не считать некоторой скованности в движениях, в нем не заметно было никаких перемен. Юности не свойственно долго предаваться горю, пережитое в эту пору не оставляет зримых следов. Пораньте молодое деревце, зарубка скоро затянется корой; но вот дерево состарилось, — соскоблите кору и взгляните — след от зарубки остался. Не все то мертво, что погребено.

Вальдо примачивал Доссу теплым молоком припухшие подушечки на лапе. Тот лежал смирно, хотя глаза у него слезились. Тут раздался легкий стук в дверь. В тот же миг, насторожив уши, Досс встрепнулся. Маленькие глазки его мгновенно просохли.

— Войдите, — сказал Вальдо, не отрывая примочки от лапы собаки, и дверь медленно отворилась.

— Добрый вечер, милый друг Вальдо, — заговорил Бонапарт Бленкинс елеинным голосом, не решаясь, впрочем, просунуть в дверь голову. — Как ты поживаешь?

Досс зарычал, оскалил пасть и хотел было вскочить на ноги, но боль в лапе заставила его лечь.

— Я с ног валюсь от усталости, Вальдо, мой мальчик, — сказал Бонапарт жалобно.

Досс снова обнажил клыки. Его хозяин занимался своим делом, не оглядываясь на дверь... «Бывают же такие люди — даже смотреть противно!» — подумал Вальдо.

— Входите, — наконец выдавил он из себя.

Бонапарт Бленкинс осторожно вошел в комнату, не закрыв за собой двери. Заметив на столе ужин, он тихо проговорил:

— У меня за весь день во рту крошки не было. Я так голоден, Вальдо.

— Ешьте! — помолчав, бросил Вальдо и еще ниже наклонил голову.

— Ты ведь не скажешь ей, что я здесь, а? — дрожа от страха, произнес Бонапарт. — Ты слышал, как она со мной обошлась, Вальдо? Очень скверно, уверяю тебя. Из-за того, что я поговорил с леди, вылить на меня целую бочку рассола!.. Взгляни на меня, Вальдо! Можно ли в таком виде показаться на людях!

Мальчик не повернул головы в его сторону и не ответил. Бонапарт Бленкинс не на шутку струсил.

— Ты ведь не расскажешь ей, что я здесь, не так ли? — прохныкал он. — Подумать страшно, что она со мной сделает! Я так тебе верю, Вальдо. Я всегда считал, только не говорил тебе, что ты подаешь большие надежды.

— Ешьте, — успокоил его мальчик. — Ничего я ей не скажу.

Бонапарт хорошо знал, кому можно верить, он плотно закрыл дверь и задвинул ее на щеколду. Затем проверил, аккуратно ли опущена занавеска на оконце, и, присев к столу, принялся за холодное мясо и хлеб. Вальдо продолжал делать псу примочки, и тот благодарно лизал ему руки. Только раз мальчик посмотрел в сторону стола и тут же отвернулся.

— О, конечно, я понимаю, тебе неловко смотреть на меня, — сказал Бонапарт Бленкинс. — Да у кого бы не дрогнуло сердце при виде моего бедственного положения! Ведь рассол-то был с жиром, не диво, что ко мне вся пыль пристает, — пояснил он, притрагиваясь к затылку. — Видишь, как волосы свалились? Я принужден был ползком пробираться вдоль каменной ограды, опасаясь, как бы меня не заметили. Вот я и повязал голову красным носовым платком. Весь день я прятался в русле пересохшего ручья — sloot — так у вас говорят? И весь день без куска

хлеба. А эта особа меня еще ударила, вот сюда, — показал он на поясницу.

Когда он съел все, что было в тарелке, до последнего куска, Вальдо встал и пошел к двери.

— О Вальдо, мой дорогой мальчик, нет, ты не позовешь ее, нет!.. — вскрикнул Бонапарт, в смятении поднимаясь из-за стола.

— Я пойду ночевать в сарай, — сказал мальчик, открывая дверь.

— О, нам вполне хватит места на постели, смотри, сколько места. Пожалуйста, останься, ну пожалуйста!

Но Вальдо переступил через порог.

— Ты обиделся? Но ведь хлыстик-то был совсем *маленький*, Вальдо, — говорил Бонапарт, кивая за ним. — Я не думал, что тебе будет больно. Такой маленький хлыстик! И я уверен, что ты не трогал никаких персиков. Ты ведь идешь не затем, чтобы позвать ее, а, Вальдо?

Мальчик шагал не оборачиваясь.

Бонапарт остановился, подождал, пока его фигура не скроется за углом сарая, и тоже выскользнул в темноту. Он спрятался за угол, так чтобы видеть дверь сарая и дома. Бонапарт не сомневался, что мальчик пошел звать хозяйку, и у него зуб на зуб не попадал от страха. Вглядываясь в крошечную тьму, он рисовал себе картины одна другой страшней. А вдруг на него нападет змея либо какая-нибудь другая ужасная тварь, а вдруг, упаси бог, из могил восстанут мертвецы... Нет, нет, он ни за что не останется один в этой темноте. Прошел целый час, но не было слышно никаких шагов.

Немного успокоясь, Бонапарт Бленкинс направился обратно, в пристройку, покинутую мальчиком. Он запер дверь изнутри на щеколду и придвинул к двери стол. Потом дал собаке пинка, чтобы та не скулила, и забрался в постель. Свечу Бонапарт не стал тушить, потому что боялся привидений, усталость тут же взяла свое, и он заснул.

Вальдо спал между сиденьями крытого фургона. Рано утром, часа в четыре, его разбудило чье-то прикосновение. Приподнявшись, он увидел в окошке фургона Бонапарта Бленкинса. Тот стоял со свечой в руке.

— Я собираюсь в путь, мой дорогой мальчик, поэтому встал пораньше, пока не проснулись мои враги. Но я не мог уйти, не попрощавшись с тобой, — прошептал он.

Вальдо смотрел на него в упор.

— Всегда буду с любовью вспоминать тебя, — продолжал Бонапарт. — Там у тебя осталась старая шляпа. Если бы ты подарил мне ее на добрую память...

— Возьмите, — сказал Вальдо.

— Я знал, что ты так и скажешь, поэтому захватил ее с собой, — молвил Бонапарт Бленкинс, водружая шляпу на голову. — Да благословит тебя бог, мой милый. А нет ли у тебя нескольких шиллингов, какой-нибудь мелочишки?

— В разбитом горшке лежат два шиллинга. Возьмите.

— Да пребудет на тебе вечно благословение божие, дитя мое, — тихо проговорил Бонапарт. — Да наставит он тебя и спасет. Дай мне руку на прощание.

Вальдо скрестил руки на груди и лег на пол фургона.

— Прощай же! — сказал Бонапарт. — Да пребудет на тебе благословение бога моего и бога отца моего отныне и во веки веков.

С этими словами он отправился прочь, унося с собой свечу.

Лежа в фургоне, мальчик слышал осторожные шаги возле сарая, затем шаги стали удаляться в сторону дороги, становясь все глуше и глуше, пока не затихли совсем. И с тех пор никто больше не слышал шагов Бонапарта Бленкинса на старой ферме.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

И все это было как скверная шутка. И не известно, зачем было жить и трудиться. Страдания, дни дней множат страдания,— и все суета?

Глава I

БЫТИЕ

Вальдо лежал на песке лицом вниз. С тех пор, как он стонал, взывая к богу, запертый в темном сарае, прошло три года.

Сказано: и будет тот свет, и не отмеряется там время на месяцы и на годы. Но ведь и на этом свете то же самое. У духовной жизни и здесь свои времена года, свое летосчисление, не занесенное ни в какие календари, и бытие наше делится на периоды, не исчисляющиеся годами и месяцами. Они, эти периоды, отделены друг от друга с такой же четкостью, как и годы, определяемые вращением нашей планеты.

Чужому глазу такие отрезки в жизни человека не заметны, но каждый, оглядываясь на свое прошлое, видит, что жизнь его делится на этапы, границы же между ними — душевные потрясения.

Как нет двух одинаковых людей, так нет и двух одинаковых периодов в календаре души. Такое разделение на периоды неизбежно и в самой примитивной жизни; в этих периодах проявляется с полной силой духовное начало, и возможно иным, оглядывающимся назад, прошлое представляется так.

Младенчество. Из смутной дали полузабытых воспоминаний выплывают поразительно ясные, не связанные между собой, но ярко выписанные, точно живые, картины, неистребимо врезающиеся в память. Стирается многое из того, что было в более поздние годы, а эти картины детства запечатлеваются навечно.

Ласковый летний вечер. Мы сидим на ступеньках крыльца. Во рту у нас все еще вкус хлеба и молока, и красный солнечный закат купается в тазу с водой...

Или темная-темная ночь. Мы просыпаемся от страха. Нам чудится, будто в комнате некое чудовищно громадное существо; соскочив с постели, мы бросаемся искать защиты, и кто-то сильный утешает, успокаивает нас...

В нашей душе продолжает жить воспоминание о чувстве гордости, с которым, сидя высоко на чьих-то плечах, мы ездили смотреть маленьких поросят с завитками хвостов и крошечными рыльцами... Тогда мы еще не знали, как они появляются на свет. Или воспоминание о первом съеденном апельсине; или же воспоминание о том, как однажды утром мы побежали собирать капли росы и никак не могли схватить их, только пальцы становились мокрыми. Как мы ревели тогда, надув губы! А какое беспредельное отчаяние охватывало нас, когда нам случалось заблудиться где-то за краями, и мы уже не видели своего родного дома!..

Но всегда есть одна картина, врезавшаяся в память ярче всех других воспоминаний.

Гроза! Вся земля, сколько хватает глаз, покрыта белыми градинами. Но вот тучи расходятся и над головой снова разливается бескрайняя голубизна неба, а вдалеке повисает над белой землей радуга.

Мы стоим на подоконнике, овеваемые ласковой свежестью. И вдруг нами овладевает какое-то смутное, невыразимое в словах томление, какое-то непонятное желание. Мы еще так малы, что голова едва достает до четвертого снизу стекла оконной рамы. Мы смотрим на белую землю, и на радугу, и на голубое небо и жадно, томительно жаждем чего-то. И плачем так горько, словно у нас разбито сердце. И когда нас снимают с подоконника, мы не можем объяснить причину слез, но тут же успокаиваемся и бежим к своим игрушкам.

Нам год.

Но вот разрозненные еще картинки соединяются в единую цепочку. Нами еще управляет зримый мир, но духовное, умственное начало уже вступает в свои права.

В темную ночь, когда нам становится страшно, мы молимся, зажмурив глаза, мы давим пальцами на веки, и в глазах у нас начинают мелькать темные тени; мы уверены, что это — наши ангелы-хранители; мы видим, как они обходят нашу кровать. И это так утешительно.

Днем нас учат чтению, и мы расстраиваемся, потому что никак не можем взять в толк, отчего з-н-а-л должно означать «знал», а п-с-а-л-о-м — «псалом». А нам говорят, оттого, что так должно быть. Такое объяснение нас не удовлетворяет, и учение становится нам в тягость; куда лучше строить домики из камешков, мы строим их в свое удовольствие, и всегда знаем зачем.

Есть у нас и другие развлечения, гораздо более приятные, чем строительство домиков.

Каким восторгом переполняется наше сердце, когда среди унылой глади бурого песка нам случается набрести на один из тех белых, как воск, цветочков, что лежат, притаясь среди двух зеленых листьев! Мы долго не осмеливаемся коснуться их, но и удержаться свыше наших сил. И вот мы срываем цветок и наслаждаемся его ароматом, пока это наслаждение не достигает почти болезненной силы. А потом мы тихонько расщипываем зеленые листья, оставляя только шелковистые прожилки.

За холмиком — коппи — растет кустарник с мохнатыми бледно-зелеными листьями. Мы еще так малы, что он укрывает нас с головой. И мы сидим в его тени и прижимаем к губам пушистые листья, а они, словно живые, отвечают нам лаской.

И вот однажды, когда мы сидим, глядя то на небо, то на свои пухлые коленки, мы вдруг задаем себе вопрос: кто мы? Что оно значит — наше «я»? Мы пытаемся проникнуть в самих себя, но наша суть ускользает от нас. И тогда мы в великом страхе во всю прыть мчимся домой. Мы не можем объяснить, что именно нас так напугало. Но с того момента мы никогда не перестаем ощущать свое «я».

Время идет. Нам семь лет от роду. Мы уже выучились грамоте и читаем Библию. Больше всего нам нравится перечитывать, как Илия вошел в пещеру в горе Хорива и как было к нему тихое, точно шелест, слово.

В один памятный день, прячась среди камней, мы вдруг открываем для себя пятую главу от Матфея и прочитываем ее всю, от начала и до конца. Новое открытие, целые россыпи сокровищ. Мы хватаем книгу под мышку и устремляемся домой. Там, дома, не знают, что грех не дать просящему и от хотящего занять у тебя отвратиться, что грех не помириться с соперником, пока ты еще на пути с ним, что грех... Едва переводя дыхание, мы влетаем в комнату, чтобы сообщить им то, чего они не знают; есть такая глава, где говорится... Но эти старые, умудренные жизнью люди отвечают, что все это им давно известно. Наши слова они принимают снисходительно, как детский лепет. Но для нас-то это сама реальность. Мы уже не раз слышали десять заповедей, все эти: «Не... не... не...» И откровенно сказать, не задумываемся о них, но новизна только что прочитанного нами жжет душу. Начинается пора самоотречения. «Просящему у тебя дай...» Тележку, которую мы сами смастерили, мы отдаем маленьким туземцам. Мы не обижаемся, когда они швыряют в нас песком — блаженны милостивые. Мы ставим себе за завтраком чайную чашку с трещиной и из всех лепешек выбираем самую горелую. Мы не тратим деньги, которые нам дают, и, накопив три пенса, покупаем на них табак у служанке, которая бранит нас почем зря. Мы необычайно добродетельны, по ночам всей душой проникаемся религиозностью и даже в тиканье часов нам слышится: «Веч-ность, веч-ность... ад-ад-ад...» А тишина говорит нам о божестве и о грядущих временах...

Впрочем, кто-то сидящий у нас за спиной, кто — мы не знаем, задает нам порой коварные вопросы. Позднее мы поймем, кто это. А пока мы пристаем с расспросами к старшим, их ответы до поры до времени нас удовлетворяют. Старшие — люди умные, и они говорят нам, что бог создал ад по благодати своей, и если отправляет туда людей, то только по безмерной любви к ним. Не в его власти поступать иначе. И мы думаем, какие они умные, старшие, и верим им... более или менее.

Но вот наступают новые времена, когда искусительные вопросы заявляют о себе все властнее. Мы идем с ними к старшим, к взрослым, они отвечают, но нас больше не удовлетворяют их ответы.

Между нами и старым добрым миром, где господствовало только непосредственное чувство, встает мир духовный. Что нам теперь цветы? Только топливо для костра. Мы смотрим на стены родного дома, на — такие прозаичные — овечьи краали, озаренные веселыми бликами солнечного света, — смотрим и не видим. А видится нам величественный белый престол и господь, восседающий на престоле, и неисчислимое воинство его, и сладостно звучащие арфы. Ах, как белы ризы, омытые кровью агнца! Музыка воспаряет ввысь, и свод небесный полнится ее несказанной сладостью. И лишь время от времени, когда музыка затихает на сладчайшей ноте, нам слышатся стенания грешников, осужденных на адские муки. И холодная дрожь пробирает нас под жарким солнцем.

«Муки вечные, — учит Джереми Тэйлор, чьи проповеди отец читает нам на сон грядущий, — объемлют все те мучения, коим подвержено может быть тело человеческое со всеми его суставами, жилами, артериями; происходят они, сии муки, от всепроникающего истинного пламени, в сравнении с коим наш земной огонь жжет не сильнее, чем нарисованный. И можно ли уподобить горение в течение ста лет горению вечному, как сам господь бог?

Весь день мы размышляем об этой проповеди. Кто-то спрашивает нас, почему мы сидим повесив голову. Им и невдомек то, что открыто нам.

Один лишь миг, короткий шаг,
И мы сойдем в крошечный мрак
Иль вознесемся в рай...—

говорится в веслианском псалме¹, который мы поем каждый вечер. И что нам солнечный свет, и стены, и люди, и овцы?

То, что мы видим, преходяще, лишь невидимое вечно. Вот оно, единственно реальное.

С Библией мы не расстаемся, мы носим ее за пазухой, она наша пища, мы заучиваем наизусть целые страницы, —

¹ Веслианский псалом — псалом веслианской (методистской) церкви, основанной Джоном Весли.

и горько рыдаем, ибо дьявол не оставляет нас в покое ни под ярким солнцем, ни в тени, ни ранним утром, ни поздним вечером, ни в вельде, ни дома. Он представляется нам совершенно реальным существом. Медно-красное лицо, чуть склоненная набок голова, лоб весь наморщен, словно в мучительном раздумье, и, поверьте, легче снести три тяжелых болезни кряду, чем терпеть вечное его преследование. Он ведь не ведает жалости и не молчит. Что ему до того, что сердце истекает кровью? Он продолжает изводить нас своими вопросами, подкрадывается и нашептывает: «Неужто, сотворив ад, господь совершил благое дело? Почему он никого не хотел простить, пока Иисус Христос не положил за людей жизнь свою? Как можно это счесть проявлением милосердия?»

- И, поселив в нас сомнения, он отходит. Но через некоторое время возвращается.

«Любишь ли ты его? — вопрошает он и, немного подождя: — Любишь? Ведь иначе тебе нет спасения».

Мы отвечаем, что стремимся полюбить его.

«Любишь ты его или нет?» — требует он прямого ответа и снова удаляется.

И нет ему дела до того, что мы с ума сходим от страха перед собственной нечестивостью. Он продолжает задавать свои вопросы, дьявол-искуситель. Мы томимся желанием разделить с кем-нибудь свое горе. Мы еще не знаем, что из кувшина страдания нельзя пить двоим одновременно, и у каждого из нас свой кувшин.

В один прекрасный день мы пытаемся поделиться сомнениями. И некто мудрый, укоризненно покачивая головой, говорит, что это грех, большой грех, так думать. Бог добр, очень добр, а мы нечестивы. Вот и все.

Мы нечестивы, грешники! О господи! Да разве мы сами не знали? Сознание безмерной нечестивости иссушает наши юные сердца, превращая нашу жизнь в некое подобие мусорной ямы.

Нечестивцы? Знаем! Недостойны жить, недостойны умереть, недостойны ползать по этой божьей земле и общаться с людьми верующими. Ад — вот единственное место для того, кто ненавидит своего господа, а нам туда не хочется.

Иных утешений от старших мы не получаем.

И тогда мы снова ищем утешения. С удивлением взирают на нас большие глаза, и милые губы говорят:

«Если тебе так тяжело думать обо всем этом, зачем ты мучаешь себя? Забуди!»

Забудь! Мы отворачиваемся и замыкаемся в себе. Забыть и не думать? О боже! Как они не понимают, что наш материальный мир не более как пелена, сквозь которую просвечивает грозный господний мир — мир духовный! И мы больше не лезем со своими излияниями к другим.

Однажды ясная лунная ночь застает нас на подоконнике, все спят, а мы читаем при лунном свете главу из книги пророков, вещающую о том, что избранный богом народ спасен будет язычниками. Тут бы и отвязаться от нас лукавому, но он шепчет над ухом:

«А справедливо ли, что один народ возвышен богом над другими? Он отец всего сущего, и мы должны быть ему равно дороги».

Что мы можем ответить! Так спокойно было у нас на душе до его появления. Мы прижимаемся лицом к страницам книги и орошаем их слезами. А потом кладем обе руки на затылок и молимся, стиснув зубы. Ах, если б из окружающего нас мира духовного, столь реального, но столь безмолвного, донеслось хоть одно слово, слово, которое указало бы нам путь. Но нет, мы остаемся наедине с дьяволом. И мы хватаем книгу, вертим ее в руках и говорим себе, задыхаясь:

«Вот он, голос бога! Надо только уметь его слышать».

Мы жаждем получить знак от неумолимого безмолвного творца.

Мы раскрываем книгу наугад и, склонясь, читаем при лунном свете. Мы трепещем. Ответ таков:

«Потом, чрез четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и Тита».

Наше воображение ухватывается за эти строки, мы переворачиваем их так и эдак, пытаюсь уловить аллегорический смысл. Четырнадцать лет — это четырнадцать месяцев; Павел — это мы сами, а Варнава — дьявол, а Тит, это... И тут мы проникаемся неожиданным отвращением к себе. Мы лжецы и лицемеры, мы пытаемся обмануть самих себя. Что нам до Павла и до Иерусалима? Кто такие Варнава и Тит? Мы их не знаем. Не помня себя, мы хватаем Библию и с размаху швыряем ее изо всех сил в дальний угол. И, уронив голову на подоконник, плачем. Невинная юность, — есть ли на свете слезы горше твоих? Словно капли крови, струятся они из-под твоих век, и нет ничего, что может сравниться с

этими слезами. Обессилен от рыданий, мы затихаем и вдруг случайно задеваем оконную раму. Непрочно державшееся разбитое стекло вылетает. Разгоряченное, опухшее от слез лицо овеивает ночная прохлада. Мы поднимаем голову и опухшими глазами долго-долго любуемся спящим миром, и ветерок ласкает нас своей свежестью, подобно нежному дыханию божества. На нас нисходит глубокое умиротворение, покой, слезы теперь текут легко и беспечно. О, неизреченная радость! Наконец-то мы обрели то, что искали: примирение с богом, сознание прощенного греха. Долой сомнения, в нашей душе говорит глас божий, нас осенила благодать! Бог здесь, мы чувствуем его. О Иисусе, эта дивная радость — твой дар! Мы прижимаем руки к груди и поднимаем глаза к небу в благодарном обожании. Душу волнами заливают блаженство, примирение с богом. «Сознание прощенного греха», — так говорят методисты и другие проповедники; но все остальные люди презрительно выпячивают губы и с улыбкой проходят мимо. «Лицемеры!»

На свете куда больше глупцов и куда меньше лицемеров, чем принято думать. Лицемеры такая же редкость, как айсберги в тропиках, зато глупцы так же многочисленны, как лютики на лугу. Куда ни пойдешь, непременно на них наткнешься. Страшно даже посмотреть в воду на свое отражение — а вдруг рядом стоит один из них. Нет такой затасканной фразы, которая не содержала бы некогда живого смысла, она всегда носит отпечаток чьего-то физического или душевного состояния.

После долгих дней и ночей, проведенных в диком ужасе, в сверхъестественном желании умиловить силы небесные, наполненных мучительным волнением, разливающимся жгучим пламенем по всем нервам и жилам, наступает время, когда природа берет свое и сжатая пружина распрямляется. Измученные, мы падаем наземь, и на нас нисходит болезненно-сладостное успокоение.

«Я развеял грехи твои, как дым, как тучу, рассеял прегрешения твои и навеки изгладил их из памяти». И мы плачем, умиротворенные, плачем слезами тихой радости.

Не всем дано испытать подобное, хотя многие и приговариваются, будто испытали. Сущность слов «примирение с богом, сознание прощенного греха» выражает определенную реакцию духа и тела. Но понять это могут лишь те, кто испытал их правоту на себе.

Мы же в ту лунную ночь, положив голову на подоконник, радостно восклицаем: «О боже, мы счастливы, счастливы! Отныне мы твой чада! Благодарим тебя, господи». И засыпаем.

А наутро мы целуем Библию. Отныне и навеки мы дети бога. И мы отправляемся трудиться, и мы счастливы весь день, счастливы всю ночь. Но на следующий день мы чувствуем себя уже не такими счастливыми, совсем не такими, а ночью дьявол подступает к нам с вопросом: «Где же он, твой Святой Дух?»

И мы не можем ответить.

Идет месяц за месяцем, сменяется лето зимой, и все остается по-старому: мы читаем, молимся, плачем и молимся. Нам говорят, что мы поглупели. Мы сами это знаем. Мы забываем даже с таким трудом заученную таблицу умножения. Вещественный мир отступает от нас все дальше и дальше. Истинно, в нас нет любви ко всему сущему. Печаль не оставляет нас и во сне. Мы просыпаемся среди ночи, сидим в постели и горько плачем или одеваемся, ломая руки, бродим по двору в лунном свете, и сами не помним, как мы там очутились! Так проходят два года — по принятому у людей летосчислению.

V

И приходит новое время.

Перед нами три выхода — сойти с ума, умереть, заснуть.

Мы выбираем последний, точнее, природа делает выбор за нас,

Все живое ищет отдохновения во сне: звери, птицы, даже цветы смежают глаза, а речные потоки замирают зимой. Все отдыхает, отчего же не отдохнуть и нашему разуму. И дьявол-искуситель засыпает в нас, и нам грезится прекрасный сон. Более прекрасный, чем все сны, которые видят люди, И вот что нам снится.

В самом центре мироздания — Великое Сердце. Оно, это сердце, породило все живое и полно трепетной любви, нет смерти для его любимых букашек, нет ада для любимых им людей, ни геенны огненной для любимого им мира — его собственного мира, мира Сердца, им же призванного к жизни. Все будет прекрасно, в конце концов. Только не спрашивайте, примирим ли этот сон с реальностью. В том-то и состоит величие снов, что они отменяют реаль-

ность, создавая свой собственный мир. Довольно и того, что сны спасают нас от безумия.

А потом случается нечто особенно сладостное.

Когда всепоглощающая любовь Великого Сердца достигает такой силы, что уже не знает, как себя выразить, Сердце становится Розой Небесной, становится богочеловеком.

О Иисусе! О Иисусе наших грез! Как мы любили тебя! Даже Библия не сказала бы о тебе и половину того, что мы знали. Твоя ласковая десница крепко держала нас за руки, твой упоительный голос неустанно повторял: «Я здесь, мой любимый, я рядом; обними меня и не отпускай».

В те дни Христос был во всем. Когда мы гнали стадо домой и у ягненка подкашивались слабые ноги, мы несли его на руках, прижимая его голову к щеке. Ведь это Его агнец! И нам чудилось, будто с нами и сам сын человеческий.

Когда мы видели пьяного туземца, валявшегося у дороги на солнцепеке, мы прикрывали ему одеялом голову и укрывали от зноя его тело зелеными листьями. Ибо это Его туземец, и да не опалит спящего солнце.

Вечерами, когда тучи расходились, открывая небо, и сквозь разрыв, как в отверстые врата, струились багряные лучи, — мы плакали. Ибо Он явится к нам, увенчанный подобным же великолепием, — и наши руки, стремящиеся коснуться Его, обнимут Его. «Отверзните, врата, распахнитесь, двери вечности, пропустите Царя нашего во всей его славе!»

Багряные цветы, маленькие багряные цветочки, — это глаза Его, вззирающие на нас. Мы касаемся их губами и, преклонив колена, любимся ими. И возрадуются дикая пустошь и этот заброшенный уголок, и расцветет пустыня, подобно розе!

На глазах у нас навертываются слезы умиления, восторга, — и если в это время бедный, полуживой дьяволискуситель поднимет голову и посмотрит на нас сонными глазами, мы лишь посмеемся над ним. Не его теперь час.

«А если все-таки ад существует? — бормочет он. — Тогда, стало быть, ваш бог жесток, бессердечен? А может быть, и вообще нет никакого бога, может быть, это только игра вашего воображения? Тогда что?»

Мы смеемся ему в глаза. Человек греется в лучах солнца, не глупо ли требовать от него доказательств, что солнце

существует? Он чувствует, и этого достаточно! И мы чувствуем. Нет необходимости доказывать, ибо бог существует. Мы чувствуем его, мы чувствуем, и все тут!

Мы верим в бога не потому, что так учит Библия. Мы верим Библии, потому что она — Его голос. Мы его чувствуем, ощущаем, и все!

Бедный растерянный дьявол лепечет:

«А если придет день, когда вы перестанете чувствовать?..»

Мы смеемся и кричим ему, поверженному:

«Никогда, никогда не придет такой день».

И несчастный дьявол, поджав хвост, уползает прочь. Трудно противостоять настойчиво повторяемым утверждениям, исполненным такой яростной веры. Только время, одно время способно отделить правду от лжи. И мы продолжаем грезить.

Наступает день, и отец берет нас с собой в город, в церковь. Женщины, шелестящие шелками, и мужчины в гладких суконных парах усаживаются на церковные скамьи, и солнце сквозь окна освещает искусственные цветы на шляпках дам. И нас охватывает такое же неприятное чувство, какое мы испытывали в магазине среди разодетых приказчиков. Мы жалеем, что отец взял нас с собой в город, а не оставил дома. А потом священник на кафедре начинает проповедовать. «Проклят, кто не верует», — начинает он.

Накануне у них в городе умер на улице, пораженный ударом молнии, безбожник, письмоводитель городского суда.

Человек на кафедре не называет имени, по пускается в рассуждения о «деснице господней, явившей нам знак свой». Он рассказывает нам, что, когда стрела, огонь белый, опустилась, лишенная своей земной оболочки душа понеслась к подножию престола Божия; на нее обрушился гнев Господа Всемогущего, бытие коего она отрицала; и трепещущая от ужаса, отлетела она в царство вечного мрака.

Слушая это, мы беспокойно ерзаем на месте, кровь стучит у нас в висках. Он лжет! Он лжет! Он лжет! Этот мужчина на кафедре лжет! Почему никто его не остановит? Неужели никто не слышал, неужели никто не знает, что бедная печальная душа, смежив очи на земле, раскрывает их в благодном свете небес? Что гнев спит перед лицом господя? Что тот, кто приблизится к подножию престола божьего, обретет вечный покой, подобный тихой свежести

раннего утра? Когда безбожник простерт в страхе и удивлении, бог склоняется над ним и говорит: «Дитя мое, я здесь. Я, которого ты не знал; я, в которого ты не верил, я здесь. Я послал за тобой гонца своего, молнию, огонь белей, дабы призвать тебя домой, я здесь».

Тогда бедная душа обратится к свету и поборет свои немощи и боль.

Неужели они не знают, неужели не слышали, кто правит миром?

Мы бормочем себе под нос все это, покуда кто-то не дергает нас яростно за руку, чтобы напомнить, что мы в церкви. Но, занятые своими мыслями, мы ничего не замечаем.

Настает время молитвы.

Шестьсот душ возносятся в едином порыве к вечному свету.

За нами сидят две прелестные прихожанки, одна тихонько протягивает другой флакон с духами, мать поправляет платице на своей дочери. Дама роняет носовой платок, господин подымает его. Она краснеет. Женщины из церковного хора тихо переворачивают страницы своих книжечек с нотами, готовясь подхватить последние слова псалма. Пение, видимо, занимает их больше, нежели мысли о предвечном Отце. Ах, не лучше ли сидеть в одиночестве среди пустынного вельда и касаться губами багряного цветка, сотворенного им? Все это похоже на издевательство. «Что ты здесь, Илия?» Мы судим, но чем мы лучше того, над кем взялись вершить суд? Мы хуже. Лепетать: «Я еще ребенок, и меня сюда привели», — лишь никчемная отговорка. Кому позволит бог стать между ним и духом, им же созданным? Зачем мы здесь, где что ни слово, то ложь, оскорбляющая отца предвечного? Охваченные омерзением, мы поворачиваемся и выбегаем на улицу. Там мы сердито топаем ногами и клянемся никогда не переступать порог дома, где молятся и поют псалмы.

Потом нас допрашивают, почему мы ушли из церкви. Не в силах ничего объяснить, мы стоим и молчим. Но от нас требуют ответа, настаивают, и мы вынуждены что-то говорить. Взрослые укоризненно качают головой. Ну кому может прийти в голову, что ходить в храм божий дурно? Пустые слова! Когда наконец мы всерьез подумаем о спасении своей души и станем охотно ходить в церковь? Мы испорчены, испорчены до мозга костей... Выслушав все это, мы убегаем, чтобы выплакаться в одиночестве. Неужели

всегда так будет? Ненавидишь, сомневаешься или веришь и любишь, — ты всегда грешен в глазах самых близких тебе людей.

Мы еще не постигли, что душа в своих доисках истины огорчается, когда ее стремления не ограничиваются сферой духовной. Рано или поздно они, эти стремления, выражаются в поступках. И тогда они становятся между нами и тем, что мы любим. Ничто на свете не дается даром, и дороже всего нам обходится истина. Обретая ее, мы теряем любовь и расположение окружающих. Путь к славе усеян терниями. На пути же к истине приходится на каждом шагу попирать собственное сердце.

VI

Затем наконец следует миг пробуждения, как обычно, краткий и неприятный.

Видения сопровождают лишь никем не прерываемый сон.

А жизнь зажимает нас между большим и указательным пальцем и немилосердно встряхивает — так что наша голова едва удерживается на плечах, затем она снова ставит нас на землю и мы, удрученные и измученные, смотрим на мир необычайно широко раскрытыми глазами.

Мы говорили, погруженные в грезы: «Несправедливость и зло — призрачны, страдание — иллюзия. Реален единственный бог. Он творец всего сущего. Он — любовь».

Но жизнь берет нас за шиворот и велит: «Смотри!» И мы видим свежие могилы в тучах бурого песка, в глазах некогда любимых нами уже копошатся черви; холеные и откормленные, разгуливают преуспевающие подлецы, мы видим всю эту ужасную суматоху, именуемую жизнью, а она еще спрашивает: «Что ты на это скажешь?» И мы не смеем ответить: «Ничего». Слишком все это реально. Но мы лихорадочно ищем, оцупью ищем то, что еще недавно было здесь, рядом. Темной ночью, запертые в сарае, мы взываем к прекрасному богу наших грез: «О дай приблизиться к тебе, прильнуть к стопам твоим. Не покидай нас в тот час, когда ты больше всего нам нужен». Но его нет. Он ушел, уступив место дьяволу-искусителю.

Рано или поздно должно было наступить пробуждение. Воображение не может вечно торжествовать над действи-

тельностью, желание — над истиной. И вот наступило пробуждение. Может быть, чересчур резкое, что поде-лаешь? Зато мы пробудились окончательно.

VII

Начинается новая жизнь, жизнь холодная, словно на вершине ослепительно сверкающей ледяной горы. Прош-лое кажется долгим горячечным бредом, от настоящего же веет лишь холодом.

Нет у нас больше бога. Прежде было два: старый бог, унаследованный нами от отцов, которого мы никогда не любили, и новый, которого мы сотворили для самих себя; но теперь бог покинул нас, и мы поняли, что он был толь-ко тенью нашего высшего идеала, тенью, нами же увен-чанной и возведенной на престол. Нет у нас больше бога.

«И сказал безумец в сердце своем: нет бога». Может быть, это и верно. Глупцам принадлежит множество из-речений.

Несомненно одно: тот, кто полагает: «Никто не сказал в сердце своем: нет бога», — глупец.

Тысячи людей говорили это в своем сердце с глубокой горечью, присущей искренней вере.

Мы больше не льем слез, не рыдаем. Холодным взгля-дом смотрим мы на мир. Нельзя сказать, что мы несчаст-ны. Мы спокойно едим, пьем и спим по ночам. Но в душе у нас мертвящий холод.

И мы выговариваем медленно, без вздохов сожаления: «Да, теперь мы видим: бога нет».

И добавляем еще равнодушнее: «Нет и справедливости». Вол падает под ударами хозяйского кнута. Он обращает глаза, полные муки, к солнцу, но нет ему обещанного воздаяния. Чернокожего раба убивают как собаку, и нет отмщения убийце. Невинные становятся жертвами кле-веты, а клеветник торжествует. Только расцарапайте внеш-нюю оболочку, — и вы сразу же увидите живое чувст-вующее существо, изнемогающее в муках.

И мы добавляем, и наши сердца холоднее мертвых сер-дец: «Миром правит слепой случай».

Не в один день освобождаются от того, что впитали с молоком матери. С младенческих лет внушали нам, что движения души, образование дождевых туч, количество шерсти на спинах овец, продолжительность засухи и уро-

жайность хлебов зависят не от непреложного закона развития, управляющего миром, но единственно от меняющейся воли изменчивого существа, воли, на которую мы можем воздействовать своими молитвами. С самого начала природа представлялась нам некоей податливой субстанцией, которая меняется в зависимости от того, насколько человек сумел убогатить бога. Все от бога: ходил ли он в храм или нет, вознес ли молитву от души или нет, отдыхал ли в воскресные дни или нет. Да и возможно ли за один миг увидеть Природу такой, как она есть, — развевающимся покровом реальности? Вырвавшись из лап религиозных предрассудков, душа человека долго еще хранит следы когтей, и время не за один день уврачуеет раны.

С той минуты, как мы утрачиваем веру в божественного наставника и пастыря, которого воображали себе в человеческом облики, — жизнь рисуется нашему недоуменному холодному взгляду бесцельной и беспредельной чередой приливов и отливов, и во всем этом хаосе мы не видим места, величиной хотя бы с ладонь, на которое можно бы ступить.

Верит ли человек в бога по образу и подобию своему или нет, не суть важно. Всякий раз, вглядываясь в нравственный и вещественный мир, он не видит связи между причиной и следствием, не видит строгого порядка, а только игру слепого случая. В нашем духовном существовании нет ничего более достоверного. Пожалуй, было бы милосердным поступком перерезать ему глотку, если бы он сам не губил себя.

Мы, однако, не перережем себе глотки. Самоубийство предполагает сильные чувства и желания, а у нас ни чувств, ни желаний, есть лишь холодное безразличие. Жить нам не хочется, но и умирать мы не спешим. Однажды вокруг тела служанки на нашей ферме обвивается змея. Мы хватаем змею и, раскрутив в воздухе, с силой ударяем головой оземь — змея мертва. Нас дарят восторженными взглядами, а мы готовы смеяться. Велика ли заслуга рисковать тем, чем не дорожишь! А мы и в самом деле ничем не дорожим. Нам глубоко безразличен этот грязный суматошный мирок и эта голубая тряпица, именуемая небом, которая висит у нас над головой так низко, что только протяни руку — и достанешь!

Существование — гигантский котел, и старухе Судьбе, помешивающей в нем варево, плевать, что всплывет, что уйдет на дно, она лишь посмеивается, когда лопаются

пузыри. И нам плевать, пусть себе кипит, нам-то какая забота? И, однако, мы не можем подавить в себе физические ощущения. Голод мучителен, жажда мучительна, поэтому мы едим и пьем; бездействие невыносимо, поэтому мы трудимся, как рабы на галерах. Без всякого принуждения, по своей доброй воле, мы начинаем возводить большую запруду на красноватой земле, за могилами. В серых предрассветных сумерках, когда овец еще не выгоняли из загонов, — мы уже на ногах. И весь день напролет, не замечая палящего зноя, мы трудимся, предоставив молодых страусов самим себе. Люди удивляются нашему усердию! Им невдомек, что речь идет о нашей жизни. Мы перетаскиваем громадные камни и испытываем удовлетворение, шатаясь под их тяжестью и чувствуя внезапную боль в груди. Даже обед мы съедаем на ходу, таская корзины с землей так быстро, будто нас подгоняет сам дьявол. Слуги-туземцы уже сочинили легенду о том, что по ночам нам помогает ведьма-колдунья с двумя белыми волками. Ибо, говорят они, одному человеку не под силу за несколько дней соорудить такую насыпь.

По ночам, сидя в своей каморке, возле горящего очага, мы уже не предаемся бесплодным размышлениям. Внутри нас пустота. Мы тянемся за старым учебником арифметики и за несколько часов заучиваем на всю жизнь таблицу умножения, которую некогда штудировали с такими муками. Мы находим неведомое ранее удовольствие в решении арифметических задач, и иногда, отрываясь от постройки запруды, покрываем камни столбцами цифр. Мы копим деньги на латинскую грамматику и учебник алгебры, а купив, — не расстаемся с ними и зачитываемся, как некогда Священным писанием. Мы-то думали, что совершенно неспособны к наукам, что у нас дырявая память. А все дается нам с необыкновенной легкостью. В изумлении мы забываем, что экстаз и молитвы иссушали наш мозг.

Каждый раз, когда вы проливаете слезу, создаете прекрасный образ или трепещете в волнении, — вы истощаете силы своего ума. А сил этих вам отпущено в обрез; когда один канал полон, другой — пуст. И тогда мы обращаемся к природе. Все эти годы мы жили с ней рядом и не видели ее. А теперь посмотрим, широко открыв глаза.

Валуны издали представлялись нам лишь коричневыми пятнами на земле. Склоняясь над ними, мы замечаем, что и в них отражается многоцветность, многоликость,

тщательная организованность бытия. Вот скопления кристаллов всех цветов радуги, наполовину сплавленных, вот аккуратно чередующиеся слои ровного серого и красного цвета; этот валун покрыт серебристыми прожилками, напоминающими своим рисунком листья и ветки. А плоский камень, на котором мы так часто сидели, молясь и плача, оказывается, хранит отпечатки следов гигантских ископаемых птиц и прекрасного рыбьего скелета. Сколько раз мы пытались мысленно нарисовать себе, как они выглядят, эти допотопные существа, и все это время сидели на них! Мы были до такой степени ослеплены собственными мыслями и чувствами, что не видели окружающего мира.

Плоская красноватая равнина удручала нас своим однообразием. Но теперь мы видим жизнь в каждой горсти песка. Мы знакомимся с этим удивительным народцем — муравьями, как они воюют и мирятся, как веселятся и трудятся и возводят свои величественные дворцы; мы интересуемся крошечными существами, что живут в цветах. Цветок битто всегда казался нам просто желтым пятном, теперь мы различаем, что его соцветия состоят из сотен прекрасных цветов, и каждый из них — обиталище крохотных черных, с красной полоской тварей, снующих по улицам своего маленького желтого города. И каждый колокольчик — чей-то дом. Каждый день полупустынное плато — карру, открывает нам новые чудеса. По пути на работу мы вдруг останавливаемся посмотреть, как паук-землекоп роет ямку-ловушку, зарывается в песок и подстерегает свою добычу. Вот ползет рогатый жук, а перед ним открывается нечто похожее на створку дверцы. Из-за нее осторожно выглядывает паук. На кусте карру зеленая муха откладывает серебряные яички. Мы относим их домой и наблюдаем, как лопаются оболочки, как появляются пятнистые личинки, как они превращаются в зеленых мушек и улетают. Мы не довольствуемся тем, что природа показывает нам, и стараемся проникнуть в ее тайны. Под белую насадку мы кладем дюжину яиц и, разбивая по одному в день, смотрим, как белая восковая точка превращается в цыпленка. Мы не очень взволнованы и не испытываем большого воодушевления. Но человеку, не желающему перерезать себе горло, нужно занять свои мысли. Все равно чем, но занять. Мы сеем рядами семена на нашей запруде и, выкапывая их по одному, следим за их прорастанием. Аладдин закопал свой волшебный камень, и из земли вырос золотой чертог. Но

куда ему до нас! Мы кладем в землю коричневое семечко, и из него появляется росток, живой росток, устремляющийся вверх; отчего — мы, как и Аладдин, не можем сказать. Росток превращается в высокое, выше наших голов растение, сверкающее по утрам каплями росы, усыпанное желтыми цветами, роняющее коричневые семена с крохотными зародышами будущей жизни. Мы с торжественным видом наблюдаем, как растет живое растение — от начала, когда мягкий белый корешок выпускает из земли стебелек с двумя зелеными листочками, и до тех пор, пока нам не приходится задирать голову, чтобы взглянуть на его верхушку. Но причин этого роста мы не знаем.

Мы хотим знать, что внутри у барашка или утки. Вечером мы утаскиваем к себе околевшее животное или птицу и расстилаем на полу газеты. С изумлением, близким к иступленному восторгу, мы вскрываем комок плоти, называемый сердцем, и находим внутри крохотные клапаны и жилки. Мы ощупываем их и откладываем сердце в сторону. Но и отложив, не забываем. То и дело мы обращаемся к нему, пытаюсь увидеть нечто ускользнувшее от глаз, пощупать снова и снова. Почему — мы и сами не знаем.

В заводи у запруды мы находим мертвого гуся. Мы вытаскиваем его, тут же, на берегу, анатомируем, а потом, стоя на коленях, рассматриваем внутренности. Сверху — органы, разделенные тончайшими пленочками. Внизу — кишки, искусно скрученные спиралью, все они покрыты сетью тончайших кровеносных сосудов, алеющих на нежно-голубом фоне. Каждая ветвь разветвляется, в свой черед, на более тонкие, с волосок, удивительно симметричные веточки. Нас поражает неповторимая красота этого зрелища! Тогда мы вспоминаем — и даже садимся удобнее, чтобы поразмыслить, — что точно так же выглядит терновник на фоне бледного зимнего неба, точно так же выглядят и прожилки на камне; точно такой же формы протоки образует и вода, когда мы выпускаем ее из запруды. Не таковы ли и щупальца у жука-рогача? Чем порождено такое глубокое сходство? Случайное ли это совпадение? Или все это ветви общего ствола, питающего нас всех своими соками? Тогда это было бы объяснимо. Мы склоняемся над гусем.

Что такое жизнь? Должно быть, это нечто уходящее корнями в темную глубину и возносящее свои ветви в необъятную высь, которую мы просто не можем видеть? Не

случайное сплетение, а живое существо, *индивидуум*. Эта мысль доставляет нам особенно глубокое удовлетворение, сами не знаем почему.

Мы снова склоняемся над птицей. Потом вдруг вскакиваем, смотрим на голубое небо, бросаем гуся в пруд и принимаемся за прерванную работу.

Вот так постепенно, земля, шар наш земной, перестает казаться нам хаотическим нагромождением. Мы вступаем в великие чертоги бытия, почтительно взирая на все окружающее. Здесь все достойно внимания, исполнено глубокого смысла. Здесь нет мелочей, ибо все вместе составляет единое целое, ни начало, ни конец которого нам неизвестны. В наших жилах пульсирует та же жизнь, что и во вселенной. Эта жизнь, может быть, слишком велика для нашего понимания, но, конечно, отнюдь не мала.

И вот наконец небо, поначалу казавшееся нам голубым доскутом, висящим так низко, что протяни руку — и достанешь, поражает нас высотой своих голубых сводов, и мы начинаем жить сызнова.

Глава II

ВАЛЬДО И НЕЗНАКОМЕЦ

Вальдо лежал, растянувшись на красном песке. Страусята мирно паслись рядом, поклевывая накрошенный для них корм и щипля сухую траву. Справа виднелись могилы, слева высилась запруда. Вальдо покрывал затейливой резьбой деревянный брус. Досс нежился тут же, на теплом зимнем солнце, время от времени поглядывая на ближайший загон для страусов. Низкорослый терновник, под которым они устроились, совсем не давал тени, но в ней и нет нужды в чудесные июньские дни, когда даже полуденное солнце не жжет, а ласкает. Увлеченный работой Вальдо не поднимал глаз и все-таки умудрялся видеть бурую дремлющую землю и безмятежную синь у себя над головой.

Немного времени спустя в углу загона, куда все поглядывал Досс, показалась Эмм. В одной руке она несла накрытую крышкой миску, в другой — закупоренный кувшин с узким горлом. Эмм выглядела много старше своих шестнадцати лет — такая маленькая толстененькая дамочка.

И уж совсем по-старушечьи она отдувалась, когда поставила миску и кувшин на землю и тяжело опустилась рядом с собакой и ее хозяином.

— Вальдо, по дороге сюда я встретила человека верхом. Я думаю, это и есть тот самый, кого мы ждем.

Ждали какого-то англичанина, которому тетушка Сани сдала в аренду половину фермы.

— Гм! — сказал Вальдо.

— Молоденький совсем, — сказала Эмм, держась за бок, — шатен, борода курчавая, а глаза синие-синие. Я так смутилась, Вальдо. Понимаешь, я обернулась, ну просто чтобы посмотреть, и он обернулся, и мы встретились взглядами. Он покраснел, и я залилась краской. Я уверена, что это он и есть.

— Наверно, — сказал Вальдо.

— Я побегу. Может быть, он привез письма от Линдал? Она вряд ли останется в школе, ты же знаешь: вот-вот вернется. А этот человек, пока ему не построят дом, от нас не съедет. Мне еще надо ему комнату приготовить. До свидания! — сказала Эмм и засеменила прочь.

Вальдо продолжал свою работу. Досс подвинулся носом поближе к накрытой миске и унюхал запах восхитительных маленьких лепешек на сале. Оба, собака и ее хозяин, были настолько увлечены каждый своим занятием, что не заметили приближения всадника, и лишь когда под ухом у них зазвучали глухие удары копыт, враз подняли головы.

Это оказался не арендатор-англичанин, о котором говорила Эмм, а смуглый, галльского типа, маленького роста, плотный незнакомец лет двадцати восьми, с остро-конечными усами и тяжелым сумрачным взглядом. Конь у него был горячих кровей, в богатой сбруе. Особенно хорошо были отделаны седельные суммы. Всадник был в перчатках и имел редкий для здешних мест вид далеко не безразличного к собственной внешности джентльмена.

Необычайно певучим голосом он попросил позволения остановиться на час. Вальдо предложил ему поехать на ферму, но тот отклонил предложение. Нет, он отдохнет здесь, под терновником, и напоит коня. Незнакомец снял седло, и Вальдо отвел коня к пруду. Когда Вальдо возвратился, незнакомец уже сидел в тени, подложив себе под спину седло. Юноша предложил ему лепешек. Тот отказался и только отхлебнул глоток из кувшина. Вальдо лег рядом и принялся за прерванную работу. Присутствие

чужого не смущало его. Ведь это не машинка для стрижки овец. Пусть глазают. Дважды испытать истинный душевный подъем нам не дано. Эту вещь он сделал с любовью и старанием, она ему нравится, но и только. Вещи, как и людей, мы можем любить без памяти. Но вот любовь остыла — и все кончено.

Незнакомец устроился поудобней и зевнул. Видно, его разморил жар, и ему не хотелось ехать дальше по этой местности. Он привык к цивилизованной жизни, привык, чтобы к его услугам всегда были стакан вина, удобное кресло и газета; привык запирается по ночам у себя в комнате, читать книги и смаковать бренди, наслаждаясь радостями физического и духовного бытия. В светском обществе — в том самом всезнающем и всемогущем обществе, от которого нигде невозможно укрыться и которое, подобно кошкам, обладает способностью даже лучше видеть в темноте, — говорили, что бренди он любит сильнее книг, выше же книг и бренди ставит нечто еще менее достойное любви. Но не обращая внимания на все эти толки, он лишь холодно улыбался. Жизнь — сон; и только вино, философия и женщины не дают этому сну превратиться в сплошной кошмар. Так что ж в них худого? Была у его жизни и взглядов и другая сторона, об этой стороне в свете ничего не знали и не говорили. Но таков уж этот премудрый свет.

Слипающимися глазами смотрел незнакомец на убегающую бурую пустыню, однообразную и все-таки прекрасную под июньским солнцем, на могилы, на островерхую крышу дома, возвышающуюся над каменной оградой краалей, на неотесанного парня у своих ног. Смотрел и зевал. Но ведь он пил чай из кувшина этого деревенского малого, и надо было что-нибудь сказать.

— Усадьба вашего отца, я полагаю? — небрежно поинтересовался он.

— Нет, я здесь только работник.

— Хозяева — буры?

— Да.

— Ну и как, вы довольны жизнью?

Юноша ответил не сразу:

— В такие вот дни, да.

— Почему именно в такие?

Вальдо помялся, потом ответил:

— Все так красиво кругом.

Незнакомец внимательно поглядел на него. Несколько

мгновений парень смотрел на бурую землю темными глазами, светившимися глубоким удовлетворением, но тут же опустил их и продолжил работу.

Что смыслит этот смешной оборванец в тонкой красоте природы? Вот сам он — человек благородный, утонченный, его душе естественно отозваться на трепетную музыку солнечных лучей и одиночества. Но этот деревенский парень! Может ли уловить еле внятный шепот бытия его слух?!

Помолчав, он сказал:

— Можно полюбопытствовать, над чем вы трудитесь?

Юноша протянул ему свою работу. Красивой ее никак нельзя было назвать. Фигурки людей и птиц, хотя и свидетельствовали о продуманном замысле, отличались почти гротескной нелепостью. Незнакомец внимательно рассматривал резьбу, поворачивая брусок у себя на коленях.

— Где вы учились этому?

— Нигде.

— Эти ломаные линии изображают...

— Горы.

Незнакомец продолжал изучать узор.

— Но ведь в этом заключен какой-то смысл, не так ли?

Юноша застенчиво пробормотал:

— Я просто вырезал что вижу.

Незнакомец пристально поглядел на Вальдо: фигура неуклюжая, высокая, как у взрослого, коренастая, а вот черты лица и особенно эти непокорные вихры на голове совсем как у ребенка. И что-то в этом парне его огорчало и одновременно привлекало. Он испытывал не то жалость, не то симпатию.

— Давно вы трудитесь над этим?

— Девять месяцев.

Незнакомец достал из бумажника банкноту в пять фунтов. Можно прикрепить эту деревяшку к седлу, а потом бросить.

— Продайте мне вашу работу.

Юноша скользнул взглядом по банкноте и отрицательно помотал головой.

— Не могу.

— Вы полагаете, она стоит дороже? — спросил незнакомец с легкой усмешкой.

Юноша показал большим пальцем руки через плечо, на могилу.

— Нет. Это для него.

— Для кого?

— Для моего отца.

Мужчина молча убрал деньги и протянул деревянный брус Вальдо. Он надвинул шляпу на глаза, собираясь, видимо, поспать. Но сон не шел к нему, и немного погодя, через плечо юноши, он стал наблюдать, как тот работает. На обратной стороне бруса Вальдо вырезал буквы.

— Но если, — сказал незнакомец своим певучим голосом, полным мягкой нежности, какой и следа не было в его омраченном взоре, ибо голос человеческий еще долго хранит мягкость, давно утраченную во взгляде глаз, — но если это могильный столбик, то зачем же такая надпись?

Юноша повернул к нему голову, но ничего не ответил. Он почти забыл о незнакомце.

— Вы, конечно, верите, — продолжал незнакомец, — что настанет день, когда разверзнутся могилы и все буры со своими женами начнут разгуливать, проминая этот красный песок своими жирными ножищами. Вы пишете: «Почил навеки». Стало быть, верите, что он воскреснет?

— А вы? — спросил Вальдо, метнув на собеседника мрачный взгляд.

Незнакомец расхохотался в некотором замешательстве. Подумать только — головастик, которого он рассматривал в увеличительное стекло, задает ему вопросы!

— Я — нет. — Он рассмеялся своим коротким приглушенным смехом. — Я ни во что не верю, ни на что не надеюсь, ничего не боюсь, не испытываю никаких чувств. Я чужд всему человечеству, а вам, живущим здесь, среди страусов и кустарников, и подавно не следует брать с меня пример.

В следующее мгновение Вальдо удивил незнакомца еще больше. Он вдруг подвинулся к его ногам и положил ему на колени свою работу.

— Я расскажу вам, — невнятно произнес он, — я расскажу о том, что хотел выразить.

Он показал пальцем на карикатурную человеческую фигурку в нижней части бруса (*Ах, как он ему близок, этот человек, который ни во что не верит, ни на что не надеется, не испытывает никаких чувств*) и объяснил значение фантастических фигур и гор, поднимая палец все выше, вплоть до птицы, потерявшей перо, в самом верху. Под конец он говорил отрывисто, бросал короткими словами, будто витийствовал.

Незнакомец смотрел на его лицо, а не на резьбу, пряча под усами улыбку.

— Сдается мне, — мягко сказал он, когда юноша умолк, — что я вас понял. Попробую-ка связать все воедино. (Он улыбнулся.) В некоей долине жил охотник. (Он показал на фигурку в нижней части столба.) Каждый день отправлялся он охотиться в дремучие леса. Однажды вышел он на берег большого озера, и вдруг на него упала чья-то гигантская тень, и он увидел в воде чье-то отражение. Он поднял глаза к небу, но видение уже исчезло. Тогда им овладело неодолимое желание снова увидеть этот образ, и весь день он простоял в напрасном ожидании. Печальный и молчаливый, вернулся он домой. Все спрашивали, что с ним, а он не отвечал, погруженный в свои мысли. Тогда пришел к нему друг, и сказал он своему другу: «Сегодня я видел диковинную большую белую птицу с серебряными крылами. Она парила в сини небесной. И теперь в моей груди пылает огонь великий. Это было всего лишь отражение в воде, но с той минуты нет во мне иного желания, кроме как поймать ее».

Друг рассмеялся.

«Это играл на воде луч, или это была твоя собственная тень. Пройдет ночь — ты забудешь птицу», — сказал друг.

Но прошла ночь, и прошел день, и еще много-много дней, а охотник искал птицу в лесах, возле озер, в тростниковых зарослях, но никак не мог ее найти. И он перестал стрелять обычную дичь.

«Что с ним?» — спрашивали приятели.

«Он сошел с ума», — предположил один.

«Он хуже, чем безумец, — молвил другой, — он хочет видеть то, чего не дано видеть другим, чтобы все им восхищались».

«Тогда пусть остается один, мы ему не товарищи», — решили все.

И охотник остался один.

Однажды, когда он бродил в тени лесов, опечалась сердцем, явился ему старец, и превосходил он ростом и силой всех сынов человеческих.

«Кто ты?» — спросил охотник.

«Я — Мудрость, — отвечал старец, — хотя иные зовут меня Знанием. Всю жизнь я прожил в этих долинах, но никто не увидит меня прежде, чем познает глубокую скорбь. Только омытые слезами глаза могут узреть ме-

ня, — только умудренные страданием могут услышать мой голос».

И охотник воскликнул:

«Ты живешь здесь исстари, скажи же: что за огромная птица парила надо мной в сини небесной? Меня уверяют, будто я видел сон или свою тень на воде».

Старец отвечал ему с улыбкой:

«Имя этой птице — Истина. Навсегда лишится покоя тот, кому она откроется, и до самой смерти будет стремиться к ней».

И охотник вскричал:

«О, скажи, где мне ее искать?»

«Ты еще недостаточно страдал», — отозвался старец и исчез.

И тогда охотник вынул из груди веретено воображения, намотал на него кудель своих желаний, стал сучить нить и, просидев всю ночь за работой, сплел сеть.

Утром он раскинул золотую сеть и рассыпал по земле несколько зерен Легковерия, которые достались ему от отца и которые он хранил в кармане. Они были похожи на белые грибы-дождевики, рассыпающиеся под ногой бурой пылью. И он сел и стал ждать, что будет. Первой в сеть попала белая, как снег, птица с глазами горлицы. Она спела прекрасную песнь. «Богочеловек! Богочеловек! Богочеловек!» — повторялось в этой песне. Затем поймалась таинственная черная птица с печальными, прекрасными глазами, взгляд их проникал в самую душу. Пела она только одно: «Бессмертие! Бессмертие! Бессмертие!»

Охотник взял их обеих, потому что подумал: «Они прекрасны и должны быть одной породы с Истиной».

Потом прилетела еще одна птица, зеленая с золотым, и заверещала резким, пронзительным голосом, так кричат на рынке: «Воздаяние после смерти! Воздаяние после смерти!»

И он сказал:

«Ты не так прекрасна, и все же прекрасна», — и взял ее тоже.

Прилетели и другие, яркой расцветки, с приятными голосами, пока не склевали все зерна. Охотник поймал их всех, построил прочную железную клетку, которую назвал Новой Верой, и посадил туда их.

Люди плясали и пели вокруг него.

«О, счастливый охотник! — кричали они. — О, заме-

чательный человек! О, прелестные птицы! О, восхитительные песни!»

Никто не спрашивал, откуда эти птицы, как их поймали, все только плясали и пели перед клеткой. И охотник ликовал. «Конечно же, Истина среди них, — говорил он себе. — Придет время линьки, она сбросит перья, и я увижу ее белоснежный лик».

Время шло, люди продолжали петь и плясать, но охотник загоревал. Он снова стал уединяться и горько плакать: желание познать Истину с новой силой охватило его. Однажды, когда он рыдал в одиночестве, к нему приблизился старец по имени Мудрость. И он рассказал ему все, что было.

Старец печально усмехнулся:

«Сколько людей пытались уловить Истину в свои тенета, но никому это еще не удавалось. Зернами Легковерия ее не приманить. Она без труда вырвется из сети желаний. В воздухе здешних долин она задохнется. Пойманные тобой птицы — из выводка Лжи, соблазнительно прекрасной, но Лжи. Они чужды Истине».

«Так что же мне — сидеть и ждать, пока огонь испепелит душу?» — горестно воскликнул охотник.

Мудрый старец отвечал:

«Послушай же. В воздаяние за твои слезы и страдания, я поведаю тебе то, что мне известно. Человек, отправляющийся на поиски Истины, должен навсегда покинуть долины Суеверия и Предрассудков. Пусть он сойдет на равнину Полного Отрицания и пусть живет там, не поддаваясь соблазнам. А когда займется заря, пусть он направится в страну Вечного Света. На пути ему встретятся горы Суровой Действительности, он должен преодолеть их, ибо Истина за этими горами».

«И тогда наконец он поймает ее?» — вскричал охотник.

Мудрость покачала головой и сказала:

«Нет, ему не дано ее увидеть, тем более ее поймать. Время для этого еще не настало».

«Значит, нет никакой надежды?» — воскликнул охотник.

«Иным случалось взбираться на эти горы, — отозвался старец. — Там среди голых скал счастливцы находили серебряное перо из крыла Истины... И будет так, — продолжал он, выпрямляясь и указывая вверх, — что в конце концов руки человеческие соберут достаточно таких перьев, чтобы свить из них нить, а из нити — тенета. В них-то

и можно поймать Истину. Только Истиной можно уловить Истину».

«Я иду», — сказал охотник.

Но старец остановил его:

«Тогда запомни: покинувшему эти долины нет возвращения. Хоть семь дней и ночей проливай кровавые слезы, нога твоя больше не вступит в их пределы. И на том трудном пути, которым ты пойдешь, тебя не ждет никакая награда. Тобой должна руководить только любовь к Истине. Награда тебе Труд».

«Я иду, — молвил охотник, — подскажи только, какую тропу мне избрать в горах?»

«Я — дитя знаний, накопленных человечеством, и хожу только проторенными дорогами. Там же, в горах, побывали лишь немногие, и каждый сам прокладывал себе путь, на свой страх и риск, ведь мой голос туда не достигает. Я могу только следовать за таким смельчаком, но не быть проводником ему».

И старец исчез.

Охотник подошел к клетке и стал выламывать прутья, не замечая, что все его тело покрывается ранами. Созидание иногда легче разрушения. Одну за другой выпускал он своих птиц и, лишь дойдя до черной, замешкался, взял ее в руки и заглянул в ее прекрасные глаза.

«Бессмертие!» — глухим голосом прокричала птица.

«Нет, я не могу с ней расстаться, — сказал он тогда. — Эта птица не тяжела и не требует никакой пищи, я спрячу ее на груди и понесу с собой». Он прикрыл ее своим плащом и отправился в путь.

А птица казалась все тяжелее и тяжелее. Она придавила его сердце свинцовой тяжестью. Идти с ней дальше было невозможно. Он никогда не выбрался бы из этих долин. Тогда он вынул ее из-под плаща и долго любовался ею.

«О, моя прекрасная любимица! — воскликнул он. — Неужто же мне не удержать тебя? — И, печальный, разжал руки. — Лети, может быть, в песне Истины и есть что-то похожее на твою, но мне не дано ее слышать».

Птица тут же упорхнула.

Тогда охотник смотал нить желаний с веретена своего воображения и бросил ее на землю. Пустое же веретено положил на место выпущенной птицы, ибо веретено было из неведомой страны, нить же он ссучил из пряжи здеш-

них долин. Он хотел было уже пойти, но тут его окружили люди.

«Глупец, пес бродячий, безумец! — вопили они. — Как смел ты разрушить клетку и выпустить птиц?»

Охотник хотел ответить, но они даже не желали его слушать.

«Истина?! На что она тебе? Утолит ли она твой голод или жажду? Кто видел ее? А твои птицы были реальными существами: всякий мог слышать их пение. О глупец! Ничтожество! Безбожник! — кричали они. — Ты оскверняешь воздух, которым мы дышим!»

«Закидаем его камнями!» — крикнул кто-то из толпы.

«Какое нам дело до него? — сказали несколько человек. — Пусть этот дуралей идет своей дорогой».

Они ушли прочь, но оставшиеся стали кидать в него грязью и камнями. Весь избитый, охотник едва нашел в себе силы, чтобы доползти до леса. И наступил вечер.

— Да, да, да! — подтверждал каждое слово горящий взгляд Вальдо.

Незнакомец улыбался. Пожалуй, в самом деле стоило пренебречь полуденной жарой и постараться разжечь это пламя страсти, еще более сильной, чем то, которое пылает во взоре возлюбленной.

— Он шел и шел, — продолжал незнакомец, — а тени все сгущались. Теперь он уже был у пределов земли, — дальше царит вечная ночь, света там не было, приходилось пробираться ощупью. При первом же его прикосновении ветки деревьев отламывались, и земля была покрыта толстым слоем золы, в которой глубоко увязали ноги. Мельчайшие частички золы лезли в глаза, в нос, и кругом ни зги не было видно. Он сел на камень, закрыл лицо руками и стал ждать, покуда пройдет ночь и займется заря в краю Полного Отрицания.

И в его сердце тоже царил ночь.

С болот и топей, слева и справа, на него ползли холодные туманы. В темноте моросил дождь, и его волосы и одежду усеяли крупные капли. Сердце билось медленно, ноги и руки немели. Подняв глаза, он увидел два блуждающих огонька, кружившихся в веселом танце. Огоньки все приближались. Они были теплые и яркие и походили на огненные звездочки. Наконец они остановились перед ним, и он вдруг увидел в лучистом ореоле смеющиеся женские лица с ямочками на щеках и с распущенными золотыми волосами. словно игристое вино в бокале, весело

переливался другой огонек. И оба кружились перед ним в танце.

«Кто вы? — спросил охотник. — Вы единственные, кто встретился мне среди тьмы».

«Мы близнецы, и обеих нас зовут Чувственность, — откликнулись они. — Имя нашего отца — Человеческая Натура, а матери — Невоздержанность. Мы ровесницы этим холмам и рекам и первому на земле человеку, но мы бессмертны», — прибавили они со звонким смехом.

«О, дай мне обнять тебя, — вскричала первая. — Руки у меня теплые и нежные. У тебя стынет сердце, в моих объятиях оно забьется чаще. Иди же ко мне!»

«Я волью тебе в жилы свой пламень, — подхватила другая, — твой рассудок спит, тело мертво. Я вдохну в тебя новую пылкую жизнь».

«Последуй за нами, — звали они его. — Сердца, еще более благородные, чем твое, томились в этой тьме в ожидании света, и приходили в наши объятия, и никогда уже не покидали нас. Мы единственно реальны, все прочее лишь иллюзия. Истина — это призрак; долина Религиозных Предрассудков — сцена для фарса, комедия; земля усеяна прахом и все деревья — гниль; и только в нас, пойми, только в нас жизнь. Верь нам! Попробуй, как мы горячи! Пойдем же с нами!»

Блуждающие огоньки парили над самой его головой, и холодные капли испарились с его чела. Яркий свет слепил ему глаза, застывшая было кровь бежала быстрее.

И он сказал себе:

«Чего ради умирать в этой ужасной темноте? А эти огоньки согревают мою кровь». Он уже протянул руки, чтобы схватить их, но тут перед ним возник образ того, к чему так стремилось его сердце, — и он опустил руки.

«Иди же к нам!» — звали они.

Он закрыл лицо ладонями.

«Вы слепите мне глаза, — вскричал он, — заставляете сердце биться сильнее. Но вы не можете исполнить моего самого заветного желания. Я буду ждать вплоть до самой смерти. Прочь!»

Он не хотел больше ничего слышать, а когда снова поднял голову, увидел только две далекие звездочки, которые вскоре растворились во тьме.

И снова над ним нависла ночь, и, казалось, нет ей конца.

Все покидающие долины Предрассудков должны миновать землю Отрицания. Только иным для этого надо

несколько дней, другие блуждают там месяцы и годы, третьи же остаются в этих долинах до самой смерти».

Вальдо придвинулся к незнакомцу так близко, что тот чувствовал у себя на руке его горячее дыхание. Глаза юноши полны были непостижимого изумления.

— Но вот на горизонте охотник различил проблеск света и встал. Он шел и шел, пока не оказался в лучах яркого солнца. Перед ним вздымались горы Голых Фактов и Действительности. На их склонах играло солнечное сияние, а вершины были скрыты за облаками. От подножия начиналось множество тропинок. Охотник выбрал ту, что прямее, и стал с криком ликования взбираться по ней. Он запел песню, подхваченную горным эхом. Ему преувеличили их недоступность, думал он, в конце концов, не столь уж они высоки, эти горы, и не так уж крута тропа. Через несколько дней, недель, может быть, месяцев он непременно достигнет вершины. И он не удовлетворится одним пером, — нет, он соберет их все... сплетет сеть... поймает Истину... Крепко сожмет ее в руках!..

В радостном свете солнца он смеялся и пел во весь голос. Победа, казалось, была близка, только протяни руку. Но горы становились все круче, он задыхался, и петь уже не хватало сил. Слева и справа высились нагие, без наростов мха или лишайника, огромные скалы. Покрытая застывшей лавой земля равверзалась глубокими провалами. Нередко попадались человеческие кости. Тропинка постепенно сужалась, а скоро и вовсе исчезла. Он уже не пел. Теперь ему самому приходилось прокладывать себе путь, и он шел, пока не уперся в громаду скалы, которую невозможно было обойти. «Я сделаю лестницу, а когда заберусь наверх, буду почти у цели», — решительно сказал он и принялся за работу. Веретеном воображения он выкапывал камни, но половина из них не подходила один к другому, и после двухнедельного труда вся лестница рухнула, ибо камни в самом низу оказались неудачно подобранными. Но охотник не пал духом. Он все время повторял: «Когда я заберусь наверх, буду почти у цели. И тогда конец работе!»

Наконец он достиг вершины и осмотрелся. Далеко внизу, над долинами Предрассудков, стлался белый туман, а над головой громоздились горы. Снизу они казались ему не такими высокими, но отсюда видно было, как далеко до их вершин. Путь туда лежал через нагромождения отвесных скал. Охотник испустил крик отчаяния

и припал к земле, а когда встал, лицо у него было мертвенно-белое. Дальше он двинулся молча. Разреженный воздух гор не для жителей долин, каждый вдох причинял ему мучительную боль, из кончиков пальцев сочилась кровь, а он все шел и шел. У следующей отвесной скалы он остановился и принялся за работу. Эта скала показалась ему необъятно большой, но он не промолвил ни слова. День и ночь слышался звон кайла, которым он вырубал ступени. Шли годы, он продолжал работать, но высота скалы приводила его в отчаяние. Иногда ему так хотелось увидеть на этих безжизненных камнях хоть жалкий пучок мха или лишайника — хоть что-то живое, чтобы не чувствовать себя таким одиноким. Но его желание не сбывалось.

Незнакомец посмотрел на лицо Вальдо и продолжал: — А годы шли. Он считал их по числу вырубленных в скале ступеней, не много приходилось их на год. Он больше не пел песен, не говорил больше: «Сделаю то или это», — он просто делал, что мог. А по ночам, когда опускались сумерки, из расселин в скалах на него смотрели незнакомые дикие существа.

«Остановись, человек, поговори с нами. Ведь ты так одинок», — кричали они ему.

«Мое спасение в труде. Если я прекращу работу, мне конец», — отвечал он.

«Взгляни-ка в эту бездну, — призывали они, вытягивая длинные шеи. — Видишь эти кости! Здесь уже побывал человек, не менее отважный и сильный, чем ты». Взглянув вверх, он понял, что все его старания напрасны: никогда ему не уловить Истину, не увидеть ее. В полном изнеможении он лег и уснул навеки. Сон — источник покоя. Когда спишь, не чувствуешь ни одиночества, ни боли в натруженных руках, ни мук в сердце».

Но охотник скривил губы в усмешке.

«Я вырвал из сердца все, что мне было дорого, одиноко бродил в царстве мрака, противился соблазнам, взобрался сюда, где еще не раздавались голоса мне подобных, и трудился в одиночку. Неужели все это только для того, чтобы стать вашей добычей, проклятые гарпии?»

Он громко рассмеялся, и Отголоски Отчаяния спрятались, потому что смех отважного, сильного духом человека губителен для них.

Но немного погодя они снова выползли и уставились на него немигающими глазами.

«Знаешь ли ты, что твоя голова побелела, твои руки дрожат, как у малого дитяти? — сказали они. — Веретено твоего воображения притупилось и обломалось. Если ты и заберешься на вершину этой скалы, выше тебе уже не подняться, это — конец».

Он отвечал: «Знаю», — и продолжал работать.

Старые, высохшие руки плохо слушались его, они тесали камень неровно и криво, потому что скрюченные пальцы давно утратили гибкость. От его прежней красоты и силы осталось лишь воспоминание.

И вот наконец над скалами показалось старческое, сморщенное лицо. Старый охотник смотрел на вековые горы, вздымавшиеся к белым облакам, зная, что настал конец. Он сложил на груди натруженные руки и лег у края пропасти. Пришло наконец время отдохнуть. Внизу, над долинами, клубились густые белые туманы, на миг они разошлись, перед его потухающим взором мелькнули родные места. Издалека слышался щебет птиц и веселый шум поющих и пляшущих людей. Ему казалось даже, что он различает голоса друзей; солнце освещало кровлю его родного дома... И глаза охотника наполнились слезами.

«Если люди там и умирают, то не в одиночестве», — вскричал он.

Но туманы снова сомкнулись, он отвел глаза.

«Всю свою жизнь я искал Истину, — сказал он себе, — но несмотря на все свои старания, так и не нашел ее. Не отдыхал, не бездельничал, и вот теперь силы оставили меня. Мое место займут молодые, полные сил люди. Они взберутся по ступеням, которые вырубил я, и никогда не узнают моего имени. Они будут смеяться над моей грубой работой, будут проклинать меня за каждый сорвавшийся камень. Но благодаря мне они сумеют достичь вершин. Никто не должен жить ради себя одного, и никто не должен умирать ради себя одного».

Из-под морщинистых век покатились слезы. Появись перед ним в этот миг Истина, он не смог бы различить ее, ибо глаза его заволокла пелена смерти.

«Я слышу в душе отзвук их радостных шагов, — сказал себе умирающий. — Они поднимутся сюда, непременно поднимутся». — Он поднес к глазам свою высохшую руку.

И тут с белого неба что-то легкое, почти воздушное, трепеща, опустилось ему на грудь. Это было перо.

Сжимая его в руках, старый охотник умер...

Вальдо козырьком приложил ко лбу руку. Несколько больших слез упали на фигурки людей и животных. Однако незнакомец не стал над ним подшучивать. Он промолчал.

— Откуда вы все это узнали? — прошептал юноша наконец. — Неужели простой кусок дерева мог внушить вам все это?

— А почему бы и нет? — отвечал незнакомец. — Я только развил выраженную вами мысль. Такова природа подлинного искусства, в его высших или низших формах: оно говорит больше, чем можно предполагать, и отвлекает вас от себя. Искусство — маленькая дверь, ведущая в огромный зал, где можно найти все, что ищешь. Пытаясь умалить значение искусства, хулители говорят: «В этом творении гения умудряются открывать то, чего он сам и не хотел сказать», — и не сознают, что это и есть высшая похвала. По кончику пальца человека мы способны восстановить весь его облик. Но даже по половине идола мумбо-юмбо невозможно себе представить, каков он целиком. Мы видим лишь то, что видим, — не более того. Истина всеобъемлюща. В ней тысяча явных и еще столько же скрытых значений. — Он повернул в руках брус. — Пусть ваятель и не сумел овладеть тайнами мастерства, истина, выраженная в его творении, найдет истолкователей. Сквозь самую грубую плотскую оболочку горящими глазами выглядывает душа. И сумеет кто-то правдиво изобразить жизнь и смерть цветка — как этот цветок появляется на свет, впитывает соки, размножается, увядает и исчезает, — он создал бы символ всего бытия. Все, что происходит в природе или в уме, — взаимосвязано. Вы отобразили здесь истинно пережитое. Поэтому ваше произведение можно истолковать на разный манер. Ему не хватает не правдивости, а красоты формы, составляющей вторую половину искусства. — С неожиданной нежностью он наклонился к Вальдо. — Со временем придет и мастерство, надо только упорно работать. Любовь к прекрасному, стремление к нему дается от рождения; умение же воссоздавать его приобретается трудом. Надо упорно работать.

— Всю жизнь мечтал встретить такого человека, как вы, — сказал юноша.

Незнакомец откусил кончик сигары и поднес к ней спичку. Вальдо взял у него с колен тяжелый брусок дерева и подполз ближе. Собачья преданность, с которой он

это проделал, могла бы показаться смешной, но незнакомец видел, что творится в душе парня, и поэтому, попыхивая сигарой, сказал:

— Сделайте мне одолжение...

Вальдо вскочил на ноги.

— Нет, нет, сидите. Вам незачем уходить. Я хочу поговорить с вами. Расскажите про свою жизнь. Чем вы занимаетесь?

Вальдо опустил рядом с ним. Вели ему этот человек голыми руками надергать кустарника, чтобы накормить коня; или принести диковинные камни с отпечатками ископаемых, или нарвать цветов, растущих на далеких холмах, он бы с радостью повиновался. Но эта просьба!..

— Ничем не занимался, — ответил Вальдо.

— Все равно расскажите про свою жизнь. Мне всегда хочется знать, чем занимаются люди, слову которых я могу верить. Это всегда интересно. Ну, скажем, каково было первое в вашей жизни сильное желание?

Вальдо помолчал, собираясь с мыслями, и заговорил. Сначала несмело, затем все более свободно. Ведь даже самое небогатое событиями прошлое содержит неисчерпаемые залежи воспоминаний, стоит только копнуть.

Вальдо рассказывал путанно и сбивчиво, часто делая излишний упор на мелочах и преуменьшая значительное, не умея вскрыть внутренний смысл. Что ж, даже самый ясный взор не может слить воспоминания в стройную картину, пока не пройдет достаточно много времени. Лишь после того, как наше «я» того времени, о котором мы повествуем, перестает существовать, — оно соединяется с объективной действительностью и находит свое истинное место в картине. Настоящее и недавнее прошлое представляются нам путаницей, истинный смысл которой выявляется лишь по мере отдаления. Незнакомец прикурил новую сигару от дымившегося еще окурка и слушал, полужакрыв глаза.

— Если хотите, я постараюсь припомнить что-нибудь еще, — предложил Вальдо.

Он говорил с мрачной серьезностью, свойственной всем юным существам, способным глубоко чувствовать. Лишь в двадцать лет научимся мы смеяться, когда на душе кошки скребут. Незнакомец кивнул, и Вальдо стал думать, что бы еще добавить. Он расскажет этому человеку все, решительно все, что знает, что пережил, самые свои заветные мечты.

Незнакомец повернулся в его сторону и произнес:

— Ваше счастье, юноша, что вы живете здесь.

Вальдо смотрел, не понимая. Неужто его идол насмехается над ним? Жить здесь, на этой бурой земле, среди невысоких холмов, вдали от необыкновенного, удивительного мира, и в этом счастье?

Незнакомец угадал его мысли.

— Да, — молвил он, — здесь, среди зарослей карру и красных песков. Сейчас я объясню, что хочу сказать. Для всех нас, с молоком матери вобравших старую религию, настает опасный момент, когда прежнее уже ускользает у нас из-под ног, а нового еще нет. Мы перестаем слышать гром с Синайской горы, но еще не внемлем тихому голосу рассудка. Мы убедились, что религия наших матерей — пустая иллюзия, в смятении мы не видим никаких твердых правил, которыми мы могли бы руководствоваться в повседневной жизни, а жизнь идет, и времени на ожидание нет. — Незнакомец привстал и заговорил, оживляясь: — Нас ведь никто не учил отличать религию от законов нравственных, к которым она так искусно присодалась и из которых вытянула все жизненные соки. Когда мы счищаем гниль и плесень с крепкой стены, нам чудится, будто бы и сама стена прогнила. И лишь больно ударясь о нее головой, мы убеждаемся в ее крепости. Нам внушали, что добро и зло порождаются волей некоего всемогущего существа. И нужно время, прежде чем мы убедимся, что неумолимая заповедь: «Это ты имеешь право делать, этого не имеешь право делать», — вытекает из самой природы вещей. Это опасный момент.

Он посмотрел на Вальдо своими темными, с поволокой, глазами.

— В конечном счете опыт неизбежно научает нас, что разумная и честная жизнь определяется не единоличным волеизъявлением какого-нибудь существа, божественного или человеческого, и даже не самой основой человеческой природы. Опыт научает нас, что человек, который пролил кровь ближнего, пусть даже он уйдет от возмездия, пусть даже не ждет его геенна огненная, все равно пожнет плоды содеянного: каждая капля пролитой крови будет жечь и разъедать ему душу.

Опыт научает, что человек, наслаждающийся любовью, по праву ему не принадлежащей, срывает цветок с отравленными лепестками; кто мстит — держит в руках обоюдоострый меч, — одной стороной поражает недруга своего,

другой — самого себя; кто живет для себя одного — тот уже мертв при жизни; кто причиняет зло другому, омрачает собственную радость, и кто втайне грешит, тому суждено предстать перед подлинно неподкупным судьей, — собственной совестью.

Этому нас научает опыт, разум же подсказывает, отчего все должно быть именно так. Но не сразу. Вначале мир колеблется у нас перед глазами и никто не кричит нам: «Войди в эти врата!» Ваше счастье, что вы здесь, юноша! Когда сомнение гложет вас, вы отвлекаетесь от мучительных мыслей, возводя каменные ограды вокруг краалей или запруды. Другие, оказываясь на вашем месте, испытывали то же самое, что и вы; им предложено было другое утешение, и они приняли его.

И вот настал день, когда людям открылся новый путь, но у них уже не было сил идти по нему. Привычки, от которых исцеляет одна смерть, прочно завладели ими, прилепились к ним крепче, прочнее, чем ханжество к церковникам; привычки, которые подтачивают ум, энергию, творческие способности — все, что возвышает человека над животным, — и оставляют лишь способность тосковать, сожалеть и опускаться все ниже...

— Юноша, — сказал он, и лицо его стало не менее серьезно, чем у слушателя, — ваше счастье, что вы родились здесь! Оставайтесь же здесь и повторяйте лишь одну молитву: «Не введи нас во искушение». Живите здесь спокойно. И, может статься, придет время, когда вы обретете то, о чем лишь мечтали иные.

Незнакомец поднялся, отряхнул пыль с локтя и, явно смущенный тем, что дал волю чувствам, стал искать глазами своего коня.

— Мне давно пора в путь, — сказал он. — Придется прихватить часть ночи.

Вальдо бросился за конем, который пасся в кустарнике. Вернулся он медленно. Сейчас всадник вскочит на своего коня и укачет.

Незнакомец открыл седельную суму, в которой оказался французский роман в яркой обложке и старая книга в кожаном переплете. Роман он положил в суму, а старую книгу протянул Вальдо.

— Возьмите, пригодится, — уронил он небрежно. — Для меня в свое время она явилась откровением. Только не ждите от нее ответа на все вопросы. Она даст точку опоры для ваших мыслей, не то у вас закружится голова.

Нашему поколению, не в пример отцам, мало набивать себе живот. Мы сыты не хлебом единым...

Он улыбнулся ничего не выражающей улыбкой и застегнул суму. Вальдо сунул книгу за пазуху и стал седлать коня. Тем временем незнакомец расспрашивал его о дороге до следующей фермы.

Когда конь был оседлан, Вальдо снял с шеи голубой платок и приторочил брус с резьбой к седлу. Незнакомец молча наблюдал за ним. Кончив, Вальдо помог ему взобраться на лошадь.

— Как вас зовут? — спросил незнакомец, сняв перчатку с правой руки.

Вальдо назвал себя.

— Ну что ж, надеюсь, мы еще встретимся. — Он протянул Вальдо руку, и они обменялись рукопожатием. Затем он натянул перчатку, тронул коня и шагом поехал прочь. Вальдо смотрел ему вслед.

Когда ферма скрылась из глаз, всадник оглянулся.

— Бедняга, — проговорил он с улыбкой и погладил усы. Потом нагнулся и потрогал узлы платка, которым был привязан к седлу подарок Вальдо. — Бедняга!

Он улыбнулся и устало вздохнул.

Вальдо стоял и смотрел, пока движущаяся точка не исчезла на горизонте. Тогда он упал на колени и в восторженном порыве поцеловал следы подков на песке. Затем он собрал свое стадо, взял книгу под мышку и направился в обратный путь вдоль каменной стены. Как прекрасен казался ему в тот день солнечный закат!

Глава III

ГРЕГОРИ РОУЗ ВСТРЕЧАЕТ СВОЮ СУЖЕНУЮ

Грегори Роуз сидел у дверей своего жилища, скрестив руки на груди, положив ногу на ногу. Его душа была погружена в глубочайшее уныние. Жил он в небольшой квадратной мазанке, посреди карру, в двух милях от фермы. Снаружи мазанка была грубо, наспех заляпана бурой глиной, освещалась она через два небольших стекла, вделанных в стены. Позади нее тянулись овечьи краали, справа виднелся большой пруд, который, впрочем, в эту пору года пересыхал. Далеко впереди поднимался

холм, за которым пряталась ферма. Холм был такой неприметный, что даже не нарушал убогого однообразия пейзажа.

Грегори Роуз сидел в одной рубашке на складном стуле, то и дело испуская тяжелые вздохи. Выражение его лица было трудно объяснить одними стесненными обстоятельствами. Он нервно поглядывал то на холм, то на подойник у ног, то на темно-гнедого пони, щипавшего неподалеку пожухлую листву кустарника, — и все время вздыхал.

Наконец он встал и вошел в маленькую комнатку с побеленными известкой стенами, щедро украшенными картинками, вырезанными из «Иллюстрированного лондонского обозрения». Среди картинок заметно преобладали портреты красоток. Чуть не половину хижины занимала раскладная кровать, на противоположной от нее стене висела полка для ружья и рядом с ней — дорожное зеркальце. В центре стояли стол и стул. Все содержалось в величайшей чистоте и порядке. В выдвижном ящичке стола Грегори держал тряпочку для стирания пыли. Всякий раз после употребления он аккуратно ее складывал. Так поступала его маменька. Каждое утро он молился богу, убирал постель и тут же обтирал тряпочкой пыль со стола, с ножек стула, даже с картинок на стенах и с зеркальца, не говоря уж о полочке для ружья.

Изнывая от послеполуденной духоты, Грегори подошел к постели, вынул из-под подушки часы в чехольчике, собственноручно сделанном и подаренном ему сестрицей Джемаймой, открыл чехольчик и поглядел на циферблат. Половина пятого, всего-то! Грегори даже застонал от огорчения. Убрав часы на место, он сел к столу. Половина пятого! Нет, нет, нельзя так расслабляться, надо взять себя в руки. Сейчас он сядет и напишет Джемайме письмо. Он всегда писал ей письма, когда чувствовал себя несчастным. В этих письмах он изливал душу. В дни радости он не вспоминал о сестре, но когда ему приходилось худо, Джемайма казалась единственной опорой.

Грегори достал чернила и бумагу, бумагу с фамильным гербом и девизом на каждом листе, потому что, переехав в колонию, Роузы стали вдруг почитать себя знатным семейством. Сам старый Роуз, честный английский фермер, отнюдь не притязал на благородное происхождение, зато супруга и дочь, особенно дочь, громогласно заявляли о своих притязаниях. В Англии было семейство Роузов,

которое вело свою родословную от времен норманнов, на этом основании и в память о наследственном владении «Ферма Роузов» была переименована в «Роуз-мэнор»¹, и таким образом их право на благородную кровь получило подтверждение, по крайней мере, в их собственном мнении.

Грегори взял было лист белой бумаги с гербом, но, поразмыслив, положил его обратно в бювар, вынул другой, розовый, более подходящий к изъяснению его чувств, и вывел:

«Одинокий Холм

Понедельник

Моя дорогая Джемайма...

Грегори поглядел в зеркало. Там отражался юный шатен с курчавыми волосами и бородкой. В голубых глазах застыла такая истома, что он сам расчувствовался. Обмакнув перо в чернильницу, он продолжал:

Я гляжу в зеркало, висящее напротив, и не верю своим глазам: ужели это изменившееся, полное печали лицо?..»

Грегори остановился и задумался. Нет, нет, так не годится писать. Как бы его не заподозрили в недостатке мужественности и самолюбования. Он взял еще один розовый листок и начал заново:

«Одинокий Холм

Понедельник

Дорогая сестра,

прошло всего шесть месяцев, с тех пор как мы расстались и я приехал сюда, но если б ты видела меня сейчас! Я заранее знаю, что ты сказала бы, что сказала бы мама: «Полно, наш ли это Грег, это существо с таким отчужденным взглядом?»

И все-таки, Джемайма, это ваш Грег. Перемены, происшедшие со мной, начались сразу, как только я сюда приехал, вчерашний же день прибавил мне множество переживаний. Ты знаешь, сколько горя выпало мне на долю, Джемайма, как несправедливо обходились со мной в школе, как

¹ Роуз-мэнор — поместье Роузов (англ.).

затирали меня учителя, называя болваном, — хоть и не отрицали, что ни у кого во всей школе не было лучшей памяти и никто не знал наизусть, как я, целые книжки от корки до корки.

Тебе известно, как жестоко обращался со мной отец. Ничего другого, кроме «дурень» да «тряпка», я от него и не слышал, не понимал он моей утонченной натуры. Ты знаешь, что он сделал из меня фермера, а не священника. Ты все знаешь, Джемайма, и то, что я сносил все это не как женщина, которая хнычет, только тронь ее пальцем, а молча, как подобает мужчине.

Но есть нечто очень важное, о чем так хочется поведать родственной душе.

Дорогая сестра, знаешь ли ты, как это мучительно — мечтать запечатлеть поцелуй на чьих-либо устах, сознавая, что это, увы, невозможно; желать коснуться чьей-то руки, сознавая, что и на это не имеешь права. Я влюблен, Джемайма.

У той женщины, у которой я арендную землю, у старой голландки, есть юная падчерица, ее имя начинается с Э.

Она англичанка. Не могу понять, что заставило англичанина жениться на голландке. Эта буква «Э» вызывает во мне такую бурю чувств, что я едва могу продолжать. Я полюбил ее с первого взгляда. Вот уже несколько недель, как я не могу ни есть, ни пить, потерял даже вкус табаку. Я не в силах пробыть на одном месте более пяти минут, и порой у меня такое чувство, будто я схожу с ума.

Каждый вечер я хожу за молоком на их ферму. Вчера Э. предложила мне кофе. Ложечка упала на пол. Она наклонилась и подняла ее, а когда передавала мне, коснулась пальчиком моей руки. Я вздрогнул, Джемайма. Мне показалось, что и она вздрогнула. И только я подумал: «Ну вот и отлично, она будет моей, она любит меня!», как в комнату вошел рослый нескладный молодой немец, с вьющимися волосами до плеч, такого глупого вида, что просто смотреть тошно. Он работник этой голландки, человек низкого происхождения, вульгарный, необразованный и, уж конечно, не переступавший порога школы. Его посылали на соседнюю ферму за отбившимися овцами. О, как она его встретила, когда он вошел! «Добрый вечер, Вальдо. Не угостить ли тебя чашечкой кофе?» И представь себе, она поцеловала его!

Всю ночь после этого в моих ушах звенели слова: «Чашечка кофе! Чашечка кофе!..» И всю ночь мне грезилось,

будто она касается меня своим пальчиком. Но едва я пробуждался, как в ушах снова звучал ее голос: «Добрый вечер, Вальдо. Не угостить ли тебя чашечкой кофе?»

Сущее наваждение!

Сегодня я даже не притрагивался к еде. Вечером сделаю ей предложение. Если получу отказ — завтра же покончу с собой. Здесь неподалеку есть пруд. Овцы выпили его наполовину, но для меня хватит и оставшейся воды, если привязать камень на шею...

Приходится выбирать между смертью и безумием. Я не в силах выносить такие страдания. Если это письмо окажется моим последним, помяни меня с любовью и прости. Без Э. жизнь была бы унылой пустыней, сплошной мукой. Она — моя суженая, единственная любовь моей юности, моих зрелых лет, мое солнце, цветок, посланный мне богом.

Нет, не любили те, кто говорил: «Люблю».

Кто молвит: «Я любил когда-то?»

Не ангелы, чей взор сияет, словно золото.

Твой неутешный брат, пишущий тебе, вероятно, в свою последнюю скорбную ночь,

Грегори Назианзен Роуз

PS. Скажи маменьке, чтобы убрала мои перламутровые запонки, я оставил их в ящике туалетного столика. Боюсь, как бы их не утащили дети.

PPS. Я беру это письмо с собой на ферму. Если уголок будет загнут — мое предложение принято. Нет, так знай, что все кончено, разбитое сердце твоего брата перестало биться.

Г. Н. Р.»

Дописав письмо, Грегори перечитал его и остался чрезвычайно доволен. Он вложил письмо в конверт, написал адрес и, чувствуя явное облегчение, задумчиво уставился на чернильницу.

Жаркий день сменился прохладным и ветреным вечером. Еще издали, подъезжая к ферме на своем гнедом пони, Грегори разглядел у ворот краала небольшую фигурку в короткой красной накидке. Облокотясь о жердь, закрывавшую вход в загон, Эмм наблюдала, как молоко, пенясь, струится между черными пальцами пастуха, в то время как корова упрямо мотает головой, силясь освободиться от привязи. Эмм прикрыла голову накидкой и

придерживала ее краешек, оберегая уши от порывов ветра, игравшего красной материей и выбивавшимися из-под накидки прядями золотистых волос.

— Вам не холодно стоять на таком ветру? — спросил Грегори, тихо подойдя к ней.

— О нет, напротив, очень приятно. Я всегда прихожу смотреть, как доят коров. Вот эта рыжая, с короткими рогами, кормит теленка павшей белой коровы. И любит его как своего собственного. Вы только посмотрите, как она лижет ему ушки!

— Какие темные тучи! Похоже, ночью будет дождь, — сказал Грегори.

— Вероятно, — согласилась Эмм, глядя на небо из-под бахромы ниспадающих волос.

— Но ведь вы озябли, — сказал Грегори, и, пододвинувшись, нащупал под накидкой маленький кулачок, мягкий и горячий, и сжал его в своей руке. — Ах, Эмм, я люблю вас больше всего в жизни. А вы хоть немножко любите меня?

— Да-а, — промолвила Эмм, запинаясь, и попробовала высвободить руку.

— Больше всех, больше всего на свете, да, дорогая? — наклонясь к самому ее лицу, так что глаза его коснулись золотистых волос, спросил Грегори.

— Не знаю, — серьезно сказала Эмм. — Я очень люблю вас, но я очень люблю и мою кузину, она сейчас в пансионе, и Вальдо тоже очень люблю. Ведь мы всегда были вместе.

— О Эмм, от ваших слов веет холодом, — воскликнул Грегори, порывисто схватив ее руку, да так сильно, что девушка невольно отстранилась.

Пастух с подойником ушел на другой конец крааля, а коровам, занятым своими телятами, было совсем не до маленькой человеческой комедии.

— Эмм, если вы будете так говорить со мной, я сойду с ума. Вы должны полюбить меня, — и любить больше всех! Вы должны стать моей. Я люблю вас с той минуты, как увидел возле этой каменной стены с кувшином в руках. Вы созданы для меня, вы предназначены мне свыше, я буду любить вас до последнего вздоха! О Эмм, не будьте так холодны, так жестокосердны ко мне!

Он больно сжал ей локоть, Эмм разжала пальцы, накидка соскользнула у нее с головы, упала к ногам, и ветер тотчас же растрепал ей волосы.

— Я очень люблю вас, — призналась она, — но не знаю, смогу ли согласиться быть вашей женой. Я люблю вас больше, чем Вальдо. Вот только вряд ли больше, чем Линдал. Дайте мне неделю срока, тогда я смогу сказать вам наврное.

Грегори поднял накидку и бережно прикрыл ею плечи Эмм.

— Если б вы могли полюбить меня так, как я вас люблю! — сказал он. — Но нет, женщина не способна любить так, как любит мужчина. Я подожду до субботы. А до тех пор ни шагу не сделаю к вам. До свидания. Ах, Эмм, — проговорил он, снова поворачиваясь к ней. Он обнял ее за талию и запечатлел на ее губах неожиданный поцелуй, — я не смогу жить без вас. Я никогда не любил другую женщину и никогда не полюблю! Никогда, никогда!

— Вы меня напугали, — сказала Эмм. — Идемте же, я налью вам молока.

— Нет, не надо мне никакого молока. Всего хорошего. До субботы вы не увидите меня.

Поздно вечером, когда все на ферме давно спали, маленькая женщина с золотистыми волосами пришла на кухню, чтобы наполнить большой медный кофейник. Забыв, за чем пришла, она стояла посреди кухни, и догорающий в очаге огонь освещал ее необычно задумчивое, серьезное, как у пожилой женщины, лицо.

— Больше всего на свете, больше всех... Он любит меня больше всех! — проговорила она громко, словно так ей легче было поверить в истинность своих слов. Всю свою короткую жизнь она щедро одаряла чувствами других, но никто ни разу не отплатил ей тем же. Никто еще не говорил ей: «Я люблю вас больше всего на свете», никто не любил ее больше, чем она могла бы любить. Она не верила собственному счастью. Такие чувства, должно быть, испытывает промокший и голодный нищий, уснувший на мостовой и оказавшийся в ярко освещенном дворце, за уставленным яствами столом. Конечно же, нищий сознает, что это лишь сон. Но сон становится реальностью.

Разве Грегори не сказал ей: «Я буду любить вас до последнего вздоха»? Она повторяла его слова как песню.

Завтра утром она позовет его и скажет, что и она любит его. До последнего вздоха.

Но Эмм не пришлось посылать за Грегори. Вернувшись к себе, молодой человек вспомнил, что в кармане у него лежит письмо к сестре. И потому, при всей его нелюбви

к проявлениям нерешительности и слабости, пришлось ему еще до восхода солнца отправиться на ферму, чтобы отослать письмо с утренней почтой.

«Если мы встретимся,— решил Грегори,— я поклонюсь, и только. Пусть знает, что я мужчина и умею держать слово».

Что до самого письма, то он загнул было уголок, как и условился, но затем снова расправил лист, так что осталась только глубокая складка. Джемайма поймет, что ему не отказали, но и не приняли еще предложения, и его судьба, таким образом, еще не решена. Это было даже поэтичней, чем если б он объяснил все на словах.

Грегори успел в последнюю минуту, Вальдо как раз собирался в путь. В дверях дома стояла Эмм. Она вышла проводить Вальдо. Грегори отдал письмо, отвесил Эмм церемонный поклон и хотел уже сесть на своего пони, но немного замешкался. Только еще занимался рассвет, и никого из слуг не было видно. Эмм сама подошла к нему и нежно коснулась его руки.

— Я люблю вас больше всего в жизни,— призналась она.

Он стал осыпать ее поцелуями, и Эмм не чувствовала никакого страха, а когда он прижал ее к груди, она сказала:

— Как мне хотелось бы быть красивой и обворожительной.

— Дорогая, вы для меня прекрасней всех женщин на земле, дороже всех сокровищ мира. Я готов пойти за вами хоть в самый ад! Если бы вы умерли, а я остался жить, мое сердце было бы с вами в могиле. Будь вы в моих объятиях, жизнь моя стала бы сплошным праздником, она была бы озарена солнечными лучами.

Глядя на него снизу вверх, Эмм думала, как красиво и мужественно его лицо. Она легонько коснулась рукой его лба.

— Вы так молчаливы, так холодны, моя Эмм,— воскликнул он.— Вам ничего не хочется мне сказать?

В ее глазах мелькнула тень недоумения.

— Я готова исполнить все, что вы мне велите.

Что еще могла она сказать? Свою любовь она умела выражать только покорностью.

— Тогда, моя любимая, обещайте никогда больше не целовать этого парня. Сама мысль, что вы можете любить кого-то еще, кроме меня, невыносима. Я не могу, не хочу

допустить этого. Пусть завтра же сойдут в могилу все мои родственники, я останусь счастлив, если вы будете со мной! Ну почему вы так холодны, любовь моя? Обещайте же никогда больше не любить его. Если б вы попросили меня, я бы сделал все, пусть даже ценою своей жизни.

Эмм обняла его.

— Никогда больше не стану целовать его, — обещала она, — и постараюсь не любить никого другого. Но я еще не знаю, смогу ли.

— О моя дорогая. День и ночь мои мысли о вас, только о вас, — твердил он, сжимая ее в своих объятиях.

Эмм слегка смутилась, осознав, что как раз подсчитывает, сколько еще дней осталось кузине жить в пансионате, и тревожится, как бы Вальдо не забыл купить себе таблетки от кашля.

— Не знаю почему, — со смирением проговорила она, прижимаясь к нему, — но я никогда не смогу любить так, как вы. Вероятно, потому, что я всего лишь женщина. Но я люблю вас, как только умею любить.

Из хижин стали выходить служанки, и Грегори, в последний раз поцеловав ее глаза, губы и руки, вскочил на своего пони и уехал.

Тетушка Санни была очень довольна предстоящей помолвкой. Сама она располагала до конца года выйти замуж за кого-нибудь из своих многочисленных поклонников и подала мысль сыграть сразу две свадьбы.

Эмм с головой ушла в заботы о приданом. Подрубала постельное белье, шила себе наряды. Грегори неотлучно находился при ней, и полгода, остававшиеся до возвращения Линдал, пролетели, по его же меткому замечанию, «как летняя ночь в мечтах о любимой».

Как-то поздним вечером Грегори, сидя возле своей невесты, крутил ручку швейной машины, и они разговаривали о тех временах, когда тетушка Санни съедет и они останутся единственными хозяевами. Здесь они сделают новую пристройку, там построят ограду для крааля... Под наплывом чувств Грегори перестал крутить швейную машину и прижался губами к пухленькой ручке, направившей строчку на полотне.

— Как ты прекрасна, Эмм! — восторженно выпалил влюбленный. — Я просто задыхаюсь, когда думаю о нашей любви.

Эмм улыбнулась.

— Тетушка Санни говорит, что, когда я доживу до ее лет, на меня никто и не взглянет. И это верно. Руки у меня коротенькие и широкие, не руки, а утиные лапы. Лоб низкий, нос кнопкой. Никакого *изящества*.

Она тихо засмеялась своим мыслям. Так приятно сознавать, что ее любимый ослеплен.

— Завтра приезжает моя кузина, Грегори. Вот это красавица! — продолжала Эмм. — Видели бы вы, как она держится! Юная королева, да и только. Плечи высокие, а голова как будто создана для короны. Непременно приезжайте завтра. Я уверена, она вам понравится!

— Да, конечно. Разумеется, я приеду. Но как ты *могла подумать*, что я способен сравнивать тебя с какой-то другой женщиной? — вскричал Грегори, устремив на нее пылающий взгляд.

— Сами увидите, она красивее меня, — сказала Эмм, беря его за руку, — но вы никогда никого не полюбите сильнее, чем меня?

Они пожелали друг другу покойной ночи, и она еще долго стояла в дверях, пока стук копыт гнедого пони не замер за курганом. Так было каждый вечер все эти полгода.

Потом она пошла через спальню тетушки Санни — почтенная дама громко храпела во сне — через задрапированную в белое комнату, приготовленную для кузины, — в свою собственную комнату и, убрав в нижний ящик комода принесенное с собой шитье, опустилась на пол.

Здесь, в нижнем ящике, было сложено ее приданое: стопки постельного белья, несколько передников, стеганые одеяла. В углу в шкатулке хранились букетик флердоранжа, колечко, подаренное ей женихом, присланная сестрой Грегори вуаль и свернутый рулончиком отрез искусно вышитой ткани, подарок Траны. «Эта ткань слишком тонка и прекрасна даже для жены Грегори, — подумалось Эмм. — Подойдет она только крохотному пухленькому карапузу. Надо ее приберечь». Эмм, улыбаясь, погладила материя, а потом, заливаясь румянцем, спрятала ее в дальний угол ящика. Эмм наизусть знала все, что лежало в ящике, и все-таки принялась перебирать вещи, рассматривая их так, точно видела впервые. Тщательно уложив все обратно, она еще долго сидела и любовалась своим приданым.

Завтра вечером приезжает Линдал. Интересно, что она скажет, увидев эти богатства? Конечно же, ей все понравится, — и венок из флердоранжа, и колечко, и белая вуаль. Ах, если бы... Тут Эмм размечталась... Если бы Линдал поселилась с ними и тоже вышла замуж...

...Вот Грегори усталый возвращается домой. Он ищет глазами Эмм и спрашивает: «Где же моя жена? Никто не видел, где моя жена? Жена, налей-ка мне чашечку кофе!» И она наливает ему кофе...

Неожиданно лицо Эмм посерьезнело. Встав на колени перед ящиком, она простерла над ним руки.

— О господи! — прошептала она. — Я так счастлива! За что мне такое счастье? Спасибо тебе, о господи!

Глава IV

ЛИНДАЛ

«Право же, она походит на принцессу гораздо больше, нежели дама, портрет которой висит в спальне у тетушки Санни», — думала Эмм. Линдал в сером домашнем халате сидела, откинувшись на спинку креслица, и ее длинные, распущенные волосы ниспадали до полу. Эмм с благоговением любовалась своей кузиной.

Линдал устала после долгого путешествия и рано ушла к себе. Она окинула взглядом знакомую до последней мелочи комнату, и ей показалось странным и удивительным, что целых четыре года ее здесь не было. Столько изменилось в ее жизни, а тень от подсвечника на туалетном столике по-прежнему похожа на профиль старой колдуньи и падает все в тот же угол, за складную раму для сушки белья. Поразительно, что тень долговечнее человека. Все в комнате было как прежде, и только она сама до неузнаваемости изменилась.

— Что ты там рассматриваешь? — спросила Эмм, которая не оставляла ее ни на миг.

— Все и ничего. Мне казалось, что окна выше. На моем месте, я, когда стала здесь хозяйкой, прежде всего перестроила бы стены. В этих комнатухах дышать нечем, духота.

— Грегори предполагает многое тут изменить, — сказала Эмм, медленно подвигаясь поближе к кухне. — Он тебе нравится, Линдал? Не правда ли, он очень симпатичный?

— В детстве он, вероятно, был прехорошеньким малышом, — отозвалась Линдал, глядя на белые занавески на окнах. Видя, что Эмм озадачена таким ответом, она пояснила: — Видишь ли, есть мужчины, которых просто нельзя представить себе пухленькими младенцами. А есть такие, встречаясь с которыми всегда думаешь: «Как мило они выглядели бы в носочках и с розовым бантиком в волосиках!»

Эмм промолчала, но потом сказала с достоинством:

— Узнав моего жениха поближе, ты тоже полюбишь его. Когда я сравниваю его с другими, все кажутся мне слабыми и ничтожными. Сердца у нас такие холодные, к нашей любви всегда примешивается куча всяких посторонних соображений... А он — никто не достоин его любви. Я, во всяком случае, нет. Его любовь так велика, так чиста...

— Ты боишься, что не сможешь достойно ответить на его чувство? Не терзай себя понапрасну, моя дорогая, — сказала Линдал. — Любовь мужчины подобна пылающей ветви масличного дерева. Она мгновенно вспыхивает, горит жарко, с треском, рассыпая вокруг себя кучи искр. В этом неистовом пламени ты остаешься ледяной сосулькой — и упрекаешь себя за свою холодность, за неспособность ответить взаимностью на горячее чувство. А на другой день, когда ты жаждешь согреть озябшие руки, на месте костра оказывается грудa пепла. Пусть холодная, но долгая любовь вместо жаркой и короткой страсти. Мужчинaм не на что жаловаться, Эмм.

— Ты просто не знаешь мужчин, — сказала Эмм, переходя на покровительственный тон, свойственный всем невестам в разговорах с незамужними подругами. — Придет время, ты узнаешь их лучше и, поверь мне, изменишь свое мнение на этот счет.

Эмм произнесла это снисходительно, но великодушно, как и пристало человеку искушенному, не желающему обидеть своего несведущего собеседника.

Линдал поджала губы, чтобы не расхохотаться. И покрутила массивный, видимо, мужской перстень на указательном пальце. Это был бриллиантовый крест в золотой оправе с выгравированными внизу инициалами «Р. Р.».

— О, Линдал, и ты помолвлена? Вот почему ты улыбаешься! — воскликнула Эмм. — Ну конечно же, как я сразу не догадалась. Ах, что за прелесть, дай взглянуть.

Линдал отдернула руку.

— Я отнюдь не спешу подставлять свою шею под ярмо. Поэзия пеленок не для меня, не такая уж я охотница возиться с пеленками,— проговорила она, устало откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.— Пусть этим занимаются другие.

Эмм приняла это на свой счет и сконфузилась. Нечего было и думать показывать Линдал стопки белья, флердоранж и расшитую ткань. Она стала рассказывать о Тране, о старых слугах на ферме и рассказывала до тех пор, пока не увидела, что у кузины слипаются глаза. Тогда она пожелала ей покойной ночи и ушла. Но и после ее ухода Линдал не спешила ложиться, она продолжала сидеть, устремив взгляд в угол, где трепетала тень от свечи, и в глазах ее была такая усталость, точно на ее хрупких плечах лежал весь мир земной.

Утром, задолго до завтрака, Вальдо взвалил на плечо мешок маиса и отправился кормить страусов. Внезапно он услышал за спиной чьи-то легкие шаги.

— Погоди, и я с тобой,— раздался голос Линдал.— Если б я не разыскала тебя вчера, ты так и не зашел бы поздороваться? Ты меня совсем разлюбил, Вальдо?

— Нет... почему же... Только ты... стала другой.

«Сам-то он ничуть не изменился, даже манера говорить, запинаясь, все та же»,— отметила про себя Линдал и спросила:

— В передничках я тебе больше нравилась?

Линдал была хотя и в простеньком, но спитом по последней моде платье из хлопчатобумажной материи и в белой шляпе с широкими полями. Вальдо она казалась знатной дамой, и она заметила его смущение.— Платье у меня не такое, как раньше,— сказала она,— и сама я не такая. Но мое отношение к тебе не изменилось... Переложь мешок на другое плечо, я не вижу твоего лица... Ты так немногословен, что приходится читать у тебя по лицу, иначе и не разгадать, что у тебя на уме.

Вальдо перекинул мешок на другое плечо.

— Ты стал симпатичнее,— сказала она.— Знаешь, иногда мне хотелось видеть тебя. Не часто, но я вспоминала о тебе.

Они подошли к воротам ближнего загона. Вальдо высыпал за ограду мешок маиса, и они пошли дальше по мокрому от росы вельду.

— Многому ты научилась? — спросил он просто, припомнив, как некогда она сказала: «А когда я вернусь, я буду знать все, что дано знать человеческому существу».

Она рассмеялась.

— Вспомнил, как я тогда хвасталась! Да, кое-чему я научилась, хотя вряд ли тому, о чем мечтала, и, уж конечно, не всему, о чем мечтала. Прежде всего я уяснила себе, что один из моих предков был величайшим тупицей; говорят, что в любом из нас раскрываются только те черты, которые встречались у праотцев. Во-вторых, я поняла, что для алчущих знаний нет места худшего, чем пансион для девиц. Предполагается, что там дают законченное среднее образование. И это, пожалуй, верно — ведь из тех, кто там учится, выходят законченные дуры. Такие пансионы показывают только, до какого ничтожества можно низвести человеческие души! Эти души спрессовывают с такой силой, что они свободно умещаются в наперстке. Многолетнее пребывание в одном из подобных заведений оставляет на женщине неизгладимый отпечаток скотского уродства; только жизнь на свободе может помочь ее душе расправить крылья.

— Ты была несчастна? — спросил он с внезапной тревогой.

— Я — нет. Несчастье и счастье одинаково чужды моей душе. Я могу только сожалеть об этом. Но если бы мне пришлось жить на положении всех остальных девиц, я сбежала бы на четвертый день и нанялась бы в прачки к какой-нибудь голландке. Если б ты мог представить себе, Вальдо, каково быть запертой в четырех стенах с болтливыми безвольными старухами, не имеющими ни малейшего представления о жизни, лишенными чувства прекрасного и тем не менее назначенными над тобой духовными наставницами! Нет сил дышать одним воздухом с ними! Но я заставила их считаться со мной. Я заявила им, что сбегу. Они прекрасно знали, что я птица вольная, поэтому отвели мне отдельную комнату и не навязывали общества своих безмозглых воспитанниц. Я не музицировала, так как убедилась, что у меня нет музыкальных способностей; когда они всем скопищем вышивали подушечки, или делали ужасные бумажные цветы, при одном виде которых живые завяли бы с тоски, или по шесть недель мастерили табуретки, которые на любой фабрике изготавливают в сто раз лучше за пять минут, я сидела у себя в комнате. Они тратили свои день-

ги на всю эту чепуху, а я на книги да газеты, и все вечера, а иногда и ночи, проводила за чтением. Я делала выписки из того, что читала, сама пробовала писать пьесы, только тогда поняла, как трудно излагать свои мысли на бумаге так, чтобы не дать повод для обвинений в слабоумии. Но больше всего пищи для ума давали мне праздничные дни, когда нас отпускали из пансиона. Я заводила знакомства, бывала в разных местах, наблюдала за жизнью людей, а это поучительнее, чем чтение любой книги. Не могу сказать, что эти четыре года прошли впустую. Я научилась не тому, что предполагала. Но кое-чему научилась. Ну, а ты что тут делал?

— Ничего.

— Так не бывает. Ах да, я понимаю, сразу не расскажешь.

Они шли рядом, перешагивая через низкорослые кустарники, усеянные утренней росой. Неожиданно Линдал повернулась к нему и спросила:

— Тебе не хотелось бы родиться женщиной, Вальдо?

— Нет,— сказал он, не раздумывая.

Она засмеялась.

— Так я и думала. Даже ты достаточно умудрен жизнью. Иного ответа я не слышала ни от одного мужчины. Вот это прелестное кольцо,— сказала она, подставляя бриллианты лучам утреннего солнца,— стоит по меньшей мере пятьдесят фунтов стерлингов.— Так вот, я дарю его первому мужчине, который скажет, что желал бы родиться женщиной. Сомневаюсь, что даже на острове Роббен¹ сыщется такой. Ах, как это чудесно — быть женщиной! Но самый последний мужчина искренне благодарит бога за то, что он не женщина.

Она поправила шляпку, чтобы солнце не било в глаза. Вальдо так загляделся на нее, что то и дело спотыкался о кусты. Да, это его маленькая Линдал, та самая, которая ходила когда-то в клетчатом фартучке, это она рядом с ним!

Они подошли к следующему загону.

— Давай побудем здесь, я хочу посмотреть на птиц,— сказала Линдал.

Навстречу им, широко распутив бархатистые крылья, размашистым шагом бежала самка страуса; вдалеке,

¹ В Капской колонии душевнобольных содержали на острове Роббен.

над кустами, виднелась голова самца, который высиживал птенцов.

Линдал облокотилась о перекладину, закрывавшую вход в загон, и Вальдо, бросив пустой мешок, встал рядом.

— Я люблю этих птиц, — сказала Линдал, — заботы у них общие, и живут они как товарищи. А ты, Вальдо, ты задумывался над положением женщины?

— Нет.

— Ну да, конечно. Об этом говорят только тогда, когда хотят блеснуть умом или позубоскалить. А тебя интересует только то, что находится на расстоянии многих миллионов миль и к тому же окутано пеленой таинственности. Ты все тот же, что был. Если бы женщины жили на Юпитере, — о! — тогда ты бы денно и ночью размышлял о нас и о нашей участи, да? Но мы всегда перед глазами. Стоит ли нас замечать?! Тебе нет дела до того, что ты носишь эту рвань, — сказала она, коснувшись мизинцем его рукава, — но ты не жалеешь сил, чтобы вырезать прекрасный листок на дереве. Жаль, что тебя не интересует место женщины в обществе, мне так хотелось бы, чтобы мы были друзьями. Это — единственное, что занимает мои мысли и чувства. Если, конечно, я вообще способна что-нибудь чувствовать, — добавила она игривым тоном, принимая более удобную позу. — Должно быть, когда я была маленькой, родители оставляли меня на морозе, и у меня все вымерзло внутри.

— А меня занимают всего несколько мыслей, — сказал он, — и я возвращаюсь к ним снова и снова. И никак не могу додумать до конца. Я уже устал.

— Ты как старая курица, которая целый месяц сидит на яйцах, а цыплята все не вылупляются, — съехидничала Линдал. — А вот меня каждый день терзают новые мысли. Мне приходится душить их, чтобы они не столкнулись друг с другом. Голова от них кругом идет. И только одна мысль никогда не оставляет меня, не дает покоя: ну что бы мне родиться позже! Ведь, может быть, тогда женщина уже не будет клейменной рабыней?

Вальдо посмотрел на нее, не в силах понять, серьезно она говорит или шутит.

— Сама знаю, что глупо биться головой о стенку, — сказала она. — Но ведь мы прокляты, Вальдо, это проклятие лежит на нас от рождения и до смертного часа. Ты думаешь, что я вздор говорю? Все на свете имеет смеш-

ную внешнюю оболочку,— и величавую внутреннюю суть.

— Я не смеюсь,— спокойно отвечал Вальдо,— только я не понимаю, что́ это за проклятие?

Он думал, что Линдал не хочет отвечать, так долго она молчала.

— Важно не то, как с нами обращаются, но во что превращают,— выговорила она наконец.— Унижает только то, что коверкает душу. Мы все рождаемся податливыми, как воск, возможно, с большим запасом силы, но мир определяет нашу судьбу и ставит перед нами свои цели, формируя тем самым наше сознание. Вам говорят: мужчина, трудись; нам же: делайте вид, что трудитесь. Вам говорят: мужчина, ты воплощаешь идеал божественного совершенства, беспредельна сила рук твоих, неисчерпаемы твои знания; ты рожден для упорного труда,— поэтому ты получишь в награду все, чего только может пожелать человеческое сердце; нам же: женщина, тебе не помогут ни сила, ни знание, ни труд. Ты сумеешь достичь того же, что и мужчина, но только другими средствами... Такова разница между мужчинами и женщинами. Посмотри,— сказала она, показывая на ямочку у себя на подбородке.— Обладай я всей ученостью мира, всеми знаниями, доступными человеку, и глубоко любящим ангельским сердцем в придачу,— ничто, слышишь, Вальдо, ничто не может помочь мне в жизни больше, чем эта ямочка на подбородке! Она принесет мне богатство, принесет любовь, власть, славу. Стоит только захотеть. Да и на что мне знание? Чем меньше содержимого в голове у женщины, тем легче ей подниматься в гору. Один пожилой господин как-то сказал при мне, что интеллект нужен женщине куда меньше, чем стройная лодыжка. И он прав. Они начинают готовить нас для своих низких целей,— продолжала она, криво усмехаясь,— когда мы еще малютки в туфельках и носочках. Мы сидим на подоконнике, поджав ноги, и смотрим, как во дворе весело играют мальчишки. Нам хочется пойти поиграть с ними. Но любящая рука останавливает нас. «Нельзя! — говорят нам.— На лице у тебя загрубеет кожа, и ты запачкаешь свое очаровательное белое платице». Говорят так ласково, что мы верим, будто нам хотят добра, и, прижимаясь щекой к окну, с тоской смотрим на тех, кому почему-то все можно. Потом мы делаем себе ожерелье из голубых бусинок и идем к зеркалу. Мы смотрим на свое лицо,—

упаси нас боже испортить его цвет, на белое платье, и долго вглядываемся в свои огромные глаза. И вот тогда начинается сбываться тяготеющее над нами проклятие, мы влачим его бремя, пока не станем взрослыми дамами, которые уже не томятся по иной, полнокровной жизни и довольны своей судьбой. Мы уродуем свои души, как китаянки свои ноги, и свято верим, будто такова воля бога, хотя бог тут совершенно ни при чем. Многие из нас полностью изуродованы. Способности, не находящие себе никакого применения, атрофируются, отмирают, у многих же, — такие тем более достойны жалости, — они слабеют, но сохраняются. Мы пеленаем ноги, но они еще не привыкли к бинтовке, мы чувствуем боль и бунтуем в душе. Но все понапрасну. Чувство горечи, юные порывы, стремление к труду, страстное желание найти применение собственным способностям, — все это отмирает, и мы вливаемся в общее стадо. Женщина должна знать свое место, иначе она будет изгнана из общества. И если она умна, она занимает свое место...

Я знаю, о чем ты думаешь, — сказала она, искоса поглядев на юношу. — Я всегда вижу по глазам, что люди думают, когда говорю с ними. «Неужели этой женщине, которая поднимает шум по пустякам, приходится хуже, чем мне?» Да, хуже. Я докажу тебе это на примере. Вот мы стоим с тобой здесь у ворот, оба бедны, оба молоды, оба без друзей. Кажется, между нами никакой разницы. Но давай-ка попробуем поискать свою дорогу в жизни. Первый же фермер, к которому ты придешь пешком, без гроша за душой, — предложит тебе трубку, чашку кофе и ночлег, и если ему не нужен ни землекоп, ни учитель для его детишек, утром дружелюбно помашет тебе рукой вслед. Мне же, если я попрошусь переночевать на ту же ферму, придется отвечать на недоуменные вопросы и чувствовать на себе недоуменные взгляды. Жена фермера-бура недоверчиво покачает головой и отправит меня ужинать со слугами. Спать мне придется в собачьей конуре. Таков не только первый шаг, но и все последующие — и так до самого конца. Мы были равны, пока лежали на руках у кормилицы. И мы снова будем равны, когда нас оденут в саван.

Вальдо в изумлении смотрел на ее подрагивающее лицо. Ему впервые открылся мир подобных страстей и чувств.

— Заметь, однако, — продолжала она, — в то же время у нас всегда есть одно преимущество перед вами. Мы

можем в любой миг достичь довольства и достатка, ради которых вам надо изрядно потрудиться. Одна-две слезинки, пара льстивых слов, капелька самоунижения, умелый показ прелестей, и тут же находится мужчина, который делает предложение. Каждая красивая молодая девица может легко выйти замуж. Мужчин на свете предостаточно. Но той, кто продает себя, — пусть только за обручальное кольцо и фамилию, — нечего важничать перед уличной женщиной, — обе одинаково зарабатывают хлеб свой. Брак по любви — это прекраснейшее воплощение союза душ; брак же без любви лишь гнусная торговля, оскверняющая этот мир. — Она резким движением смахнула с перекладины ворот капли утренней росы. — «К вам относятся по-рыцарски!» — твердят нам. Когда мы хотим быть врачами, адвокатами, законодателями, — кем угодно, лишь бы работа обеспечивала независимое существование, нам говорят: «Нет! Мужчины относятся к вам по-рыцарски, будьте благодарны, чего же вам еще? И что бы вы стали делать без мужчин?»

Линдал смеялась редко, но тут неожиданно среди вельда серебряным колокольчиком зазвенел ее горький смех.

— Я возвращалась сюда дилижансом «Кобба и К°». Третьего дня мы остановились на почтовой станции, чтобы пересест в небольшую карету, дальше дилижансы не ходят. Нас собралось десять пассажиров, восемь мужчин и две женщины. Когда мы с попутчицей ждали, пока перепрягут лошадей, ко мне подошло несколько джентльменов: «Почтовая карета всех не возьмет, поторопитесь занять места», — посоветовали они. Мы с попутчицей поспешили выполнить их совет. И мне предоставили лучшее место, даже укрыли меня пледом, потому что моросил дождь и было прохладно. Только что мы все уселись, как показалась последняя пассажирка, пожилая дама в каком-то немислимом капоре и черной шали, заколотой медной булавкой. «Все места заняты, — заявили ей, — вам придется подождать неделю до следующего рейса». — «Но я не могу ждать. У меня тяжело болен зять», — возразила она, вскарабкалась на подножку и обеими руками уцепилась за наличник окошка. «Что поделаешь, матушка, — сказал один из пассажиров, — право, я очень сожалею, что ваш зять нездоров, но здесь все места заняты». — «Сойдите с подножки, — сказал другой, — не то угодите под колеса». Я встала, чтобы уступить ей место. «О нет,

нет! — вскричали они. — Этого мы не можем допустить». — «Я могу устроиться на полу», — сказал другой. Он уселся у моих ног, и пожилая дама заняла его место.

Из десяти человек рыцарское отношение к женщине проявила только женщина. Придет время, и я постарею и подурнею. Тщетно тогда я буду надеяться на рыцарское ко мне отношение. Пчелы выются над цветком только до тех пор, пока не иссякнет нектар. Не знаю, испытывают ли цветы благодарность к пчелам, если да, — то они просто глупы.

— Но некоторые женщины, — вымолвил Вальдо словно помимо своей воли, — но некоторые женщины наделены большой силой.

Она подняла на него свои прекрасные глаза.

— Сила! Неужели у мужчин когда-нибудь спрашивали, кому суждено обладать силой? Сильными рождаются. Можно запрудить ручей, превратив его в стоячее болото, а можно не сковывать его течение. Но размышлять, должен ли он там быть, — пустое занятие; он существует. И будет делать свое дело, открыто творя добро или тайно зло. Как ты думаешь: если б Гете в детстве был похищен разбойниками и вырос бы в разбойничьей шайке среди дремучих лесов, подарил бы он миру «Фауста» и «Ифигению»? А ведь он оставался бы самим собой, был бы сильнее и мудрее, чем все окружающие. По ночам, у сторожевого костра, он слагал бы баллады, воспевающие грабежи и насилие, и темные лица разбойников пылали бы воодушевлением. И его песни передавались бы из уст в уста и разжигали бы недобрые чувства. Родись Наполеон женщиной, неужто он довольствовался бы мелкими сплетнями на званом чае? Он достиг бы величия, но прославился бы не как великий и царственный, несмотря на все свои пороки, муж, а снискал бы себе известность как одна из тех женщин, чьи имена позорят каждую страницу истории, — женщин сильных, но лишенных права пользоваться своей силой открыто и потому действовавших тайком, через мужчин, чьи умело разожженные страсти помогали им добиться возвышения.

Сила! — воскликнула она, ударяя кулачком по перекладине. — Да, сила у нас есть. И пока нам не надо тратить ее на прокладывание туннелей в горах, на врачевание болезней, на составление законов или накопление капиталов — мы тратим ее на вас. Вы наш товар, наши деньги, точка приложения наших сил. Мы покупаем вас,

продаем, водим за нос и, подобно хитрому Шейлоку, заставляем пресмыкаться у наших ног вшестером, добиваясь прикосновения ручки. И справедливо говорят, что во всех горестях и печалях повинны женщины. Нам не дозволено изучать право, науки, искусства. Хорошо же, — мы изучаем вас. И теперь от нас ничто не укроется. Мы заставляем вас вшестером плясать на нашей ладошке! — Она вытянула вперед руку, — и казалось, в самом деле на ее ладони пляшут какие-то крохотные существа. — А потом мы вас скидываем ко всем чертям, — добавила она, спокойно убирая руку. — Мужчина ни одного слова не скажет в защиту женщины, зато за себя он всегда готов сказать два слова, а в защиту всего человечества не пожалеет и трех.

Линдал смотрела на птицу, которая доклевывала последние золотые зерна кукурузы, а Вальдо не мог оторвать от нее глаз.

Когда она снова заговорила, голос ее звучал размеренно и спокойно.

— Они выдвигают веские доводы против женского равноправия, — сказала Линдал. — Но когда мы начинаем возражать, выясняется, что их души пусты, словно выдолбленные тыквы. Они утверждают, что женщины, от имени которых мы говорим, отнюдь не нуждаются в равноправии и свободе, да и не захотели бы ими воспользоваться. Но если птице и впрямь нравится ее клетка, если ей и впрямь нравится готовый корм, зачем же держать на запоре дверцу? Почему бы не приоткрыть ее? Многие птицы не хотят биться о железные прутья, а отвори им дверцу — вмиг улетели бы.

Она нахмурила лоб и снова облокотилась о перекладину.

— Или вот говорят: «Если женщины обретут свободу, им придется делать работу, к которой они не приспособлены!» Если двое взбираются по одной лестнице, слабый всегда останется внизу. Успех — верное доказательство приспособленности. Слабый никогда не выиграет в состязании. Не мешайте природе, она распределяет работу между людьми так же искусно, как сочетает цвета на грудке птицы. Если мы непригодны к работе, мы не сможем воспользоваться правом на труд. Дело само перейдет в руки тех, кто умнее.

Она говорила все быстрее, как бывает, когда высказывают свои заветные мысли.

Вальдо смотрел на нее пристальным взглядом.

— «Женщине поручено великое благородное дело, исполняет же она его из рук вон плохо», — говорит мужчина. Верно, очень плохо. Но дело это требует широкой культуры, а у нас нет даже самой элементарной. Юрист может не знать ничего, кроме книг по юриспруденции, химик — не видеть дальше порога лаборатории — и исправно выполнять свои обязанности. Женщина же должна обладать многосторонней культурой, в поле ее зрения должна быть человеческая жизнь со всеми падениями и взлетами, ей надлежит хорошо знать мир и людей, быть полной сострадания, сильной своими знаниями и великодушной благодаря своей силе. Мир рожден нами и нами сотворен. Детская душа — непостижимо хрупкий и нежный росток; в детской душе навечно запечатлевается первая упавшая на нее тень — а это обычно тень матери или другой женщины. У всех замечательных людей были замечательные матери, вряд ли есть исключения из этого правила. Человек формируется в первые шесть лет жизни, все последующее — лишь наведение лоска. И, однако, говорят, что женщине, чтобы слыть культурной, достаточно уметь приготовить обед да одеться к лицу, зато на нее, мол, возложена благороднейшая обязанность, она же дурно справляется с этой обязанностью. Заставьте-ка землекопа поработать художником, что из этого получится? Впрочем, слава богу, что у нас есть хоть такое дело, — поспешно прибавила она, — это единственное окошко, позволяющее нам заглянуть в великий мир труда. Самая легкомысленная девушка, занятая танцами да нарядами, духовно облагораживается, когда дети смотрят ей в глаза и задают вопросы. И это единственный дозволенный нам вид образования.

Губы Линдал слегка раздвинулись в улыбке.

— Нас принуждают смотреть на брак как на профессию, а если мы жалуемся, говорят, что мы вольны выходить или не выходить замуж. Так-то оно так, но ведь кошка, плавающая в бадье по пруду, вольна не мочить ног, не хочешь — сиди в бадье; и утопающего никто не вынуждает хвататься за соломинку. Хороша свобода! Пусть каждый мужчина подумает хоть пять минут, что значит для женщины остаться старой девой, тогда он не будет говорить пустое. Легко ли всю жизнь влачить подобное существование да еще жить, как это бывает в девяти случаях из десяти, под ногтем у другой женщины?

Легко ли сознать, что тебе уготована старость без почета, без радости труда, без любви? Много ли нашлось бы мужчин, которые во имя высшей идеи согласились бы пожертвовать всем, что им дорого в жизни?

Она рассмеялась коротким недобрый смехом.

— А когда исчерпаны все аргументы против женщин, говорят так: «Ну что ж, продолжайте в том же духе. Если вы станете такими, как желаете, и дети унаследуют вашу культуру, пострадаете в первую очередь вы сами. Избыток интеллекта приведет к угасанию страстей и тем самым к вымиранию рода человеческого...» Глупцы! — воскликнула она с презрительной гримасой. — Дикарь сидит на обочине, обгладывает кость, попивает самодельное зелье и мурлычет от удовольствия; цивилизованный сын девятнадцатого века сидит в кресле, с видом знатока пригубливает отборные вина и смакует деликатесы. Он-то понимает толк во вкусной еде. Выступающей челюсти и скошенного лба нет уже и в помине, весь его облик изменился с развитием интеллекта, но его обуревают те же страсти — только более утонченные, более избирательные и даже более сильные. Глупцы! Разве мужчины не ели, не дрались за женщин в те времена, когда они еще не умели ни прощать, ни поклоняться богам, когда только еще учились ходить на задних ногах? Даже если исчезнут все благоприобретенные человеческой природой качества, их основа останется незыблемой.

Она помолчала, а потом тихо, будто размышляя вслух, сказала:

— Нам говорят: «Хорошо, предположим, человеческий род уцелеет, — чего же вы добьетесь? Утвердите на земле справедливость и равенство в ущерб любви? Когда мужчины и женщины обретут полное равноправие, любви не останется места. Высококультурные женщины не смогут полюбить и не узнают мужской любви». Неужели же они ничего не видят, ничего не понимают? Ведь это только тетушка Санни хоронит супруга за супругом, приговаривая: «Бог дал, бог и взял, да будет благословенно имя его», — и каждый раз ищет нового. А человек глубокого ума и сильных чувств после смерти супруги, которая ничего не щадила ради него, не находит себе покоя, пока не уснет вечным сном.

Великая душа привлекает к себе — и сама тянется к другим людям с несравненно большей силой, чем душа мелкая; чем выше духовный рост человека, тем глубже

корни у древа его любви и тем раскидистее крона. Именно ради такой любви, а не ради чего-нибудь другого и хочется жить.

Линдал прислонилась головой к каменной ограде и печальным нежным взглядом смотрела вслед удалявшейся птице.

— Настанет время, — сказала она тихо, — когда любовь не будет покупаться и продаваться, когда она перестанет быть средством добывать кусок хлеба, когда жизнь каждой женщины будет наполнена упорным, свободным трудом, — любовь сама придет к ней и озарит все своим таинственным светом, придет неожиданно-негаданно. Но это будет тогда, а сейчас...

Вальдо ждал, пока она договорит, но Линдал, казалось, забыла о нем.

— Линдал, — вымолвил он наконец, прикосновением руки возвращая ее к действительности. — Ты так хорошо говоришь... Если ты уверена, что наступит чудесное, замечательное время...

— Говорить легко! Трудно молчать.

— Отчего же ты не попытаешься приблизить это время? — спросил он с обезоруживающим простодушием. — Когда ты говоришь, я верю каждому твоему слову. И другие прислушаются.

— А вот я в этом не уверена, — сказала она с улыбкой.

Глаза ее вдруг затянула пелена тоски и усталости, как накануне вечером, когда она смотрела на тень подсвечника.

— Я, Вальдо, я? Пока меня не разбудят, я не сделаю никакого добра ни себе, ни людям. Я живу в каком-то сонном оцепенении, замкнулась в себе. Прежде чем спасать других, надо спасти себя самое...

Он смотрел на нее недоумевающими глазами, но она даже не повернулась к нему.

— Видеть добро и красоту и быть не в силах наполнить ими свою жизнь — не значит ли это уподобиться Моисею на горе Нево? Под ногами у тебя земля, где течет молоко и мед, но ступить на эту землю тебе не суждено. Лучше бы уж и не видеть. Пойдем, — заключила она, заглянув ему в лицо, и, убедясь, что он ничего не понял, добавила: — Пора возвращаться. Досс ждет не дождется завтрака. — Линдал повернулась и позвала собаку. Тем временем Досс самозабвенно разрывал кротовую нору, пытаясь добраться до ее обитателя. Этой страсти он пре-

давался с трехмесячного возраста, но еще ни разу ему не сопутствовала удача.

Вальдо вскинул на плечо пустой мешок и двинулся следом за Линдал. Досс трусил рядом с ней.

Линдал размышляла. Может быть, о том, как трудно выразить свои мысли так, чтобы тебя поняли люди, духовно тебе родственные, о том, как легко забрести в пустынные края личного опыта, где уже не услышишь дружеских шагов. Неожиданно ее размышления прервал Вальдо. Он обогнал ее, остановился и неловким движением достал из кармана маленькую резную шкатулку.

— Это тебе, — сказал он.

— Спасибо. — Линдал внимательно рассматривала его подарок. — Славная вещица.

Шкатулка была сделана гораздо искуснее, чем намогильный столб. В переплетающемся узоре цветов чувствовалась более опытная рука резчика. Местами среди цветов разбросаны были пирамидки. Линдал вертела шкатулку в руках, критически оценивая работу. Вальдо не отводил глаз от своего изделия.

— Странно получилось, — задумчиво проговорил он, указывая на одну пирамидку. — Сначала их не было, и я чувствовал, будто чего-то не хватает. Менял узор, пробовал так и этак, пока не вырезал пирамидки. Только тогда стало хорошо. А почему, я так и не понял. Ведь сами по себе они некрасивы.

— Без них узор из гладких листьев был бы однообразен.

Задумчиво, словно речь шла о чем-то очень для него важном, он покачал головой.

— Небо без облаков однообразно, — сказал он, — однако же красиво. Я часто об этом раздумываю. Нет, красоту не создает ни однообразие ни разнообразие. В чем же красота? В небе, и в твоем лице, и в этой шкатулке, только в небе и в твоем лице ее больше. Но в чем она?

Линдал улыбнулась.

— Ты верен себе, Вальдо. Все те же вечные «почему»? Непременно доискиваешься причин? Мне довольно различать, — сказала она, — красивое и безобразное, реальное и нереальное: а что их породило, откуда вообще возник мир, меня не интересует. Конечно, всегда есть какая-нибудь причина, но что мне до нее? Сколько бы я ни старалась ее найти, мне не доискаться; так к чему ломать голову? А если б и доискалась, стало бы мне от этого лег-

че? Нет. У вас, немцев, врожденная склонность к умствованию. Вам непременно нужно докопаться до сущности, как Доссу до крота. Досс прекрасно знает, что ему никогда не добраться до дна норы, но удержаться выше его сил.

— Но ведь может и докопаться?

— Может! Но только никогда не докопается. Жизнь слишком коротка, чтобы гоняться за вероятностью. Нам нужно реально достижимое.

Она взяла шкатулку под мышку и хотела уже было идти, но тут мимо них проскакал Грегори Роуз в шляпе со страусовым пером и в сапогах с блестящими шпорами, в руках у него был хлыст с серебряным набалдашником. Он галантно раскланялся, и им пришлось подождать, пока уляжется поднятая пыль.

— Вот кому надо бы родиться женщиной, — сказала Линдал. — Как счастлив он был бы обшивать оборочками платице своей дочери и как мило восседал бы в гостиной, принимая комплименты какого-нибудь настойчивого поклонника. Разве нет?

— Я не останусь здесь, когда он станет хозяином фермы, — отвечал Вальдо, в понятии которого красота никак не сочеталась с особой Грегори Роуза.

— И правильно! — согласилась Линдал. — Женщина по природе своей тиран. Женоподобный мужчина — вдвойне тиран. Куда же ты пойдешь?

— Все равно куда.

— И что будешь делать?

— Я хочу повидать мир.

— Ты будешь разочарован.

— Как ты?

— Да. Только еще сильнее. Люди и мир благосклонны ко мне, а к тебе — нет. Несколько ярдов земли, клочок голубого неба над головой да возможность помечтать — вот и все, что тебе нужно. Меня же тянет к живым людям. Люди — пусть даже злые, недобрые — интересуют меня больше, чем цветы, деревья или звезды. Временами, — продолжала она, отряхивая на ходу пыль со своих юбок, — когда мои мысли не заняты новой прической, которая скрадывала бы мою короткую шею, я забавляюсь, сравнивая между собой людей. Что общего между тетушкой Санни и мною, тобой и Бонапартом Бленкинсом, святым отшельником Симеоном на его столпе и римским императором, который лакомился языками жаворонков? Кажется, ничего, а ведь все мы созданы из одних и тех же элементов,

только смешанных в разной пропорции. То, что у одного человека в микроскопической дозе, у другого непомерно велико; что у одного в зачаточном состоянии, у другого прекрасно развито, но у всех все есть, и любая душа служит моделью для всех других.

После того, как мы тщательно исследуем самих себя, а ведь мы только самих себя и можем познать, мы уже не найдем ничего нового в человеческой натуре. Сегодня утром, подавая кофе в постель, служанка случайно плеснула мне на руку. Я смолчала, хотя и была раздражена. Тетушка Санни швырнула бы в нее блюдцем и бранилась бы целый час. Реакция разная, но чувство в основе одно и то же: недовольство, раздражение. Если бы Бонапарта Бленкинса, этот бездонный желудок, поместили под микроскоп, искусный анатом разглядел бы у него зачатки сердца и рудиментарные складки, которые могли бы превратиться в совесть и искренность...

Позволь мне опереться на твою руку, Вальдо! Какой ты измазанный! Ничего, ничего, я потом отчищу себе платье щеткой. Забавно сравнивать человека с человеком, но еще забавнее прослеживать сходство между развитием отдельной личности и целого народа или между развитием отдельного народа и всего человечества... Как приятно обнаружить здесь полное тождество, разница только в высоте букв! И как странно увидеть на своем собственном примере тот же самый прогресс и регресс, который отмечен на скрижалях истории, отыскать в своей душе те же пороки и добродетели! Плохо только, что я женщина и мне недосуг предаваться подобным развлечением. Прежде всего, профессиональные обязанности! Даже хорошенькой женщине приходится тратить уйму времени и энергии, чтобы выглядеть всегда безупречно элегантно. А что, наша старая коляска еще цела, Вальдо?

— Да, только упряжь порвана.

— Постарайся привести ее в порядок. Ты должен научить меня править лошадьми. Надо же хоть чему-нибудь выучиться, пока я здесь. Утром служанка показала мне, как готовить одно местное блюдо, а тетушка Санни собирается выучить меня делать панамки. Пока ты будешь чинить сбрую, я посижу рядом с тобой.

— Спасибо.

— За что же? Я делаю это ради собственного удовольствия. Так хочется с кем-нибудь поговорить. Женщины нагоняют на меня тоску, а с джентльменами разговор

такой: «Вы будете сегодня вечером на балу?», «Ах, какая прелесть ваша собачка!», «Какие миленькие у нее ушки!», «Обожаю щенков пойнтеров». Они находят меня очаровательной, обворожительной. Мужчины подобны земному шару, женщины — луне; мы всегда обращены к ним одной стороной; и они даже не подозревают, что существует другая сторона.

Линдал и Вальдо подошли к дому.

— Скажи мне, когда примешься за работу, — попросила она и направилась к крыльцу.

Вальдо смотрел ей вслед. Досс стоял рядом, всем своим видом выражая мучительную нерешимость: остаться ли ему с хозяином или бежать вслед за Линдал? Он переводил взгляд с женщины в широкополой шляпе на своего хозяина, с хозяина на женщину, не зная, на что решиться. Наконец он последовал за Линдал. Вальдо подождал, пока они скроются за дверью, и пошел к себе. «Пусть хоть Досс будет с ней, и то хорошо!» — радовался он.

Глава V

ТЕТУШКА САНИИ УСТРАИВАЕТ НОЧНЫЕ ПОСИДЕЛКИ, А ГРЕГОРИ ПИШЕТ ПИСЬМО

Солнце уже село. Линдал вместе с Вальдо уехали и еще не вернулись. Выйдя подышать вечерней прохладой, худая служанка тетюшки Санни увидела на дороге незнакомого всадника, юношу лет девятнадцати. Ехал он шагом, и служанка оглядела его с головы до ног. Юноша был в высокой поярковой шляпе, затянутой черным крепом, скрывавшим всю тулью, и только ослепительно-белая манишка нарушала мрачное однообразие его траурной одежды. Держался он в седле согнувшись, понуро повесив голову, всем своим видом являя покорность судьбе. Даже своего коня он понукал нерешительным тоном. Юноша явно не торопился, по мере своего приближения к ферме он отпускал поводья. Отметив все эти подробности, служанка сломя голову кинулась в дом.

— Еще один... — кричала она. — Вдовец... По шляпе видно.

— Боже милостивый! — всплеснула руками тетюшка Санни. — Уже седьмой в нынешнем месяце. Знают ведь

люди, кто собой хорош, пригож да у кого денежки водятся. — И, многозначительно подмигнув, она спросила: — Из себя-то каков?

— Лет девятнадцати, глаза подслеповатые, волосы белые, курносый, — доложила служанка.

— Он! Он и есть! — торжествующе объявила тетушка Санни. — Младший Пит ван дер Вальт! Жена у него в прошлом месяце померла. Человек он богатый, две фермы, овец двенадцать тысяч. Я его не видела, мне невестка рассказывала... То-то он мне снился всю ночь, сон в руку...

Она замолчала, потому что в дверях показалась черная шляпа Пита, а затем и он сам. Тетушка Санни гордо выпрямилась и молча, с достоинством указала ему на стул. Молодой человек уселся, убрал ноги под стул и представился кротким голосом:

— Я Пит ван дер Вальт-младший. Пит ван дер Вальт-старший — это мой отец.

Тетушка Санни важно сказала:

— Да.

— Тетушка, — сказал юноша, резко вскакивая, — могу я расседлать коня?

— Да.

Он схватил шляпу и бросился к дверям.

— Что я тебе говорила? Ну, как сердце чувствовало! — сказала тетушка Санни. — Сон-то был вещий. Не говорила ли я тебе утром, что снилось мне чудище какое-то, вроде большой белой овцы, с глазами красными. Одолела я его, это чудище! Белая овца — блондин, глаза красные — как у него, а одолела я — это к свадьбе, значит! Готовь ужин, да побыстрей. Подашь потроха бараньи и лепешки. Небось допоздна засидимся.

Ужин был для юного Пита ван дер Вальт сущей пыткой. Англичанки с их непонятной речью внушали ему смутный ужас, сватался он первый раз в жизни: его покойная супруга сама женила его на себе, и десять месяцев ее сурового самовластия не придали ему ни мужества, ни отваги. Он почти ничего не ел, а если и подносил кусок ко рту, то виновато озирался, словно боясь, что кто-нибудь увидит. Собираясь в путь, он надел на мизинец три перстня, с намерением, когда подадут кофе, непременно держать чашечку, оттопырив мизинец. Но, растерявшись, он держал чашку всеми пальцами. Немногим легче стало ему, когда все встали из-за стола, и они с тетушкой Санни

перешли в маленькую гостиную. Молодой человек как сел, крепко сжав колени и положив на них свой головной убор, так и сидел, теребя поля шляпы. Тетушке Санни, напротив, ужин сообщил приятное расположение духа, и она просто не в силах была долее хранить степенное молчание, тем более что молодой человек пришелся ей по сердцу.

— А мы ведь родня с вашей покойной тетей Селеной, — сказала она. — Сын сводного брата моей матушки был женат на племяннице сводного племянника брата ее отца.

— Да, тетушка Санни, — подтвердил молодой гость. — Я знаю!

— У ее кузины, — продолжала тетушка Санни, еще более словоохотливее, чем обычно, — был рак груди, так ей, помнится, сделал операцию не тот доктор, за которым посылали. Ну, да все обошлось, слава богу.

— Да, — вставил юноша.

— Много раз слышала об этой истории, — распространилась тетушка Санни. — Оказалось, что это сын старого доктора, который, говорят, на самое рождество помер, не знаю уж, правда ли, нет ли? С чего бы умереть именно на рождество?

— В самом деле, с чего? — смиренно согласился юноша.

— А у вас зубы никогда не болели? — поинтересовалась тетушка Санни.

— Нет, никогда.

— Говорят, будто доктор, не сын того, что на рождество помер, а другой, ну, за которым посылали, да не приехал он, — говорят, будто он такую микстуру давал, что еще только пузырек откупоришь, а уже боль как рукой сняло. Сразу было видно — лекарство отменное, — сказала тетушка Санни, — в рот не возьмешь, такой у него вкус гадкий. Вот это был настоящий доктор. И уж нальет, бывало бутыл, так вот какую, — тетушка Санни подняла руку над столом на целый фут, — месяц пей, не выпьешь, и помогает от любой болезни: от крупа, от кори, от желтухи, от водянки. А теперь от всякой болезни изволь покупать новое лекарство. Нынешние доктора против прежних ничего не стоят.

— Не стоят, тетушка Санни, — сказал юноша. Набравшись смелости, он вытащил наконец ноги из-под стула и звякнул шпорами.

Тетушка Санни давно заметила, что молодой человек при шпорах. И напрасно он смущается, потому что шпоры — свидетельство мужественного нрава. Она воспылала еще большей симпатией к молодому человеку.

— А судороги у вас в младенчестве бывали? — полюбопытствовала тетушка Санни.

— Да, — ответил юноша.

— Вот совпадение! — воскликнула тетушка Санни. — И у меня тоже. Просто удивительно, как мы с вами схожи!

— Давайте проведем этот вечер вместе! — выпалил вдруг молодой человек.

Тетушка Санни опустила голову и полузакрыла глаза, но, заметив, что юноша не отрывает глаз от собственной шляпы и все ее уловки не достигают цели, изъявила свое согласие и отправилась за свечами.

В столовой Эмм строчила на швейной машине. Грегори сидел рядом, но взгляд его больших голубых глаз был прикован к Линдал, которая, высунувшись из окна, разговаривала с Вальдо.

Тетушка Санни взяла из буфета две сальные свечки, с победоносным видом подняла их и, подмигнув всем по очереди, объявила:

— Вот чего он попросил!

— Видно, лошади холку натер, хочет салом помазать, — предположил вслух Грегори, не знакомый с местными обычаями.

— Нет, — с негодованием возразила тетушка Санни, — просто мы собираемся провести вечер вместе! — И она вышла триумфальной поступью, унося с собой свечи.

Тем не менее, когда все в доме разошлись по своим комнатам, когда была зажжена высокая свеча, заново наполнен кофейник, когда сама тетушка Санни уютно устроилась в кресле, а жених рядышком на стуле, — ее стала одолевать скука. Молодой человек сидел с холодным видом и словно язык проглотил.

— Не угодно ли вам поставить ноги на скамеечку? — спросила тетушка Санни.

— Нет, нет, благодарствую, — отвечал он, и снова водворилось молчание.

В конце концов, опасаясь заснуть, тетушка Санни налила по чашке крепкого кофе себе и своему ухаживателю. Это заметно оживило их обоих.

— Сколько же вы прожили с женой, кузен?

— Десять месяцев, тетушка Санни.

— А младенцу вашему сколько было?

— Три дня только и пожил.

— Тяжело, ох как тяжело, когда бог прибирает твоего мужа или жену,— посочувствовала тетушка Санни.

— Ваша правда,— сказал юноша,— но на все воля божья.

— Да,— сказала тетушка Санни и вздохнула.

— Какой она была хозяйственной женщиной! Ах, тетушка Санни! Никогда не забуду, как она сломала мутовку о голову служанки, когда та забыла стряхнуть пыль с полотенца, которым накрывают подойник.

Тетушка Санни почувствовала укол зависти, ей самой еще никогда не случалось ломать палки о головы служанок.

— Надеюсь, она и умерла хорошо, как жила,— сказала тетушка Санни.

— О, смерть у нее была чудесная: она прочитала псалом, сотворила две молитвы, начала третью — и конец.

— Наказывала она что-нибудь перед смертью? — поинтересовалась тетушка Санни.

— Нет,— сказал юноша.— Только за ночь до того, как ей преставиться, лежу это я в постели, у нее в ногах, и чувствую: она меня пинает. «Пит»,— окликает она меня. «Я здесь, Энни, сердце мое». А она и говорит: «Малютка наш, что умер вчера, приходил ко мне... Стал вот здесь, над сундуком, и говорит...» — «Что говорит?» — спрашиваю. «Говорит: коли мою маменьку бог приберет, пусть отец женится на полной женщине». — «Хорошо», — отвечаю.

Немного погодя я уснул. Слышу, она опять меня будит. Снова, мол, младенец приходил, велел тебе жениться на женщине старше тридцати, и чтобы до тебя у нее два мужа было.

— После этого я долго не мог заснуть, тетя. И только заснул, в третий раз меня будит. «Опять приходил наш малютка,— говорит она мне,— и велел не жениться на женщине с родинкой». Я и это обещал, а наутро она преставилась.

— Видение это, значит, такое было,— сказала тетушка Санни.

Юноша печально кивнул. Он вспомнил о младшей сестре жены, худенькой девушке с родинкой, вспомнил, как вечно ревновала его жена, и подумал: уж лучше оставался бы

этот младенец на небесах и не пророчествовал, стоя над сундуком.

— Полагаю, что вы по этому делу ко мне и пожаловали,— сказала тетушка Санни.

— Да, и па говорит, чтобы я непременно женился до стрижки овец. В эту пору на все глаз да глаз нужен. А служанки только все дело перепортят.

— До стрижки овец, говорите?

— Да, тетушка Санни. В следующем же месяце и венчаться,— прошептал юноша, видимо, смирясь со своей участью.— Можно мне поцеловать вас, тетушка Санни?

— Фи! — запротестовала тетушка Санни, но тут же сама одарила его звонким поцелуем.— Подвинь стул-то поближе,— предложила она.

Он придвинулся вплотную к тетушке Санни, и так, локоть к локтю, они просидели до зари.

Утром Эмм, проходя через спальню тетушки Санни, увидела, что она стягивает с себя сапожки, готовясь лечь спать.

— Где же Пит ван дер Вальт? — спросила Эмм.

— Уехал,— отвечала тетушка Санни.— Ровно через четыре недели я выхожу за него замуж... Глаза слипаются,— прибавила она.— Этот дурачок совсем не умеет объясняться в любви.— Не снимая платья, она залезла на свою огромную кровать и укрылась до самого подбородка стеганым одеялом.

Накануне венчания тетушки Санни Грегори Роуз сидел на каменной ограде крааля за своим глинобитным домиком. Стояла жара, солнце пекло немилосердно, но он не уходил в тень. Глаза его неотступно следовали за легкой двухместной коляской с откидным верхом, которая с бешеной скоростью неслась через кустарник по направлению к ферме. Грегори сидел не шевелясь, пока коляска не скрылась из виду, и лишь тогда почувствовал, что сидит на раскаленных камнях. Он соскользнул с ограды и пошел домой. На пороге под ноги Грегори подвернулось ведро, и он в сердцах зашвырнул его в угол комнаты. Это доставило ему некоторое облегчение. Затем он уселся на сундучок и принялся было вырезать заглавные буквы из газеты. Но, увидев, что пол весь усеян этими вырезками, собрал их и начал выводить на промокательной бумаге разные инициалы перед своей фамилией: Г. Роуз, Э. Роуз, Л. Роуз, Л. Л. Роуз, Л. Л. Л. Роуз. Разукрасив всю промокашку, он скользнул по ней недовольным взглядом и сел писать письмо.

Я давно не писал тебе, поверь, все было недосуг. Впервые, не припомню с каких пор, я сижу утром дома. Эмм считает, что по утрам я непременно должен бывать у них, но сегодня ехать на ферму нет никаких сил.

У меня много новостей.

Тетушка Санни, мачеха Эмм, выходит замуж, завтра венчание. Сегодня они уехали в город, свадьбу предполагают справить на ферме ее брата. Эмм и я отправляемся туда верхом, а ее кузина поедет в кабриолете с немцем. Кажется, я не писал тебе с тех самых пор, как Линдал, кузина Эмм, вернулась из пансиона. Думаю, эта гордячка совсем не понравилась бы тебе, Джемайма. Упиваясь собственной красотой, она не снисходит до разговоров с простыми смертными. Можно подумать, будто она одна в целом свете воспитывалась в пансионе.

Завтра — грандиозное торжество: съезжаются буры со всей округи, пляски будут до утра. Но все это не по мне, ибо, как справедливо заметила кузина, пляски буров ужасно вульгарны. На последнем таком сборище я танцевал с Эмм, единственно чтобы доставить ей удовольствие. Понять не могу, что она находит в этих танцах. Эмм предлагала, чтобы мы обвенчались в один день с тетушкой Санни. Однако мне удалось убедить ее подождать, пока мы не управимся со стрижкой овец, тогда я смог бы познакомиться с тобой. Полагаю, что и она (я имею в виду ее кузину) принуждена будет жить с нами, поскольку у нее нет ничего, кроме каких-то жалких пятидесяти фунтов.

Мне она совсем не нравится, Джемайма, совсем, уверяю тебя. Не думаю, чтобы понравилась и тебе. Прежде всего она эксцентрична до неприличия: взять хотя бы ее привычку разъезжать повсюду в двуколке с этим неотесанным немцем! Полагаю, женщине вообще неприлично выезжать с мужчиной, если она с ним не помолвлена. Ты согласна со мной? Ну будь это я — другое дело, мы ведь будущие свойственники. Так нет же, меня она третирует! Третьего дня я привез на ферму альбом с твоими фотографиями и любезно предложил ей взглянуть. А она только бросила: «Благодарю вас», — и даже не соизволила головы повернуть: что мне, дескать, до ваших родственников?

Ей запрягают в двуколку самых норовистых лошадей, она сажает у себя в ногах презлую дворняжку, принадле-

жащую немцу, и отправляется на прогулку одна! Подумай только, одна! Своей сестре я такого не позволил бы. Не припомню, как это случилось, но прошлым утром я оказался именно на той дороге, по которой она ездит, так эта дрянная собачонка — зовут ее Досс, — увидев меня, по обыкновению подняла такой лай, что лошади взбрыкнули и в щепы разнесли щиток у кабриолета. Надо было видеть это зрелище, Джемайма! Никогда не видел таких нежных и крошечных ручек, как у нее, они обе уместились бы у меня в ладони. Но, Джемайма, надо иметь железные руки, чтобы осадить лошадей, как это сделала она. Когда я предложил свою помощь, она сказала: «Благодарю вас, я сама справлюсь. Я их буду держать на мундштуке, пока челюсти им не сверну!» Захохотала и погнала лошадей. Пристало ли так вести себя женщине!

Скажи отцу, что еще до истечения срока полугодовой аренды я женюсь на Эмм. Пара моих страусов высидивает птенцов, но я уже три дня не заходил в крааль. Все мне опостылело. Не знаю, что со мной, знаю лишь, что я нездоров. Если в субботу я поеду в город, наведаюсь к доктору, пусть он осмотрит меня, но, наверное, она поедет сама. Как ни странно, она никогда не посылает своих писем со мной. Когда я предлагаю свои услуги, она говорит, что не написала никаких писем, а на следующий же день едет в город сама. Пусть только это останется между нами, Джемайма, но дважды я привозил ей с почты письма, надписанные мужской рукой, и могу голову дать на отсечение, что одной и той же рукой, потому что я прекрасно запомнил почерк до каждой точечки над *i*! Право же, мне до этого нет никакого дела, но как жених Эмм, несмотря на свою личную неприязнь, я не могу не интересоваться ее судьбой. Надеюсь, она не замышляет ничего дурного. Жаль мне того человека, который на ней женится, вот уж ни за что на свете не желал бы оказаться на его месте. Если б моя жена загордилась, я бы мигом сбил с нее спесь. Мужчина не мужчина, если не умеет заставить женщину повиноваться своей воле. Возьми Эмм, ты знаешь, как я к ней привязан, но мое слово для нее — закон. Скавано надень то-то, сядь там-то, с тем-то не разговаривай — и конец! Повторений не требуется.

Мужчина, позволяющий командовать собой женщине, просто тряпка.

Кланяйся маменьке и малышам. Здесь очень красиво, просто прелесть, и овцы заметно потучнели с тех пор,

как их вымыли. Поблагодари от меня отца за жидкость против паразитов, она отлично помогла.

И Эмм посылает вам поклон. Она шьет мне шерстяные рубашки. Конечно, маменькины сидели на мне не в пример лучше.

Пиши скорей!

Твой любящий брат

Грегори.

Только что она проехала мимо. Я сидел на ограде загона совсем близко, но она даже не кивнула.

Г. Н. Р.»

Глава VI

БУРСКАЯ СВАДЬБА

Было утро. Грегори и Эмм ехали на ферму дядюшки Мюллера, где должно было начаться свадебное торжество. Лошади бежали трусцой, но Грегори недовольно ворчал в сторону Эмм:

— Вот уж не думал, что ты охотница до скачки!

— Ты называешь это скачкой? — удивилась Эмм.

— Вот именно скачкой! Так и лошадей недолго загнать. Я уже не говорю о себе. Всю душу вытрясло, — продолжал Грегори раздраженно и, повернув голову, поглядел на ехавшую позади двуколку. — Я думал, что Вальдо сумасшедший... Но сегодня и он что-то не спешит. Можно подумать, что их вороные жеребцы ноги приступили.

— Просто пылью не хотят дышать, вот и держатся на расстоянии. Видишь, мы остановились, и они стоят.

Убедясь в правоте Эмм, Грегори тронул свою лошадь.

— Это все твоя кобыла, — сказал он, — такую адскую пыль поднимает, сил нет.

За ними следом двинулась и двуколка.

Линдал передала вожжи Вальдо.

— Возьми, — сказала она, — поедем шагом. Пусть лошади сами идут, отдохнуть хочется, не будем сегодня гнать. Я устала.

Она откинулась на спинку сиденья, передав Вальдо вожжи, и коляска медленно покатилась по ровной дороге

в серых предрассветных сумерках. Они проехали мимо зарослей молочая, где старый немец некогда, много лет назад, увидел чернокожую женщину, изгнанную с фермы. Но мысли молодых людей, стремившихся навстречу будущему, были заняты не старым немцем. Выйдя из задумчивости, Вальдо прикоснулся к руке Линдал.

— Ты что?

— Я думал, ты заснула. Боялся, как бы ты не выпала из коляски, — сказал он, — ты так тихо сидела.

— Нет, нет, я не сплю. Только, пожалуйста, не говори со мной. — Некоторое время спустя она вдруг обронила: — Какая это, должно быть, ужасная вещь — произвести на свет божий человеческое существо.

Вальдо повернул к ней голову. Она сидела в углу кабриолета, кутаясь в пышную голубую шаль и не отрываясь смотрела на лошадей. Не откликаясь на это неожиданное замечание, он только тряхнул поводьями.

— Пусть у меня нет совести, — прибавила она, — но я не хотела бы дать жизнь человеческому существу. После того как оно изведает всю тяжесть мук и грехов, на меня падет некая тяжкая десница и чей-то голос прогремит: «Ты породила это существо ради собственного удовольствия. Любуйся же своим творением!» Пусть чадо мое доживет до восьмидесяти лет, оно будет тяжким бременем у меня на шее. У него будет право требовать от меня помощи и проклинать меня за те горести, которые ему придется вынести. Отец и мать подобны богу: окажись их творение неудачным, они не смеют умыть руки. Пройдут многие годы, но никогда не настанет день, когда они скажут своему младенцу: «Что нам до тебя?»

Вальдо промолвил задумчиво:

— Как поразительно, что люди могут порождать себе подобных!

Но его слова слились в ушах Линдал со стуком копыт: поглощенная своими мыслями, она слышала их и не слышала, эти слова.

— Говорят: «Бог посылает детей». Изю всех возмутительных лживых выдумок, распространяемых людьми себе в утешение, эта мне наиболее ненавистна. Так, наверно, утешал себя мой отец, зная, что умирает от чахотки, и моя мать, когда выяснилось, что ей не на что меня кормить, и все-таки они произвели меня на свет, обрекли на те же муки, которые испытывает голодная собака, выпрашивающая себе пропитание у незнакомцев. Не говорят

же люди, что бог посылает книги, или газетные статьи, или машины, которые они создают. А тут со вздохом пожимают плечами и уверяют себя, что ни в чем не виноваты. Лжецы! «Бог посылает детей!» — Линдал с досадой стукнула ногой о щиток. — Пусть в это верят малые дети. Они благоговейно притрагиваются к крошечному посланцу светлого царства божьего, а потом шныряют по комнате в поисках белого перышка, которое, может быть, обронил ангел небесный. В их устах эта фраза полна значения, на языке же остальных — это злонамеренная ложь. И что примечательно, — сказала она, переходя от страстного негодования к иронии, — будь у законных супругов хоть шестьдесят человек детей, все твердят, будто они от бога! Но о незаконнорожденном никто не скажет, что он послан богом. Кем же тогда, чертом? — Она рассмеялась своим насмешливым, холодновато-серебристым смехом. — Не странно ли, что один послан небом, а другой — преисподней? А с виду ведь, ей-ей, не отличишь одного от другого.

Вальдо слушал с нарастающим изумлением. Он никак не мог понять, на какую нить нанизаны ее мысли, ему был закрыт доступ в мир ее чувств.

Линдал плотнее запахла в шаль.

— Как, должно быть, хорошо верить в черта! — сказала она. — Жаль, что я не верю. Будь от молитв прок, я бы, кажется, готова денно и ночно на коленях молить всевышнего: «Даруй мне веры в сатану». Блаженны верующие в сатану. Пусть они последние себялюбцы, пусть погрязли в чувственных утехах; им всегда можно сослаться на волю божью или наущение дьявола, всегда есть на кого свалить свои грехи. А вот нам, несчастным безбожникам, самим приходится нести свое бремя. *Сами* это сделали. Ни бог, ни дьявол тут ни при чем. «Сами сделали», — вынуждены мы говорить себе. И эти слова для нас — как отрава... Вальдо, — вымолвила она вдруг с нежностью, так не вязавшейся со злой иронией, только что звучавшей в ее голосе, — мне так хорошо с тобой, я люблю тебя. — Она положила голову ему на плечо. — С тобой я забываю, что я женщина, а ты — мужчина, чувствую только, что мы оба — мыслящие существа. Другие мужчины, люблю я их, нет ли, для меня лишь воплощение всего плотского, ты же — воплощение всего духовного. Мне хорошо с тобой... Смотри, смотри, как порозовели вершины холмов, сейчас взойдет солнце!

Вальдо обвел взглядом полукруг золотистых холмов. Первые лучи солнца ударили в глаза лошадям, они замотали головами; зазвенели, заблестели на солнце уздечки, и чистым золотом засияли медные насечки на сбруе.

В восемь часов утра они подъехали к коттеджу из красного кирпича. Справа от него находились краали, слева — небольшой сад. У коттеджа царило необычное для столь раннего часа оживление. Легкая двуколка, просторный фургон и пара седел, прислоненных к стене дома, возвещали о прибытии первых гостей, за которыми должны были последовать другие, в гораздо большем количестве. На свадьбы буров гости собираются толпами, приводящими в изумление человека, который странствует по пустынным плато. Все утро со всех сторон подъезжают всадники на скакунах самых разных мастей, седел у стены все прибавляется. Гости обмениваются рукопожатиями; угощаются кофе; разбившись на группы, разглядывают все подъезжающие легкие конные экипажи и просторные колымаги, откуда выгружаются полнотелые «тетушки» и их хорошенькие дочери и высыпают целые выводки детишек, наряженных в ситец и молескин всех цветов радуги, в сопровождении нянь-готтентоток, нянь-банту, нянь-мулаток, светло-желтого, кофейного, темно-шоколадного цвета.

Шум и возбуждение постепенно нарастают по мере того, как приближается время приезда молодых. На кухне полным ходом идут приготовления к пиршеству, гостям подают кофе, но вот под ликующие крики и под грохот ружейных выстрелов показывается экипаж с новобрачными, а за ними и вся свадебная процессия. Невеста и жених, сопровождаемые шафером и подружкой, торжественно шествуют в отведенный им покой, где все украшено белыми лентами и искусственными цветами, и чинно усаживаются на стулья. Немного погодя подружка невесты и шафер встают и начинают поочередно вводить в спальню всех гостей, и те желают молодоженам благополучия и целуют жениха и невесту. После этого на столах расставляют кушанья, и начинается пир, который длится вплоть до заката. Но вот солнце скрылось, из гостиной выносят мебель, глиняный пол, пропитанный воловьей кровью, сверкает, словно паркет красного дерева. Дамы удаляются в боковые комнаты и через некоторое время появляются, наряженные в белые муслиновые платья, все в ярких лентах и медных украшениях. В канделябрах на стенах

гостиной зажигают свечи, пара скрипачей в углу поднимают смычки, и начинается бал. Открывают его новобрачные, и скоро уже зала полна кружащихся пар, все веселятся напропалую, и пуще всех — жених и невеста. То и дело какой-нибудь звонкоголосый гость, отплясывая со своей дамой танец «Ах, в синем море» или «Ян Спери-виг», громко подпевают музыке. Парни кричат и бьют в ладоши, веселая суматоха царствует в доме до одиннадцати часов вечера. К этому времени детей, запертых в боковых комнатах, нельзя уже утихомирить даже с помощью вкусных пирожков и булочек; они поднимают такой дружный рев и визг, что заглушают бравурную мелодию скрипок, и маменьки, побросав кавалеров, кидаются наводить порядок; они шлепают своих чад, колотят маленьких нянь и укладывают всех спать на кроватях, под столами и за сундуками. Через полчаса во всех боковых комнатах слышится дружное сопенье малышей, и ходить по этим комнатам становится опасно, можно наступить кому-нибудь из детей на руку или на ногу. К этому времени ноги танцоров вконец разбивают глиняный пол, и в гостиной висит облако мелкой пыли, эта пыль клубится вокруг свечей, лезет в нос, вызывая кашель у астматиков, сгущается, так что в конце концов за ее густой пеленой исчезают фигуры людей на другом конце комнаты, и даже танцующие видят лица своих партнеров сквозь желтый туман.

В полночь новобрачную ведут в спальню и раздевают. Тушат свет. Шафер подводит к дверям жениха и вручает ему ключ от спальни. Дверь закрывается и запирается. Тут уж веселье разгорается еще пуще. До утра никто не ложится спать, да и негде, — всюду спят дети.

Именно в эту пору свадебного торжества — тетушка Санни и ее муж только что удалились в спальню — Линдал сидела у открытой двери одной из боковых комнат и смотрела на танцующих. В углу залы сидел угрюмый Грегори. Эмм коснулась его плеча и сказала:

— Пригласи потанцевать Линдал. Ей, должно быть, так грустно, она весь вечер сидит в одиночестве.

— Я ее трижды приглашал, — отрывисто ответил ее возлюбленный, — ни ради тебя, Эмм, ни ради кого-нибудь другого я не стану, подобно собаке, ползать у ее ног. Получать пинки — мало удовольствия.

— О, я же не знала, Грег, что ты ее приглашал! — робко сказала Эмм и пошла разливать гостям кофе.

Тем не менее через некоторое время Грегори оказался у открытой двери, за которой сидела Линдал. Потоптавшись в нерешительности, он спросил, не принести ли ей чашечку кофе. Она отказалась. Он постоял еще несколько минут (в самом деле, почему бы ему не постоять здесь?) и вошел в комнату, где она сидела.

— Может быть, принести вам скамеечку для ног, мисс Линдал?

— Благодарю вас.

Он поставил ей под ноги скамеечку.

— Из окна дует. Стекло разбито. Не закрыть ли чем-нибудь дыру?

— Не надо. Здесь дышать нечем.

Грегори огляделся, но так и не сообразив, чем еще может ей услужить, сел на сундук по другую сторону двери. Подперев рукой подбородок, Линдал задумчиво глядела перед собой, и глаза ее, серо-стальные днем, казались теперь совсем черными. Предположив, что она забыла о его существовании, он осмелел и стал любоваться ее маленькими руками и шеей, на что никогда не решился бы, если бы у него было хоть малейшее опасение, что она может поднять на него глаза. Линдал была в черном, вся в черном, что еще резче отделяло ее от одетых в белое и украшенных дешевой бижутерией женщин; только руки у нее были белые да на пальце сверкал бриллиант. Откуда у нее это кольцо? Он подался вперед, пытаясь разобрать вензель, но было слишком темно. Тогда Грегори поднял глаза; он неожиданно поймал на себе ее взгляд и почувствовал, что она смотрит на него не так, как всегда, — словно он пенек или камень, валяющийся на ее пути. Он не смог бы сказать, что выражает ее взгляд, порицание или одобрение, — понял только, что она глядит на него внимательно, впервые глядит как на человека. Смутная надежда наполнила ему душу. Он стиснул руки, лихорадочно соображая, что бы ей сказать, но не мог произнести ни одного из тех слов, которые мысленно обращал к ней, сидя в своем глинобитном домике. Наконец он промолвил:

— Эти бурские пляски ужасно вульгарны.

И тут же пожалел о своем неумном замечании.

Прежде чем Линдал успела ответить, в комнату заглянула Эмм.

— О, идем же, Грег, — сказала она, — сейчас начинают танец с подушками, а мне ужас как не хочется цело-

ваться со здешними молодыми людьми. Скорее пригласи меня!

Она взяла его под руку.

Он сказал, не двигаясь с места:

— Право, Эмм, там такая пыль! Неужели тебе не надоело еще танцевать?

— Пыль? Ну и что? А танцевать мне никогда не надоест.

Грегори продолжал сидеть.

— Мне совсем не хочется танцевать. Я устал,— сказал он.

Эмм высвободила руку, и оказавшийся у дверей молодой фермер тотчас же увлек ее за собой.

— Мне часто казалось...— заговорил Грегори, но Линдал, не дослушав его, поднялась.

— Я устала,— сказала она.— Куда это Вальдо запропастился? Он должен отвезти меня домой. Уже три часа. А эти люди, видимо, не намерены расходиться до утра.

Она прошла мимо скрипачей, мимо скамьи, на которой теснились утомленные танцоры, и направилась к выходу. На веранде толпились мужчины и подростки, они курили и, заглядывая в окна гостиной, отпускали грубые шуточки по адресу танцующих. Вальдо, конечно же, здесь не могло быть, и она пошла через двор к темневшим чуть поодаль экипажам.

— Вальдо,— позвала она, заглянув в кузов просторного возка на высоких колесах,— ты здесь? Ничего не вижу после этой иллюминации. Ты здесь?

Он лежал, устроившись на полу, между двумя сиденьями. Она поднялась на облучок и присела.

— Я так и подумала, что ты здесь,— сказала она.— Отвези меня домой. Нет, погоди немного.

Линдал откинула голову на сиденье. Оба они молчали, прислушиваясь к голосам скрипок, врывавшимся с порывами ночного ветерка в тишину ночи, прислушиваясь к топоту танцующих и взрывам смеха. Она нашла в темноте его руку.

— Как хорошо вот так лежать и слушать! — сказала Линдал.— Слушать, как шумит чужая жизнь, бьется о твою, подобно приливу, понимать, как отличается жизнь любого человека от твоей собственной! — Она глубоко вздохнула.— Когда моя жизнь кажется мне ничтожной, а это угнетает меня, мне хочется соединить в единой кар-

тине множество разрозненных эскизов человеческого существования. Вот средневековый монах с четками в руках. Неторопливым шагом идет он по тихому монастырскому саду и смотрит на траву под ногами и на отягченные плодами яблони; вот ребятишки далекой Малайи, нагишом играющие в камешки на залитом солнцем берегу океана; вот индийский мудрец, один под своим баньяном, пытающийся раствориться в мыслях о божестве; вот пляшущие на улицах древнего Рима вакханки, украшенные венками из виноградных листьев, все в белом; вот мученик, в ночь перед казнью глядит он на небо сквозь узкое оконце темницы, и чудится ему, будто за спиной у него уже растут крылья. — Она задумчиво провела рукой по лицу. — Вот эпикурец, рассуждающий в римских термах в кругу своих учеников о природе счастья; и знахарь, собирающий травы в лунную ночь; от хижин на склоне холма слышится лай собак, ветерок доносит голоса женщин, плач детей; вот мать, кормящая малышей молоком и хлебом из деревянной миски и напевающая им колыбельную... Приятно видеть все многообразие мира, приятно чувствовать его в себе. От сознания, что тебе принадлежит вся жизнь, — твоя собственная кажется значительней, рушатся огораживающие тебя стены.

Она вздохнула тяжело, всей грудью.

— Надумал ты что-нибудь, Вальдо? — спросила она некоторое время спустя.

— Да... возьму гнедую кобылу... постранствую... погляжу белый свет... повидаю мир... — Он говорил отрывисто, запинаясь. — Подыщу себе какую-нибудь работу...

— Какую же?

— Не знаю...

Она сделала нетерпеливый жест.

— Это несерьезно. Постранствую... погляжу белый свет... найду работу! Нельзя начинать жизнь, не ставя перед собой определенной цели. Предаваясь пустым мечтам, ты потерпишь поражение, будешь обманут, растоптан. Жизнь твоя пролетит зря, без всякой пользы. Вот говорят: гений. Кто же он? Не кто иной, как человек, понимающий свое предназначение и делающий все, что в его силах. Вальдо, — сказала она, переплетая пальцы с его пальцами, — мне так хотелось бы тебе помочь. Пойми: ты должен решить, кем будешь и чем будешь заниматься. Неважно, какое занятие ты себе изберешь — будь

фермером, коммерсантом, художником, но прежде всего наметь главную цель в жизни и все подчини ее достижению... Жизнь у нас одна. Секрет успеха — в умении сосредоточиться. Именно об этом свидетельствует жизнь любого великого человека, всякое великое творение. Постарайся все перепробовать, все посмотреть, но посвятить свою жизнь чему-либо одному. Для того, кто ставит себе определенную цель, неудержимо стремится к ней, и только к ней, — нет ничего невозможного. Сейчас я поясню свою мысль. Слова сами — слишком невразумительны, они приобретают яркость только в образной речи.

Представь себе женщину — молодую, одну на всем божьем свете, беспомощнейшее в мире существо. Таковую, как я. Она вынуждена пробивать себе дорогу в жизни. Заниматься тем, чем ей хотелось бы, она не может по той простой причине, что она — женщина, и вот она пристально всматривается в себя и в окружающий мир, пытаясь уяснить себе, какой путь ей избрать. Помощи ждать неоткуда, кроме как от себя самой. И она ищет. Все ее богатство: сладкоречивый голос с вкрадчивыми интонациями, красивое, очень красивое лицо, способное хранить и выражать чувства, которые непременно стерлись бы, если бы их попытались облечь в слова, и редкий дар проникать в чужую душу, читая в ней, как в раскрытой книге. И как же ей распорядиться этим богатством? Поэт, писатель нуждается только в остроте духовного зрения; ему нет необходимости в прекрасном теле, выражающем сокровенные переживания. Художник нуждается в чувстве цвета и формы, музыкант нуждается в совершенном слухе, — а мещанин вообще не нуждается в духовных дарах. Но есть некое искусство, которое требует от женщины всего ее богатства: хрупкого выразительного тела, нежного голоса, умения заглядывать в чужую душу. Все эти качества нужны и актеру, который впитывает в себя, а затем воспроизводит на сцене человеческие чувства, но это почти все, что ему нужно. Итак, женщина поставила себе цель. Но как ее достичь? Ей предстоит преодолеть бесчисленные трудности, предстоит вынести бедность, нужду, одиночество. Как нескоро удастся ей хотя бы ступить на заветный путь! Ошибки юности — непомерно тяжелая ноша, да пронесет она их до конца бодро, не сгибаясь и не сетуя на судьбу. Для горьких сожалений будет довольно времени на том свете, на этом же свете жизнь слишком коротка. Заблуждения помогают нам

понять жизнь... — Помолчав, Линдал продолжала: — И если она вынесет все это, научится терпеливо ждать, не падать духом, не приходить в отчаяние, неуклонно следовать цели, подчиняя ей все и вся — она, быть может, и преуспеет. Люди отступают перед неукротимой волей. Такая воля способна даже переломить ход событий. Это я знаю по своему скромному опыту. Много лет назад я твердо решила попасть в школу. Казалось, что это невозможно. Но я набралась терпения, я выжидала, приглядывалась, шила себе платье, наконец написала в пансион. А когда все было готово, заставила голландку уступить. Мелочь, конечно. Но ведь жизнь состоит из мелочей, как наше тело — из клеток. Мелкие дела ведут к великим делам. Должны вести, — тихо заключила она.

Вальдо слушал. Но, увы, эту исповедь, это откровение сильного, гордого, мятежного женского сердца он воспринял как общие слова, относящиеся ко всем и ни к кому в отдельности. Унылыми глазами смотрел он на сверкавшее звездами небо.

— Да, — сказал он. — Но когда лежишь и думаешь, невольно приходишь к мысли, что нет ничего такого, чего бы стоило добиваться. Вселенная так велика, человек так мал...

Она сердито тряхнула головой.

— Но мы не должны думать об этом! Это безумие. Это болезнь! Не вечны дела человеческие: Моисей мертв, мертвы пророки, и книги, которыми зачитывались наши бабушки, покрылись плесенью. Поэт, и живописец, и актер... Еще не затихли рукоплескания, а их имена уже позабыты. Позабыты, как давно пройденные вехи. Они-то верили, что благодарное человечество сохранит о них память, но время стерло их имена со своих скрижалей, как оно стирает с лица земли горы и целые материки. — Линдал приподнялась на локте. — Окажи мы даже небываемую услугу человечеству, сохрани оно навечно следы наших дел, что из того? Ведь и само человечество всего лишь недолговечный цветок на древе времени? Прежде чем этот цветок раскрылся, цвели другие, и будут цвести, после того как он увянет. Где был человек во времена дицинодонтов, когда первые обитатели земли нежились в первозданной тине? И найдется ли ему место в далеком грядущем? Мы — искорки, тени, пыльца на ветру времени. Мы родились, чтобы умереть. Наша жизнь — лишь недолгий сон... Таков ход твоих мыслей, Вальдо?

Когда нас охватывает лихорадочное желание жить, безумная жажда самоутверждения, жажда знаний, деятельности, тогда такие мысли действуют на нас, как успокоительное средство. Но они — яд, не пища. В неумеренно большой дозе они леденят кровь, убивают нас. Не поддавайся этим мыслям, Вальдо. Я хочу, чтобы твоя жизнь была прекрасной, чтобы ты прожил ее не даром. Ты честнее и сильнее меня и настолько же лучше меня, насколько божий ангел лучше грешника, — сказала она. — Употребляй же свою жизнь с пользой.

— Хорошо, постараюсь, — согласился он.

Она придвинулась к нему ближе, так что жесткие курчавые волосы его коснулись ее щеки, и замерла.

Досс, лежавший рядом с хозяином, перебрался через сиденье и свернулся клубком у ее ног. Она накрыла его подолом юбки, и все трое долго сидели неподвижно.

— Вальдо, — позвала она вдруг. — Над нами смеются.

— Кто? — спросил он, приподнимаясь.

— Звезды, — ответила она тихо. — Смотри, каждая из них со смехом показывает в нашу сторону крохотным серебряным пальчиком. Их смешит, что мы все толкуем о завтрашнем дне, не думая о том, что вот-вот прикосновение чьей-то холодной руки усыпит нас навеки. Звезды смеются над нами, Вальдо.

Они долго не могли оторвать глаз от усыпанного звездами неба.

— Ты... ты молишься когда-нибудь? — тихо спросил Вальдо.

— Нет.

— И я нет. Но когда я гляжу на небо, мне хочется молиться, — сказал он еще тише. — Если б я стоял на уходящей высоко-высоко скале, на самом краю света, один я, да звезды на небе, и звезды кругом, и звезда подо мной... Я не сказал бы ни слова, — но мои чувства выплеснулись бы в безмолвной молитве.

Они долго молчали. Досс уснул, согревшись у нее в ногах. Ветер становился все холоднее.

— Я замерзла, — наконец сказала Линдал. — Запряги лошадей и скажи мне, когда все будет готово.

Линдал соскользнула на землю и пошла к коттеджу, Досс нехотя поплелся за ней, недовольный, что его разбудили.

В дверях она столкнулась с Грегори.

— Я ищу вас по всему дому, Позвольте мне отвезти вас домой, — предложил он.

— Вальдо отвезет меня, — уронила она, проходя мимо с безразличным видом. Но тут же передумала и повернулась к нему. — Впрочем, что ж, пожалуй, если вам угодно.

Грегори побежал искать свою невесту. Он нашел ее в задней части дома, где она разливала кофе для гостей. Положив ей руку на плечо, Грегори сказал:

— Ты поедешь вместе с Вальдо, а я отвезу твою кузину.

— Но я не могу сейчас ехать, Грег. Я обещала тетушке Анни Мюллер последить, чтобы все было в порядке, пока она отдыхает...

— Значит, ты не можешь поехать? Впрочем, я и не предлагал тебе сейчас ехать... Надоело мне все это, — выпалил он, резко повернувшись на каблуке. — Я вовсе не обязан торчать здесь всю ночь только из-за того, что твоей мачехе вздумалось выйти замуж.

— О, хорошо, Грег, хорошо. Я только хотела сказать...

Но он уже ушел, и возле нее стоял кто-то из гостей, протягивая пустую чашку.

Час спустя ее разыскал Вальдо. Она все разливала кофе и обносила гостей.

— Мы можем ехать, — сказал он. — Но если тебе хочется еще потанцевать, я подожду.

Она устало качнула головой.

— Нет, поехали.

Вскоре они уже ехали по песчаной дороге, следом за Линдал и Грегори. Лошади шли голова к голове, и казалось, дремали на ходу, — так медленно передвигали они ноги. Вальдо спал в седле. Но Эмм бодрствовала, широко открытыми глазами она смотрела прямо перед собой, на освещенную светом звезд ленту дороги.

— Мне скоро семнадцать лет, а я чувствую себя старой-престарой. Интересно, у всех так?

— Все равно тебе семнадцать, не больше, — сонно пробормотал Вальдо и тронул поводья.

Немного погодя она промолвила:

— А мне хотелось бы всегда оставаться маленькой. Малыши такие добрые. Никому не завидуют, готовы поделиться с любым всем, что у них есть. Но когда вырас-

таешь, появляются вещи, обладать которыми ты хочешь одна.

— Да, — промычал Вальдо.

Видя, что он дремлет, она не стала продолжать этот разговор.

Дом стоял, погруженный в полную темноту. Линдал, как приехала, тотчас легла спать.

Вальдо снял Эмм с седла, и на какой-то миг она прильнула головой к его плечу.

— Ты очень устала, — сказал он, доведя ее до входной двери, — хочешь, я зажгу свечу.

— Не надо, спасибо, — сказала Эмм. — Покойной ночи, Вальдо, дорогой.

Добравшись до своей комнаты, она еще долго сидела одна в темноте.

Глава VII

ВАЛЬДО ОТПРАВЛЯЕТСЯ СТРАНСТВОВАТЬ ПО БЕЛОМУ
СВЕТУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЖИЗНЬ, А ЭММ ОСТАЕТСЯ ДОМА
И ТОЖЕ ПОЗНАЕТ ЖИЗНЬ

Вальдо собирал вещи в дорогу. Неожиданно почувствовав на себе чей-то взгляд, он поднял глаза и увидел в дверях золотистую головку Эмм. Он уже и забыл, когда она последний раз заглядывала к нему в пристройку. Эмм сказала, что приготовила для него бутерброды. Она помогла ему уложить вещи в седельные сумки.

— Все, что не берешь с собой, оставь здесь, — сказала девушка, когда сборы были закончены. — Я запру комнату, и если ты надумаешь вернуться, помни, что у тебя всегда есть свой угол.

Вернуться? Разве птица возвращается в покинутую ею клетку? И все же он поблагодарил ее. А когда она отправилась к себе, вышел на крыльцо со свечой в руках и светил ей, пока она не приблизилась к своему дому.

Вместо того чтобы войти через черный ход, как обычно, Эмм медленно побрела вдоль низкой каменной ограды перед домом. Остановилась она под открытым окном маленькой гостиной. Во времена хозяйствования тетюшки Санни эта комната всегда была на замке, теперь же, ярко освещенная керосиновой лампой, она приобрела очень уютный вид. За маленьким столиком, заваленным вскры-

тыми конвертами и исписанными листками бумаги, сидела Линдал и при свете лампы читала газету.

За большим столом посреди комнаты с газетой в руках сидел Грегори. Читать в полутьме он не мог и смотрел поверх газеты на Линдал.

Свет от лампы падал сквозь раскрытое окно на лицо Эмм, затененное полями белой шляпки, но никто не глядел в ее сторону.

— Принесите мне воды, — услышала Эмм голос Линдал.

Грегори вышел и вскоре вернулся со стаканом воды. Он поставил стакан на столик подле Линдал, и та поблагодарила его еле заметным кивком головы. Затем Грегори сел на прежнее место.

Эмм тихонько отошла от окна.

На свет лампы слетались ночные насекомые, они кружились вокруг пламени в бесконечном хороводе, неистово бились крапчатыми жесткими крыльями о горячее стекло и падали замертво, опаленные.

Когда пробило десять, Линдал отложила газету, собрала бумаги со стола и, пожелав Грегори покойной ночи, вышла.

Надвинув шляпку на глаза, Эмм долго сидела на ступеньке лестницы, ведущей на чердак. Но с последним ударом часов она встала и вошла в дом.

Грегори она застала за складыванием обрывков разорванного почтового конверта.

— Я тебя заждался, — сказал он, поспешно швыряя обрывки конверта на пол. — Уже десять часов, я весь день стриг овец и просто с ног валюсь от усталости...

— Извини. Я не знала, что ты собираешься уезжать к себе, — сказала она чуть внятно.

— Я не слышу, что ты там бормочешь... Покойной ночи, Эмм.

Он торопливо приложился к ее щеке.

— Грегори, нам надо поговорить.

— Я слушаю, — нетерпеливо сказал он. — Я ужасно устал. Торчу здесь весь вечер. Если бы ты пришла пораньше, мы бы уже вдоволь наговорились.

— Я не задержу тебя, — вымолвила она вдруг с необычной твердостью. — Я подумала, Грегори, что нам с тобой лучше забыть о нашей помолвке.

— Боже милостивый! Что ты хочешь сказать, Эмм? Я думал, что ты меня любишь. В этом, по крайней мере, ты меня всегда уверяла. Что это вдруг тебе взбрело в голову?

— Я подумала, так будет лучше,— повторила она, сложив руки так, словно собиралась молиться.

— Лучше?! Что все это значит, Эмм? Не простой же это женский каприз? Должна же быть какая-то причина? Я ведь ничем не обидел тебя. Только сегодня отправил сестре приглашение на нашу свадьбу. Я всегда был так привязан к тебе, так счастлив... Ну, что случилось?

Он легонько обнял ее за плечи.

— Просто я подумала, так будет лучше,— медленно выговорила она.

— Ну, ладно,— сказал он, выпрямляясь.— Не желаешь говорить, что ж, я не стану требовать от тебя никаких объяснений. Но ты знаешь, что я не из тех, кто валяется в ногах у женщин. Не хочешь выходить за меня замуж,— дело твое, принуждать я не могу.

Она стояла перед ним молча.

— У вас, женщин, семь пятниц на неделе. О, конечно, тебе лучше знать свое сердце. Только все это весьма странно. Ты все хорошо обдумала, Эмм?

— Да.

— Что ж, очень сожалею. Во всяком случае, мне решительно не в чем упрекнуть себя! Мужчина не может всю жизнь ворковать, словно голубок. Если твои чувства ко мне и впрямь переменились, то, конечно же, тебе лучше не выходить за меня замуж. Нет ничего глупее, чем выходить замуж без любви. Единственное мое желание, поверь,— видеть тебя счастливой. Надеюсь, ты встретишь человека, который подарит тебе больше счастья, чем я. Первый наш выбор редко бывает удачным. Ты еще очень молода, изменчивость тебе простительна.

Она не отвечала.

— Что ж! Как бы тяжело нам ни приходилось, провидение устраивает все к лучшему,— проговорил Грегори.— Позволь мне поцеловать тебя в память нашей былой дружбы.— Он наклонился к ней.— Пусть я останусь для тебя нежно любящим братом,— ну хоть добрым кузеном. Пока я здесь, Эмм, я всегда с радостью приду тебе на помощь.

И через минуту темно-гнедой пони уже скакал по натопанной тропинке к глинобитному домику, а его хозяин насвистывал мелодию «Яна Сперивига», время от времени сбиваясь на другой мотив.

Солнце еще не коснулось простерших к небу свои длани опунций на вершине холма. Куры, покинув насест, взъеро-

шенные, расхаживали по двору. У сарая Вальдо седлал гнедую кобылу. Его взгляд то и дело останавливался на знакомых предметах. Всегда такие привычные, в это утро они представлялись ему необыкновенными. Даже петух в эту минуту привлекал его внимание, и он с наслаждением слушал, как тот, взлетев на стену, звонко и ладно выводил свое кукареку. Вальдо ласково пожелал доброго утра служанке, спешившей растопить печь на кухне, и проводил ее соболезнующим взглядом. Он уедет, а у них все останется по-старому, все так же будут петь по утрам петухи, служанка будет разжигать огонь в плите. Но это обычное бесцветное существование для него уже ушло в прошлое. Отлетело, как сон.

Вальдо вошел в дом и попрощался с Эмм. Затем поступал в комнату Линдал. Ему не пришлось ее будить, она тотчас же открыла ему дверь.

— Итак, ты уезжаешь, — сказала она.

Он глянул ей в глаза, и на сердце ему навалилась внезапная тяжесть. Плотно запахнувшись в серый домашний халат, она стояла на полу босиком.

— Когда-то мы теперь встретимся, Вальдо... И что с нами произойдет за это время?..

— Обещаешь ли ты отвечать на мои письма? — спросил он ее.

— Да. Но если даже я не стану тебе писать, запомни, где бы ты ни был — ты не одинок.

— Досс остается с тобой.

— Ты же по нему соскучишься.

— Нет. Пусть он будет с тобой. Он любит тебя больше, чем меня.

— Спасибо.

Они постояли молча.

— Счастливого пути!

Она протянула ему свою маленькую руку, он пожал ее, повернулся и пошел. Но когда он был уже в дверях, она окликнула его:

— Вернись. Я тебя поцелую. — Она нагнула его голову и поцеловала его в лоб и в губы. — Счастливого пути, дорогой!

Отойдя от дома, он оглянулся и в последний раз посмотрел на маленькую женщину с прелестными глазами, все еще стоявшую на пороге.

— Доброе утро!

Эмм, раскладываявшая провизию в кладовой, подняла глаза и увидела в дверях темный силуэт бывшего своего жениха. В течение нескольких дней он избегал ее, боясь, что она захочет объясниться. Не такой он человек, Грегори Роуз, чтобы прощать подобные вещи. Женщина, однажды отвергнувшая его, должна сама предвидеть последствие своего поступка.

Убедясь, однако, что она и не думает воскрешать прошлое и отнюдь не собирается навязывать ему свое общество, Грегори смягчился.

— Позвольте мне по-прежнему называть вас Эмм и относиться к вам как к родной сестре. По крайней мере, пока я остаюсь здесь, пока я ваш сосед, — сказал он.

Эмм поблагодарила его так робко, что ему стало не по себе. Не так-то легко представлять себя обиженной стороной после этого.

Грегори стоял в проеме двери, помахивая хлыстом и переминаясь с ноги на ногу.

— А я собрался обойти загоны и посмотреть, как там ваши птицы. Без Вальдо у вас, боюсь, и за хозяйством присмотреть некому... Прелестное утро, не правда ли?.. — Неожиданно он прибавил: — Если вы не возражаете, я зайду в дом и выпью воды. — И, смутившись, заспешил прочь. Разумеется, он мог бы напиться воды в кухне, но даже не посмотрел в сторону полных ведер. В передней на столе стоял глиняный кувшин с узким горлышком и два стакана, но он лишь скользнул по ним взглядом, заглянул в маленькую гостиную, вышел через парадный ход и снова оказался у кладовой, так и не утолив жажды.

— Удивительно прелестное утро, — сказал он и, приклонясь к косяку, постарался принять небрежно-изящную позу. — Не жарко и не холодно. Дивная погода!

— Да, — проронила Эмм.

— А ваша кухня, — спросил он нарочито безразличным голосом, — должно быть, заперлась у себя и все пишет письма?

— Нет, — ответила Эмм.

— Вероятно, поехала на прогулку? Прекрасное утро для верховой езды.

— Нет.

— Гм. Тогда, должно быть, пошла к загонам?

— Нет. Я ее видела по дороге к кургану, — наконец выдавила из себя Эмм.

Грегори нетерпеливо потоптался и выпалил:

— Пойду взгляну, как тут у вас. А потом уже отправлюсь к загонам. До скорой встречи, Эмм.

Эмм оставила мешки с провизией и подошла к оконцу, тому самому, у которого сживал некогда Бонапарт Бленкинс.

Грегори заглянул в хлев для свиней, но не задержался там и свернул за угол, несколько минут он смотрел на сарай, где хранили кизяк, словно прикидывая, не нуждаются ли его стены в починке, потом быстро зашагал в сторону загон для страусов. Но вскоре замедлил шаг и, поколебавшись, повернул в сторону кургана.

Только тогда Эмм отошла от оконца и принялась за прерванное занятие.

Взбираясь по склону, Грегори различил среди камней белый хвост Досса. И почти тут же раздался отрывистый лай пса, который, видимо, умолял укрывшуюся под камнями ящерицу выглянуть на свет божий.

Хозяйка Досса сидела под выступом скалы и читала покоившийся у нее на коленях сборник драм. Услышав шаги, она вздрогнула, но, увидев Грегори, опустила глаза и продолжала читать.

— Надеюсь, я вам не помешаю, — произнес Грегори. — Если вам неприятно мое присутствие, скажите, я уйду. Просто я...

— Нет, отчего же. Оставайтесь.

— Я, кажется, напугал вас.

— Вы шли не таким неуверенным шагом, как обычно. Я не думала, что это вы.

— Тогда кто же? — спросил Грегори, опускаясь на камень у ее ног.

— Вы полагаете, что вы единственный мужчина, который может здесь оказаться?

— О нет, — сказал Грегори.

Он не намерен был спорить с ней ни на эту, ни на другую тему. Но ведь ни один старый бур не станет забираться на этот холм. А кроме стариков бұров, здесь никого нет.

Она продолжала читать.

— Мисс Линдал, — сказал он наконец. — Отчего вы всегда молчите со мной?

— Не далее, как вчера, мы долго с вами разговаривали, — отозвалась она, не отрываясь от книги.

— Да, об овцах, о быках... Нечего сказать, интересная тема. Отчего вы не говорите со мной... как с Вальдо? — В его голосе звучала обида. — Я как раз захватил конец вашего разговора. При мне вы не стали его продолжать. С самого первого дня нашего знакомства вы третируете меня. Почему? Что ж, вы считаете, что со мной говорить не о чем? Смею вас уверить, что я смыслю в подобных вещах не меньше Вальдо, — с горечью сказал Грегори.

— Я не знаю, о каких вещах вы говорите, — ответила Линдал, продолжая смотреть в книгу. — Просветите меня, я готова с вами потолковать.

— С Вальдо вы не стали бы изъясняться таким тоном.

— Ну что ж, давайте поговорим. — Линдал захлопнула книгу. — Видите вон там у подножия холма чернокожего юношу, закутанного в одеяло? Как он хорош собой! Шесть футов роста, атлетическое сложение, мускулистые ноги. За спиной у него кожаный мешок, он идет за едой. Жена ему послушна, ведь он купил ее за двух быков. За ним бежит тощая собака. Живет она впроголодь, но предана ему, — и жена тоже. Неправда ли, в нем есть что-то величественное, так выглядит человек, повелевающий другими. Смотрите, как он размахивает палкой, как гордо держит голову!

— Вы... вы шутите? — спросил Грегори, с сомнением косясь то на нее, то на пастуха, огибавшего холм.

— Нет. Я говорю совершенно серьезно. Это самое интересное и умное существо из всех, окружающих меня сейчас... Этот юноша наводит меня на размышления. Неужели его раса исчезнет в огне столкновения с более сильной? Неужели его кости станут экспонатом будущих музеев? Глядя на него, невольно задумываешься о будущем, вспоминаешь о прошлом.

Грегори не знал, как ему следует понимать ее слова. Не говорит же она всерьез! Но как будто и не шутит... Чтобы не попасть впросак, он изобразил полуулыбку.

— Да, я сам часто задумываюсь над этим. Забавно, что у нас одни и те же мысли. Я так и знал, мы сойдемся во мнениях. Почему бы нам не поговорить и на другую тему — например, о любви?.. Может быть, и здесь выявится сходство в наших взглядах. Однажды я написал сочинение о любви. Учитель отметил его как лучшую мою

работу, до сих пор помню первую фразу: «Любовь — нечто такое, что ощущаешь всем сердцем».

— Удивительно глубокая мысль! Не помните ли следующей фразы?

— Нет, — отвечал Грегори с сожалением. — Все остальное забылось. Скажите, а вы что думаете о любви?

На губах у нее заиграла полурассеянная, полунасмешливая улыбка.

— Я о ней почти ничего не знаю и не люблю рассуждать о вещах, в которых мало что смыслю. Я только слышала две легенды. Одни говорят, что дьявол посеял на земле семена греха, стремясь ввести людей в искушение; другие говорят, что, когда в эдемском саду были вырваны все цветы и травы, остался лишь один кустик, посаженный ангелами: от него и рассеялись семена по всему свету. Имя ему было — Любовь. Не знаю, кто из них прав, может быть, и те и другие. Есть различные виды любви, объединенные только именем. Любовь у некоторых людей зарождается в голове, затем пускает корни в сердце, и растет она медленно, но до самой смерти человека, и дает больше, чем требует. Любовь у других людей лишает их разума, она вбирает в себя всю сладость жизни и всю горечь смерти. Длится она всего один час, только ради этого часа стоит прожить целую жизнь. Не знаю, правы ли были в старину монахи, когда пытались вырвать любовь с корнем, может быть, правы поэты, орошающие ее слезами восторга. Она — кроваво-красный, с оттенком греха, цветок, и от нее всегда веет благоухание бога...

Грегори открыл было рот, но, не заметив, что он хочет что-то сказать, она продолжала:

— Разновидностей любви столько же, сколько и цветов; тут и вечнозеленые бессмертники, и вероники, облетающие при первом порыве ветра; огненно-алые лилии, весь день изливающие свой сладострастный аромат, а к вечеру осыпающиеся. Нет цветка, который соединил бы в себе непорочную чистоту вероники, стойкость бессмертника, жар горной лилии. Но кто знает, может, есть такая любовь, в которой слилось все: дружба, страсть, обожание? Такая любовь, — сказала она задушевым голосом, — согреет самую холодную, самую черствую и эгоистическую натуру, она подобна солнечным лучам, оттаивающим скованный холодом мир. Деревья стоят голые; земля звенит под ногами, как железо; вода покрыта ледяной корой, ветер подобен острому ножу. Но вот прогляды-

вает солнце, и в омертвелой природе пробуждается жгучее томление: деревья чувствуют тепло и набухают каждой своей почкой, почерневшие семена, спящие глубоким сном в недрах земли, тоже чувствуют тепло; солнце вливает в них силу, помогает пробиться сквозь мерзлый слой земли, и они тянутся к нему своими трепещущими нежно-зелеными ладошками. Реки и ручьи тоже чувствуют солнечное тепло, они оттаивают, просыпаются, а вместе с ними и те странные дивные существа, которые были закованы во льду. И журчание вод словно песнь благодарной любви. Каждый куст старается одарить солнце хоть одним благоухающим цветком; и мертвый мир оживает, и даже неживое сердце себялюбца трепетно рвется к другим людям. Вопреки всем ожиданиям, оно возрождается для новой жизни... Ну что, довольны вы моим монологом? Этого ли вы ждали от меня?

— О да, — проговорил он, — вы словно пересказывали то, что я думаю. Удивительное совпадение мыслей.

— Вполне возможно, — ответила Линдал, носком туфельки покатывая булыжник.

Грегори понимал, что должен поддержать разговор, и изо всех сил припоминал какие-нибудь подходящие к случаю стихи. Ведь он столько учил их наизусть, стихов о любви. Но как назло в голову лезли только строки из «Битвы при Хохенлиндене»¹ да «Не бил барабан...». Ни то, ни другое, увы, не подходило.

Выручил его Досс. Пес по-прежнему не сводил глаз с расщелины. Внезапно, выкатившись из-под ноги Линдал, булыжник ободрал ему кожу на передней лапе.

Досс с жалобным видом поджал лапу и медленно стал карабкаться вверх по склону в надежде, что Линдал приласкает его.

— Бедная собака, — сказал Грегори, — вы ушибли ей ногу.

— В самом деле? — равнодушно отозвалась Линдал и открыла книгу, собираясь приняться за прерванное чтение.

— Прескверная злая дворняжка! — сказал Грегори в расчете на ее одобрение. — Вчера вцепилась в хвост моей лошади, и та едва не сбросила меня. Хозяину следовало бы взять ее с собой, а не бросать здесь!

¹ Х о х е н л и н д е н — деревня в Верхней Баварии, где в 1800 году французская армия одержала победу над австрийцами.

Линдал, казалось, полностью погрузилась в чтение и никак не откликнулась на его замечание. Тогда он рискнул завести речь о Вальдо.

— Как вы находите, мисс Линдал, достигнет ли он чего-либо в жизни? Я говорю о Вальдо. Ну, скажем, зарабатывает ли он достаточно денег, чтобы обеспечить семью? Мне кажется, нет. По-моему, он из породы слабохарактерных людей.

Левой рукой она неторопливо расстелила подол юбки, приготавливая собаке место у своих ног.

— Я была бы удивлена, если б из него получился респектабельный член общества, — сказала она. — Не могу представить себе его держателем акций, председателем окружного совета, почтенным отцом семейства. Вальдо — джентльмен в черном цилиндре, по воскресеньям дважды посещающий церковь? Невероятно! Я была бы очень удивлена такой переменой.

— Вот-вот, и я тоже ничего хорошего не жду, — продолжал Грегори.

— Карьеры, разумеется, он не сделает, — продолжала Линдал, — однако я ничуть не удивлюсь, если он изобретет крылья или изваяет статую, которой можно будет любоваться часами. В этом он, может быть, и преуспеет, только сначала ему надо перебродить, отстояться.

В ее словах была не только ирония, но и что-то похожее на восхищение.

— Ну, не знаю, — процедил Грегори мрачно. — По-моему, он просто дурачок. Ходит всегда как полуживой и вечно что-то бормочет себе под нос, точно старый знахарь... Да, работает он усердно, но с таким видом, будто ему совершенно безразлично, что делать. Вам трудно представить, какое впечатление он производит на свежего человека.

Продолжая чтение, Линдал ласкала Досса, и тот благодарно лизал ее руку.

— А каково ваше мнение, мисс Линдал? — спросил Грегори.

— Я думаю, он похож на запущенный терновник, который в один прекрасный день усеивается желтыми цветами.

— Ну-с, а я на что похож? — поинтересовался Грегори, рассчитывая на лестное сравнение.

Линдал подняла глаза от книги.

— На оловянного утенка, которого таскают за ниточку по тарелке с водой.

— О, я вижу, вы смеетесь надо мной, — удрученно проговорил Грегори. — Это ведь только шутка?

— Отчасти. Я люблю развлекаться сравнениями.

— Для меня у вас нет приятных сравнений... Ну, а Эмм на что похожа?

— На аккомпанемент к песне. Она заполняет пустые промежутки в чужих жизнях и всегда — на второстепенной роли. Впрочем, бывает, что аккомпанемент куда лучше самой песни.

— Ну, до вас ей далеко! — выпалил Грегори в порыве чувств.

— Она гораздо лучше меня. Я не стою и ее мизинца. Боюсь, как бы вам не пришлось убедиться в справедливости этих слов.

— Вы — ангел, — вскричал он, заливаясь густым румянцем.

— Может быть. Только ангелы бывают разные...

— Вы единственная, кого я люблю! — весь трепеща, сказал Грегори. — Только теперь я понял, что такое любовь. Не сердитесь на меня. Я знаю, что не могу надеяться на взаимность. Но я хочу всегда быть подле вас, служить вам — большего счастья мне не надо. Я ничего не попрошу взамен. Возьмите все, что у меня есть, и располагайте мной, как собою. У меня лишь одно желание — помогать вам.

Несколько мгновений она внимательно рассматривала его.

— А ведь вы в самом деле можете мне помочь, — медленно проговорила она. — Вы можете дать мне свое имя. Он вздрогнул и обратил к ней свое пылающее лицо.

— Вы бессердечны. Вы смеетесь надо мной.

— Нет, Грегори. Я хочу предложить вам обыкновенную сделку. Если вы согласны в течение трех недель дать мне свое имя, я стану вашей женой. Нет — так нет. Мне от вас ничего не нужно, кроме имени. Вы понимаете меня?

Он смотрел на нее снизу вверх, не в силах понять, что таится в ее глазах: презрение, отвращение или жалость? Так и не поняв, что именно, он припал губами к ее туфельке.

Она улыбнулась.

— Вы... говорите... всерьез? — прошептал он.

— Вы хотите служить мне, ничего не требуя взамен? Вы можете исполнить свое желание. — Она протянула руку, и Досс лизнул ей пальцы. — Видите, собака лижет мне

руки, потому что я люблю ее; я позволяю ей лизать мне руки. Но только потому, что люблю ее! Я верю, вы любите меня. Поверьте, и я могла бы вот так же лежать у ног любимого, и это было бы для меня блаженством более высоким, чем в объятиях у другого. Ну, идемте! Возьмите собаку, она вас не укусит... Вот так, поддерживайте ушибленную лапу.

Они спустились с холма, у самого подножия он сказал шепотом:

— Позвольте предложить вам руку, дорога здесь неровная.

Она слегка прикоснулась пальцами к его руке.

— Может случиться, что я передумаю. Это вполне вероятно. Помните же! — проговорила она, повернув к нему лицо. — А я буду помнить ваши слова: *возьмите* все, я ничего не прошу взамен. Пусть сознание того, что вы оказываете мне услугу, будет вам наградой. А услугу вы мне окажете великую. До поры до времени я не стану объяснять вам причины, по которым выхожу за вас замуж. Возможно, вы скоро догадаетесь.

— Мое единственное желание служить вам, — повторил он.

Он был вне себя от радости, и земля горела под его ногами, словно в яркий летний день. Они обогнули холм и шли теперь мимо хижин, где жили туземцы. На пороге одной из хижин старая служанка толкла маис. При мысли, что старуха видит его идущим об руку с Линдал, его сердце забилося еще сильнее. Даже она должна ему завидовать!

В это время Эмм выглянула из оконца пристройки, где она сортировала овчины. Увидев их, она горько заплакала.

Поздно вечером, когда Линдал потушила свечу, готовясь ко сну, Эмм решила зайти к ней.

— Я пришла пожелать тебе покойной ночи, Линдал, — сказала она, подойдя к кровати и опустившись на колени.

— Я думала, ты давно спишь.

— Да, я спала. Но мне приснился странный сон, очень похожий на явь, и я проснулась, — сказала Эмм, взяв Линдал за руку. — Мне снилось, будто я опять стала маленькой и будто я стою в какой-то большой комнате. На кровати в углу лежит кукла с закрытыми глазками и восково-желтым личиком. Одета она во все белое. Я хотела было схватить ее на руки, но кто-то погрозил мне пальцем и сказал: «Тсс, это мертвый младенец». И я ска-

зала: «Ой, я должна пойти позвать Линдал, пусть и она посмотрит». Но кто-то наклонился к моему уху и прошептал: «Это ребенок Линдал». А я говорю: «Она еще сама ребенок. Где она?» Я бросилась искать тебя, но нигде не смогла найти, а когда я пробовала расспрашивать людей в черном, они только опускали глаза и молча качали головами... Линдал, — проговорила Эмм и прижалась лицом к ее рукам, — я вспомнила о том времени, когда мы были маленькими и жили вместе и я любила тебя больше всего на свете. Все мужчины влюбляются в тебя. Это не их вина. И не твоя вина, ты ведь никого не принуждаешь любить тебя. Я знаю, Линдал. Это не твоя вина...

— Спасибо тебе, дорогая, — сказала Линдал. — Хорошо быть любимой, но куда лучше быть доброй.

Они пожелали друг другу покойной ночи, и Эмм вернулась к себе в спальню. А Линдал еще долго-долго лежала в темноте и все думала, думала; уже засыпая, она тихо пробормотала:

• — Есть люди, которые мудрее во сне, чем наяву.

Глава IX

ЛИНДАЛ И СТРАННИК

В остывшей заброшенной пристройке горит пламя. Временами, разгораясь, оно освещает почерневшие балки и поблекших красных дьвов на стеганом одеяле, наполняя комнату теплым сиянием, которое кажется тем более ярким, что ночь на дворе темная и туманная.

У очага, вытянувшись в старом кресле, сидит высокий, худощавый незнакомец. Его пронизательные голубые глаза под красиво очерченными полузакрытыми веками устремлены на пляшущие языки огня. Одной холеной рукой он задумчиво поглаживает густые русые усы. Неожиданно он вздрагивает, глаза его широко открываются, и он прислушивается. Успокоясь, он откидывается на спинку кресла, наполняет из серебряной фляжки стоящий на столе стакан и принимает прежнюю позу.

Дверь беззвучно отворяется, и появляется Линдал в сопровождении Досса. Шагов ее не слышно, но незнакомец сразу же поворачивается к ней.

— Я думал, вы не придете.

— Мне пришлось подождать, пока все уснут. Я не могла раньше.

Линдал сняла шаль, в которую была укутана, и незнакомец поднялся, уступая ей единственное в комнате кресло. Но она села на пустые мучные мешки, сложенные у окна.

— Я не понимаю, почему я должен жить в этой лачуге, — сказал он, обведя рукой помещение и придвигая кресло ближе к Линдал. — Человек, который прискакал сюда за сто миль по вашему приглашению, мог бы рассчитывать на большие удобства.

— Я писала: «Приезжайте, если пожелаете».

— Я пожелал. Но ваш прием холоден.

— Я не могла принять вас в большом доме. Начались бы расспросы, а я не хочу кривить душой.

— Вы стали совестливы, как юная девица, — проговорил он низким мелодичным голосом.

— У меня нет совести. Сегодня я осквернила себя заведомой ложью. Я сказала, что приезжий — человек грубый, неотесанный, лучше поместить его не в доме, а устроить здесь. Это была намеренная ложь, а я ненавижу ложь. Я лгу, если не остается другого выхода, но мне это не по вкусу.

— Себе-то вы, во всяком случае, не лжете, перед собой-то вы искренни...

Она не дала ему договорить.

— Вы получили мою записку?

— Да, поэтому я здесь. Ответ ваш ужасно глуп, вам следует взять свои слова обратно. Кто же этот достойный молодой человек, за которого вы собираетесь замуж?

— Фермер.

— Здешний?

— Да. Он уехал в город приготовить все к нашей свадьбе.

— Что он за человек?

— Глупец.

— И все-таки вы отдаете ему предпочтение?

— Да. Потому что вы не глупец.

— Несколько неожиданная причина для отказа, — произнес он, облокотясь о стол и пристально на нее глядя.

— Может быть, и неожиданная, но достаточно веская, — бросила она. — Если я выйду за него, я смогу освободиться от него в любое время. Пробудь я с ним целый год, он все равно не осмелится поцеловать мне руку. Попадется он мне, я его позову, и он войдет. Войдет — и ничего более. Стали бы вы спрашивать меня, что вам позволено, а что — нет?

Ее собеседник погладил усы и улыбнулся, давая понять, что вопрос просто нелеп и не нуждается в ответе.

— Зачем вам эта фикция брака?

— Затем, что остается одна-единственная вещь, которую мне не позволяет совершить совесть. Я вам уже говорила.

— Отчего бы вам не выйти за меня?

— Потому что тогда мне уже не освободиться. Вы будете держать меня мертвой хваткой.

Линдал глубоко вздохнула.

— Где то кольцо, которое я вам подарил?

— Иногда я надеваю его. Но мне тут же хочется снять его и швырнуть в огонь. А на другой день я снова надеваю... И целую его...

— Стало быть, вы еще любите меня?

— Неужели вы думаете, что если б вы не значили для меня больше, нежели любой другой мужчина, я бы...— Она замолчала.— Когда я вижу вас, я — люблю, когда вы далеко — я вас ненавижу.

— Боюсь, что сейчас я невидим,— произнес он.— Не смотрите на огонь так пристально, быть может, тогда вы соизволите заметить меня.

Он подвинул кресло так, чтобы оно стояло между очагом и Линдал. Она подняла лицо и посмотрела ему в глаза.

— Если вы любите меня,— сказал он,— отчего вы не хотите стать моей женой?

— Потому что через год я отрезвею и пойму, что у вас точно такие же руки, точно такой же голос, как у любого другого мужчины. Какое-то странное наваждение мешает мне видеть это сейчас. Вы затрагиваете лишь одну сторону моего существа. Но есть другая, духовная сторона, которой вам не затронуть. Более того, вы о ней ничего не знаете. Если бы я стала вашей женой, эта духовная сторона проявилась бы с полной силой,— и тогда я возненавидела бы вас навсегда. А теперь я ненавижу вас только временами.

— Приятно слушать ваши метафизические рассуждения,— произнес он, подперев голову одной рукой.— Скажите, в их развитие, что вы любите меня правым, а не левым желудочком своего сердца, правым, а не левым предсердием и потому вы питаете ко мне недостаточно возвышенное, одухотворенное чувство. Люблю слушать ваши философствования.

Она окинула его спокойным взглядом, понимая, что он пытается пустить против нее в ход ее же собственное оружие.

— Вы поступаете неразумно, Линдал, — сказал он, переходя на серьезный тон, — в высшей степени неразумно. Это ребячество. Право, вы удивляете меня. Идеалы, теории — все это прекрасно, но вы не хуже меня знаете, что они неприменимы в жизни. Я люблю вас. Я не говорю, что люблю вас каким-то высшим, сверхчеловеческим чувством, что любил бы вас, будь вы уродливы и безобразны, что продолжал бы обожать вас вечно, как бы вы ко мне ни относились, будь вы даже бестелесным духом. Оставим сантименты безусым мальчишкам. Всякий взрослый человек, а вы человек взрослый, прекрасно знает, что такое любовь между мужчиной и женщиной. Я люблю вас такой любовью. Кто бы мог подумать, что я буду дважды предлагать руку женщине, тем более женщине небогатой, которая...

— Продолжайте. Не шадите меня... «которая сама кинулась мне на шею и утратила право быть со мной на равных», — это вы хотели сказать? Договаривайте. Мы-то уж можем говорить друг другу правду.

Помолчав, она добавила:

— Я верю, вы любите меня, насколько вообще способны на это чувство; верю, что, предлагая мне руку, вы совершаете великодушнейший за всю свою жизнь поступок. А ведь попроси я вас сама о великодушии — вы бы отказались прийти мне на помощь. Если бы месяц назад, получив послание, в котором вы намекаете на свое желание видеть меня женой, я бы написала вам: «Приезжайте скорее», — вы бы только уронили: «Бедняжка», — и небрежно разорвали бы мое письмо.

Через неделю вы уплыли бы в Европу, а мне прислали чек на сто пятьдесят фунтов (который я бросила бы в печь!), и больше я о вас не слышала бы.

Гость усмехнулся.

— Но стоило мне отклонить ваше предложение, написать, что через три недели я выхожу за другого, и в вас тотчас проснулось то, что вы называете любовью. И вот вы здесь! Мужская любовь сродни мальчишеской любви к бабочкам, у всех вас одно желание — схватить и оборвать крылья.

— Какая глубокая житейская мудрость! — сказал он. — Вы, видно, хорошо изучили жизнь.

С таким же успехом он мог бы насмеяться над огнем, пылающим в камине.

— Я изучила жизнь достаточно, чтобы понять главное, — ответила она, — вы любите меня только из духа

противоречия. Я понравилась вам, потому что была безразлична ко всем мужчинам, не исключая и вас. Вы решили покорить меня, потому что я казалась неприступной. Вот чем объясняется ваша любовь.

Ему хотелось наклониться и поцеловать уста, которые бросали ему вызов, — но он сдержал свой порыв и тихо спросил:

— А вы за что меня полюбили?

— За силу. Вы первый, кого я боялась. И еще, — прибавила она с мечтательным видом, — еще мне хотелось испытать это чувство, самой испытать. Этого вам не понять.

Он улыбнулся.

— Ну что ж, коль скоро вы не намерены выходить за меня замуж, позвольте полюбопытствовать, какие у вас намерения и что это за планы, о которых вы мне писали. Вы просили приехать и выслушать вас. И вот я здесь.

— Я писала: «Приезжайте, если хотите». Так слушайте. Если вы согласитесь на мои условия, то я буду вашей. Если нет, то в понедельник я венчаюсь...

— Каковы же эти условия?

Она смотрела мимо него на огонь в очаге.

— Я не могу выйти за вас замуж, — медленно проговорила она, — потому что не желаю ничем себя связывать. Но если хотите, я уеду с вами, полагаясь на ваши заботы. А когда мы разлюбим друг друга, мы так же просто расстанемся... В деревне я не хочу жить, в Европу я тоже не поеду. Поедьте в Трансвааль, куда-нибудь в глушь. Людей, которые там живут, мы уже не встретим потом ни в одном уголке мира.

— О, дорогая, — сказал он, с нежностью склоняясь к ней и протягивая руку, — отчего вы не хотите вручить свою судьбу мне? Неужели вы меня покинете и уйдете к другому? Так, должно быть, и будет.

Она покачала головой.

— Зачем загадывать так далеко? Я уеду с вами.

— Когда?

— Хоть завтра. Я сказала на ферме, что еще затемно собираюсь к соседям. Из города я напишу и все объясню. Терпеть не могу упреков, уговоров. Я хочу разом порвать со всем окружающим, хочу исчезнуть бесследно. Вы понимаете, что это совершенно необходимо.

Он усиленно что-то обдумывал. Затем, помолчав, сказал:

— Что ж, это лучше, чем лишиться вас. Я согласен. Если вы настаиваете, пусть будет так.

Он сидел и смотрел на нее. На лице у нее было усталое выражение, которое так часто появлялось в последние дни. Особенно когда она оставалась одна. С тех пор, как они расстались, не прошло и двух месяцев, а время уже наложило на нее свой отпечаток. Он разглядывал ее, будто видел впервые, от гладко зачесанных каштановых волос до маленьких скрещенных ног. С измученным выражением лица она нравилась ему еще больше. Страдания и время, оставляя одинаково глубокие следы, по-разному пишут свою повесть: красивые лица, если они только красивы и ничего более, дурнеют, покрываются морщинами; но те, чья прелесть — в гармонии внутренней красоты и формы, обретают тем большее обаяние, чем ярче на них отражение внутренней жизни. Хорошенькая женщина увядает, едва блекнут розы на ланитах и уходит девичество; красивая женщина только и расцветает, когда у нее на лице начертит свои письма прошлое, и никогда ее очарование не бывает так неотразимо, как в то время, когда уходит юность.

Он смотрел на нее пронизательным взглядом из-под полуопущенных век. Она сидела, опустив плечи, утратив всю свою царственную осанку, поникшая, утомленная, и широко раскрытые глаза ее отражали отблески огня.

Она была явно не в силах противостоять ему. Ее слабость обессиливала и его.

Он притронулся к ее руке, покоившейся на коленях.

— Бедненькая! — сказал он. — Вы еще совсем дитя.

Она не отняла руки и только подняла на него взгляд.

— Вы очень устали? — спросил он.

— Да.

Она смотрела ему в глаза, как ребенок, уставший от долгой игры.

Он усадил ее к себе на колени.

— Бедненькая! — повторил он.

Она положила голову ему на плечо; он обнял ее сильной рукой и крепко прижал к себе. Затем он повернул к себе ее лицо, поцеловал ее и снова укрыл у себя на груди.

— Вы не хотите мне больше ничего сказать?

— Нет.

— А тот вечер в аллее парка вы не забыли?

Она слегка качнула головой:

— Вам хочется отдохнуть, вы устали?

— Да.

Они сидели, не двигаясь, только иногда он подносил к губам ее руку.

Все это время Досс спал в углу. Неожиданно он поднялся и подошел к ним. Его жилистые ноги подрагивали, в желтых глазах таилось беспокойство. Он, видимо, опасался, что его хозяйку удерживают силой; и успокоился только после того, как Линдал встала и протянула руку за шалью.

— Мне пора идти, — сказала она.

Незнакомец заботливо укутал ее шалью.

— Вот так. И придерживайте здесь, у горла, Линдал: на дворе очень сыро. Позвольте мне проводить вас?

— Не надо... Ложитесь спать. В три часа я разбужу вас.

Она подставила ему лицо для поцелуя. Когда он поцеловал ее, она не переменила позы, и он снова поцеловал ее. Только после этого она ушла. Он пододвинул кресло к огню, и только сел, как дверь отворилась и Линдал снова показалась на пороге.

— Вы что-нибудь забыли?

— Нет.

Она обвела долгим взглядом так хорошо знакомую ей комнату и вышла. После того, как она закрыла дверь, незнакомец подсел к столу, наполнил стакан и стал задумчиво отхлебывать из него маленькими глотками.

Ночь стояла туманная, сырая. Бледная луна, с трудом пробиваясь сквозь душную мглу, освещала неверным, тусклым светом строения фермы. Камни и стены были в росе; и время от времени с карнизов крыш падали тяжелые капли. Досс, очутившись на холоде, подбежал к дверям кухни. Но Линдал медленно прошла мимо и вышла на извилистую тропинку, петлявшую вдоль каменных оград краалей. Миновав последний загон, она обогнула несколько больших камней и кустов и очутилась у могилы старого немца-управляющего. Она и сама не знала, зачем сюда пришла. Несколько минут Линдал стояла и молча глядела под ноги себе. Потом наклонилась и положила руку на мокрый камень.

— Больше я никогда не приду к тебе, — сказала она. И, опустившись на колени, припала лицом к камню. — Милый мой старик, милый мой старик, я так устала, — промолвила она (ибо с мертвыми мы делимся тайнами, в которых никогда не признаемся живым), — так устала. Ведь есть же в жизни радость, тепло... — простонала Лин-

дал. — Отчего же я такая черствая и холодная, отчего же такая одинокая? Я сама себе опостылела. Это вечное копание в себе разъедает душу. Не могу больше, не могу дышать, не могу жить! Неужто ничто не освободит меня от себя самой? — Она прижалась щекой к деревянному столбу. — Я хочу любить! Хочу, чтобы нечто великое и чистое возвысило меня. Милый мой старик, я больше не-е-мо-гу! Я такая холодная, такая черствая!.. Неужто мне никто не поможет?!

Шаль отсырела так сильно, что с нее падали капли росы, но Линдал не чувствовала этого. Она горько рыдала. Живому человеку свойственно оплакивать мертвого, земным созданиям свойственно взывать в слезах к творцу; и все тщетно. Простирающий руки к небу не обретет спасения; его не спасут ни бог, ни человек; только собственные усилия да страдания и время помогут ему спастись.

Досс дрожал от холода у дверей кухни, не в силах понять, куда запропастилась его хозяйка. Немного погодя он вздремнул, и ему приснилось, будто старый Отто дал ему ломоть хлеба и погладил по голове. Но, проснувшись, Досс еще сильнее застучал зубами от холода и перебрался на другую ступеньку крыльца, где было посуше... Наконец его хозяйка вернулась, и они вместе вошли в дом.

Линдал зажгла свечу и пошла в спальню тетушки Санны. Там она сняла с гвоздя под портретом красавицы ключ, отперла гардероб, выдвинула ящик и взяла оттуда пятьдесят фунтов — все свое состояние. Затем она закрыла шкаф и хотела было повесить ключ на место. Но вдруг остановилась в нерешительности.

— Пятьдесят фунтов за жениха! — неожиданно улыбнулась Линдал сквозь слезы. Она снова отперла дверцу шкафа и, выдвинув ящик, положила деньги сверху, чтобы Эмм могла их найти.

Затем она прошла к себе в комнату, уложила то немногое, что собиралась взять с собой, сожгла старые письма и вернулась в большую гостиную — посмотреть, который час. Оставалось еще два часа. Она села к туалетному столику и подперла голову руками. В зеркале отразилась ее темная головка с волосами, расчесанными на прямой пробор, и маленькие руки.

— Когда-нибудь я полюблю, полюблю всеми силами души, тогда я стану лучше, — сказала Линдал.

Она подняла голову и долго, в упор, рассматривала отражение своих темных больших глаз.

— Мы одни на всем белом свете, вы и я, — шептала она им. — Никто нас не понимает, никто не хочет помочь. Придется нам помогать самим себе. — В спокойной глубине ее глаз светилась уверенность в себе. Так они смотрели на нее еще в те времена, когда она была совсем крошечной девочкой в синем передничке. — Но пока мы вместе — вы и я, — мы не одиноки, и мы будем неразлучны, как тогда, в детстве, когда были совсем маленькими.

И прекрасные глаза, казалось, заглядывали ей в самую душу.

— Мы не боимся, мы сумеем постоять за себя! — сказала она. И приложила руку к зеркалу, словно хотела приласкать глаза, но рука наткнулась на холодное стекло. — Милые мои глаза, мы всегда будем вместе, вы и я, пока смерть нас не разлучит. До самого последнего мгновения!

Глава X

ОТЪЕЗД ГРЕГОРИ РОУЗА

Грегори Роуз наводил порядок на чердаке хозяйского дома, а над головой у него по крыше стучал дождь. Кончилась полугодовая засуха, дождь лил теперь как из ведра, и почва уже не впитывала воду. Избыток ее сливался в бурные ручьи, ручьи сбегались в реку, а река свирепым пенистым потоком неслась через всю равнину. Даже небольшая канава между краалями и хозяйским домом превратилась в речку по колено глубиной, — с таким стремительным течением, что оно едва не сбивало с ног туземок. Дождь лил целые сутки не стихая. Куры сбились жалкими и унылыми кучками около сарая и внутри его, и только гусь, единственный уцелевший в засуху из всего своего племени, расхаживал взад и вперед, оставляя на размокшей земле перепончатые следы, тут же смываемые проливным дождем. В одиннадцать часов утра ливень хлестал по крышам и стенам с неослабевающим упорством.

Грегори не обращал на дождь никакого внимания. Он только заткнул мешком дыру в разбитом слуховом окне. Перекрывая шум дождя, из открытого люка доносился снизу звонкий голос Эмм. Она распевала в столовой «Ах, синее море».

Увези же меня,
Увези же меня,
Увези же меня
К синему морю.

Это была странная, ребячески-наивная народная песня, сладостная и грустная одновременно, которую поют женщины за работой. Но Грегори не слышал ни этой песни, ни еще более громкого смеха служанок, работавших на кухне. В последнее время Грегори не замечал ничего вокруг. Срок его аренды кончился, но Эмм сказала: «Не возобновляйте контракт. Оставайтесь, мне все равно одной не управиться», — и еще прибавила: «И хватит вам ютиться в мазанке, живите здесь, так вам будет удобнее присматривать за страусами».

Грегори даже не поблагодарил ее. Ему было решительно все равно, платить или не платить арендную плату, все равно где жить. И все же он перебрался в дом. Эмм все ждала, когда же он, как в былые времена, заведет разговор о том, что в доме нужна твердая мужская рука. Но Грегори ходил как в воду опущенный, ни во что не вмешивался. Что бы она ни делала, он не возражал, хранил неизменное молчание. Теперь он уже не упоминал о том, что мужчина должен быть хозяином в доме.

В то дождливое утро он раскурил трубку от уголька и после завтрака подошел к открытой двери. С унылым видом, посасывая давно погасшую трубку, глядел он на дождь, на дорогу перед домом, превратившуюся в бурный поток. Эмм поняла, что ей надо как-то отвлечь его от грустных мыслей, и принесла ему большую миткалевую тряпку. Грегори несколько раз предлагал убрать чердак, — и в этот день она не могла придумать ему другого занятия. Оберегая Грегори от дождя, она велела внести в дом лестницу и приставить ее к люку. Молодой человек молча взял веник, тряпку и поднялся на чердак. Уж если он принимался за работу, то работал не покладая рук. Он стер пыль с каждой балки, с каждого стропила, вычистил сломанные формы для литья свечей, загнул концы железных прутьев, крепивших тростниковую крышу — двадцать лет кряду торчали они рогульками, — аккуратно выстроил на сундуке в углу бутылки темного стекла, сложил в кучу овчины и разобрал хлам, валявшийся во всех ящиках. К одиннадцати часам он почти управился с уборкой и, присев на ящик, где некогда лежали книги, принялся за сундук, оставшийся неразобраннным. Крышка была закреплена гвоздями, Грегори отодрал одну планку и стал вытаскивать содержимое, чуть ли не полный женский гардероб прошлого века — чепцы, передники, длинные платья в сборках и со шнуровкой спереди, какие носила его мать,

когда он был еще ребенком. Все это он тщательно вытряс, проверил, не завелась ли где-нибудь моль, а потом уложил в прежнем порядке. Это были вещи матери Эмм, их сложили в сундук после ее смерти, и никто к ним с тех пор не прикасался. Мать Эмм, должно быть, была высокой женщиной, потому что, когда он приложил воротник одного из платьев к своему воротничку, оказалось, что подол достает до полу. Грегори разложил на колене ночной чепчик с оборками и стал скатывать, расправляя скрутившиеся в жгут ленты. Неожиданно движения его замедлились, голова упала на грудь, голубые глаза недоумевающе уставились на оборки. Когда снизу его окликнула Эмм, он вздрогнул и поспешил спрятать чепчик с оборками за спину.

Эмм не стала, однако, подниматься к нему. Она только сказала, что суп уже подан. Подождав, пока ее шаги затихли внизу, Грегори в глубокой задумчивости положил чепец на колени и торопливо выбрал из вещей широкополую шляпу и коричневое платье, какие носят сестры милосердия. Он подобрал осколок зеркала и нахлобучил шляпу. Голубые глаза глядели из-под шляпы с кроткой добротой, только борода раздражала своей нелепостью, — и он прикрыл ее рукой — так лучше, гораздо лучше. Потом он схватил коричневое платье и, пугливо оглядываясь на открытый люк, натянул его через голову. Едва он успел продеть руки в рукава и принялся застегивать крючки лифа сзади, как дождь забарабанил по окну с удвоенной силой, и, испуганно вздрогнув, он сдернул с себя платье. Убедясь, что его опасения напрасны, он успокоился, но надевать платье уже не стал, убрал все в сундук, закрыл крышку и спустился вниз.

Эмм сидела на прежнем месте, она меняла иголку в швейной машине. Грегори съел свой суп, подошел к Эмм и сел с ней рядом. Выражение лица у него было непроницаемо-таинственное.

— Завтра я собираюсь в город, — проронил он.

— Как же вы туда поедете? — сказала Эмм, продолжая возиться с иглой, — не думаю, чтобы к завтрашнему дню распогодилось.

— И все-таки я поеду, — проговорил Грегори.

Эмм подняла на него глаза.

— Да ведь все реки сейчас разлились. А почту можно и потом получить.

— Я не за почтой, — с ударением произнес Грегори.

Эмм ждала объяснений, но он молчал. И она только спросила:

— Когда же вы вернетесь?

— Я не вернусь.

— Едете к друзьям?

Грегори помолчал, потом резким движением схватил ее за руку.

— Послушай, Эмм,— процедил он сквозь стиснутые до боли зубы,— у меня нет больше сил. Я еду к ней.

С того самого дня, как Линдал уехала, он ни разу не назвал ее имени. Но Эмм сразу поняла, к кому он едет, и, когда он отпустил ее руку, она сказала:

— Но вы же не знаете, где она.

— Знаю. В последний раз ее видели в Блумфонтейне. Свои поиски я начну оттуда. И непременно найду ее.

Эмм повернула ручку машины, и плохо закрепленная игла разлетелась на мелкие кусочки.

— Грегори,— сказала она, заливаясь румянцем,— мы ей не нужны, так она написала в своем письме. Встреча с ней не принесет вам ничего, кроме страданий. Вряд ли она позволит вам остаться около себя.

Он чуть было не высказал то, что думал, удержало его только нежелание выдать свою тайну.

— Я еду,— повторил он.

— Надолго ли, Грегори?

— Не знаю. Может быть, навсегда. Делай с моими вещами все, что хочешь. Я не могу здесь оставаться.

Он встал.

— Все твердят мне, как будто сговорились: «Забудь, забудь!» — вскричал он, заматавшись по комнате. — Глупцы, безумцы! Какой прок твердить человеку, умирающему от жажды: «Забудь!» И почему так говорят только нам? «Время — лучшее лекарство». Вздор, ничего оно не лечит, время! Только еще сильнее растравляет боль... Все эти месяцы,— с горечью продолжал он,— я старался забыть... Ел, пил, работал, как и все люди. Но зачем? Зачем мне все это? У меня нет больше сил терпеть муки! Я не хочу их терпеть! «Забудь! Забудь!» Можно забыть обо всем на свете, но не о себе самом. А как забыть о том, кто тебе дороже самого себя?! Вот я сажусь читать книгу. Читаю. И вдруг нападаю на слово, которое от нее слышал. И снова вся моя душа в огне. Я отправляюсь считать ягнят,— и вдруг вижу перед собой ее лицо и уже не в силах продолжать счет... Я смотрю на тебя, ты улыбаешься, а мне чудится,

что это она мне улыбается. Как же мне забыть ее, если она повсюду — и нигде! Не могу, не хочу жить без нее... Я знаю, что ты думаешь, — проговорил он, поворачиваясь к Эмм. — Думаешь, я не в своем уме. Думаешь, я еду умолять ее о любви! Да нет, не настолько уж я глуп. Мне только с самого начала следовало бы понять, что она не переносит моего присутствия. Да и кто я такой, чтобы она удостаивала меня взглядом. Правильно она сделала, что уехала. Правильно делает, что не желает на меня смотреть. Я не собираюсь говорить с ней, — хочу только увидеть ее, хочу только ходить по той же земле, что и она.

Глава XI

НЕОКОНЧЕННОЕ ПИСЬМО

Эмм сидела на белой овчине перед пылающим в камине огнем. Со дня отъезда Грегори прошло семь месяцев.

Августовский ветер завывал в дымоходе, назойливо свистел в каждой щели, ухал у дверей и с громкими стонами метался среди камней старого кургана. Ночь выдалась на редкость беспокойная. Опуния на вершине коппи, выпрямившись, собрала свою листву в плотную массу, чтобы легче было противостоять напору ветра; но вот одна ветвь у нее обломилась, затем другая, третья... Туземцы, лежавшие в своих соломенных хижинах, высказывали опасение, что к утру на крышах не останется ни пучка тростника. И даже стропила сарая трещали и скрипели так сильно, будто и они с большим трудом выдерживали буйство ветра.

Эмм не могла заставить себя лечь в постель. Как спать в такую ночь? Она развела огонь в камине, села на белую овчину и, дождавшись, пока огонь отпылет, начала печь лепешки на углях. «Меньше возни будет утром», — думала Эмм. Свечку она задула, потому что язычок огня так плясал на сквозняке, что темнота казалась только гуще. Эмм напевала про себя знакомую с детства песенку. Лепешки пеклись с краю, на поду, уголья Эмм отгребала в сторону; их мягкий янтарный блеск играл на ее русых волосах, на ее черном, с кремовым рюшем платье и белом мехе овчины.

Буря выла за окном все громче, все яростней. Но Эмм не слышала этого воя, так увлечена была она своей песенкой. Песенка была старая, наивная, в детстве Эмм часто слышала ее от матери:

Там, где ранним утром с ивой
Тихо шепчется поток, —
В воду смотрится стыдливо
Белый, словно снег, цветок.

Она скрестила на груди руки и задумчиво пропела следующий куплет:

Но настанет ночь... В досаде
Уроню я вздох. Увы!
Поплывут по сонной глади
Лепестки, мертвым-мертвы...

— Мертвым-мертвы, — несколько раз повторила она затихающим шепотом. Эти слова, казалось, звучали в унисон с ее затаенными мыслями. Она переворачивала лепешки, а ветер в неистовстве срывал с конька крыши черепицу и сотрясал стены.

Эмм почудилось, что кто-то стучит в дверь черного хода. Она прислушалась, но усилившийся вой бури заглушал все другие звуки. Эмм опять стала поворачивать лепешки, и тут стук, теперь уже отчетливее и громче, повторился. Она зажгла свечу от огня в камине и пошла к черному ходу, стараясь убедить себя, что все это ей просто послышалось. Кто может пожаловать к ним в такую ночь?

Она приоткрыла дверь, держа свечу за спиной, чтобы ее не задуло ветром. Тотчас же, не успела она вымолвить и слова, какой-то высокий человек ворвался в дом и, захлопнув за собой дверь, поспешил запереть ее на щеколду.

— Вальдо! — вскричала она, пораженная. Они не виделись больше полутора лет.

— Ты меня не ждала? — отвечал он, поворачиваясь к ней. — Я переночевал бы в своей комнате, не стал бы тебя беспокоить, да увидел свет сквозь ставни...

— Идем к огню, — сказала она. — Как ты пустился в путь в такую ужасную ночь? Только захвати с собой свои вещи.

— Это все, что у меня есть, — отвечал он, показывая на узелок в руке.

— А лошадь?

— Пала.

Они прошли в столовую, и он сел на лавку у камина.

— Лепешки будут готовы сию минуту, — проговорила она, — я соберу тебе поесть. Где ты пропадал так долго?

— Скитался, — отозвался он устало. — А теперь вот надумал вернуться в эти края. — Эмм хотела было отпра- виться за продуктами, но он остановил ее, схватив за руку. — погоди, Эмм. От Линдал давно не было вестей?

— Давно, — промолвила она, поспешно отвернув лицо.

— Где она? Я получил от нее одно-единственное письмо год назад. Где она сейчас?

— В Трансваале. Сейчас я соберу тебе поужинать. Поговорим после.

— Дай мне ее адрес, — попросил Вальдо. Но Эмм уже не было в комнате.

Собрав на стол, она подошла к камину, опустилась на колени и, переворачивая лепешки, заговорила торопливо и бессвязно. Она так рада его видеть... скоро приедет тетюшка. Санни со своим младенцем... Вальдо должен пожить на ферме и помочь по хозяйству... А Вальдо молча ел ужин, остерегаясь задавать какие-нибудь вопросы.

— На будущей неделе приезжает Грегори, — сказала она, — завтра ровно сто три дня, как он уехал. Вчера я получила от него письмо.

— Где же он был все это время?

Ничего не ответив, Эмм протянула руку за лепеш- кой.

— Ветер-то как завывает, собственного голоса не слыш- но, — сказала она. — Вот, пожалуйста, прямо с жару. Уж что-что, а лепешки я умею готовить. Почему ты так плохо ешь?

— Устал я, — сказал он, — ветер просто с ног валит.

Эмм стала убирать со стола, а Вальдо скрестил руки на груди и прислонился головой к стене. Увидев на камин- ной доске чернильницу и почтовую бумагу, он откинул скатерть, поставил на стол чернильницу и положил перед собой лист бумаги.

— Пока ты убираешь посуду, я напишу несколько строк. А потом поговорим.

Вытряхивая скатерть, Эмм внимательно рассматривала Вальдо. Он сильно изменился. Лицо исхудало, щеки вва- лились, это было заметно даже под густой бородой. Эмм села рядом с ним на овчину и ощупала узелок, с которым он пришел. Узелок был совсем небольшой и мягкий. «Рубашка да книга, — подумала она, — что там еще может

быть?» Его старая черная шляпа вместо репсовой ленточки повязана была неподрубленным лоскутком муслина, на локте блузы виднелась такая грубая заплата, приметанная через край желтыми нитками, что сердце у Эмм заныло от жалости. Только прическа оставалась у Вальдо прежней; волнистые шелковистые пряди ниспадали почти до самых плеч. Завтра она починит ему растрепавшийся в бахрому воротник и повяжет новую ленту на шляпу. Она не мешала ему писать. Только удивлялась, как можно засесть за письмо после такой долгой и утомительной дороги. Но он уже не чувствовал усталости, его перо быстро и свободно скользило по бумаге, глаза ярко сверкали. И Эмм прижала руку к груди, ощупала за пазухой полученное ею вчера письмо, и тотчас же забыла о Вальдо, так же, как и он в своем увлечении забыл о ней. Каждый был погружен в мир своих мыслей. Вальдо писал Линдал, ему хотелось рассказать ей обо всем, что он повидал, обо всем, что он делал, хотя, по правде говоря, и рассказывать-то было не о чем. Но ему казалось: вот он воротился в старый дом и сидит, беседуя с Линдал.

...Затем я добрался до следующего города, но лошади надо было дать отдых, и я стал подыскивать себе какую-нибудь работу. В конце концов устроился приказчиком в лавку. Хозяин заставил меня подписать контракт на полгода и отвел мне каморку при складе. У меня еще оставалось три фунта. А когда ты только что из деревни, три фунта кажутся целым состоянием.

Три дня кое-как я промучался, на четвертый меня потянуло в дорогу. Нет более низкого занятия, чем служить приказчиком. Лучше уж камни тесать в каменоломне, там хоть у тебя небо над головой, а если ты и гнешь спину, то только перед камнями. Я просил хозяина отпустить меня и предлагал ему два фунта неустойки и мешок кукурузы ценою в фунт, но тот и слушать меня не хотел. Потом я понял почему. Он платил мне половину того, что другим. Когда я глядел на других приказчиков, у меня заходило сердце: неужто и я стану таким же, как они? Целыми днями расшаркивались они перед покупателями, приветливо им улыбались, а сами только и думали, как бы вытянуть у них денежки. Приказчики показывали покупателям платья, ленты — и так при этом извивались, что походили на угрей. Во всей лавке был всего лишь один достойный человек — туземец, он работал

грузчиком — и улыбался, только когда ему было весело, и никогда не лгал.

Приказчики прозвали меня «Душеспасением». Среди них мне нравился только один, и тот служил в соседнем магазине. Он часто проходил мимо нашей двери, и мне казалось, что он не похож на остальных, лицо у него было открытое и веселое, как у ребенка. Он пришелся мне по душе с первого взгляда, а когда я увидел у него в кармане книгу, это еще больше расположило меня к нему. Я спросил, любит ли он чтение, и он ответил: да, когда нет иного занятия. На следующий день он сам подошел ко мне, спросил, не скучно ли мне, ведь я никуда не хожу с другими приказчиками, и обещал зайти ко мне вечером.

Я был рад и решил угостить его ужином. Сами-то мы, моя гнедая и я, питались одной кукурузой, это дешевле всего и, если не разваривать зерна, экономнее всего: много не съешь, а тут я купил мяса, испек лепешки из муки, постелил свое пальто на ящик, чтобы моему гостю удобнее было сидеть, и стал ждать.

«Ну, и чудная у вас комнатуха!» — сказал он, когда зашел ко мне. И впрямь, каморка у меня была презабавная. Вместо мебели в ней стояли упаковочные ящики. Пока я раскладывал угощение, он просматривал мои книги и читал вслух заглавия: «Элементарная физиология», «Основы законов».

«У меня этого добра хоть пруд пруди, — сказал он, — такие книги давали мне в воскресной школе за прилежание. Теперь я их употребляю для раскуривания». И спросил, читал ли я книгу под названием «Черноокая креолка». «Вот занятная вещь, — сказал он, — там один парень держит негритянку, а другой одним махом отсекает ей руку. Книга — не оторвешься!»

Он еще долго говорил, не помню что. Помню только, все это было как в кошмарном сне, мне хотелось бежать куда-нибудь далеко-далеко.

Вскоре после ужина он собрался уходить: ему надо было проводить домой каких-то девиц после молитвенного собрания; тут он поинтересовался, к слову, отчего я избегаю женщин. Сказал, что у него много возлюбленных; в среду он как раз собирается съездить к одной из них, — и попросил одолжить ему мою гнедую кобылу. Я предупредил его, что она стара, еле ноги передвигает, но он сказал, ничего, мол, как-нибудь доедет.

После его ухода я расставил все по-прежнему. Мне нравилась моя каморка, я с удовольствием возвращался к себе

вечером, и мне даже казалось, будто ее стены упрекают меня за то, что я пригласил сюда этого малого. На завтра он пришел за моей лошадью. В четверг он не возвратил ее, а в пятницу я нашел у своей двери седло и уздечку.

Под вечер он заглянул ко мне в лавку и поинтересовался, нашел ли я седло. «А этот мешок с костями вы найдете, Фарбер, в шести милях отсюда,— добавил он.— Я пришло вам завтра шиллинг-другой, хотя, по правде сказать, ее шкура и того не стоит. До свидания». Тут я перемахнул через прилавок и схватил его за горло. Мой отец так берег ее, он спешивался каждый раз, когда приходилось ехать в гору, а этот человек убил ее! Я тряс его, требуя сказать, где он бросил мою лошадь; его счастье, что он вывернулся у меня из рук. Он прокричал мне с порога, что невелик труд загнать клячу, хозяин которой спит на ящиках и не имеет тарелки для гостя; я, верно, кормил ее мешками из-под сахара, «если вы думаете, что я забрал ее себе, поезжайте и посмотрите сами,— сказал он.— Вы ее найдете там, где стервятники».

Я ухватил его за шиворот, приподнял и вышвырнул на самую середину улицы. Я слышал потом, как бухгалтер говорил одному приказчику, что вот, мол, в тихом омуте черти водятся. С тех пор меня уже не звали «Душеспасением».

Я пишу тебе о всяких мелочах, но ведь никаких важных событий и не произошло: может, тебе приятно будет узнать обо всем этом. Что бы ни случилось, я думал: «Не забыть бы рассказать Линдал»,— мысль о тебе никогда не покидает меня.

После этого случая ко мне заходил лишь один пожилой человек. До этого я часто встречал его на улице в грязном черном сюртуке и в шляпе с черной креповой ленточкой. Один глаз у него был выбит — оттого-то я и заметил его. В один прекрасный день он явился ко мне с подписным листом. Деньги, которые он собирал, должны были пойти на выплату жалованья пастору. Когда я ответил, что мне нечего ему дать, он строго поглядел на меня своим единственным глазом.

«Молодой человек,— спросил он,— отчего я никогда вас не видел в доме божием?»

Я полагал, что намерения у него добрые; мне стало почему-то жаль его, и я ответил, что не хожу в церковь.

«Молодой человек,— сказал он,— мне горько слышать столь богопротивные слова из ваших уст. Вы еще так молоды, но уже вступили на погибельную стезю. Вы забываете

о боге, бог забудет о вас. В церкви есть для вас свободное место возле задней двери. Что станет с вашей бессмертной душой, если вы предадитесь мирским радостям и наслаждениям?» ~

Он отвязался от меня только после того, как я дал ему полкроны. Впоследствии я узнал, что этот человек собирает плату за пользование местами в церкви, за это ему выплачивают проценты.

Когда срок моего контракта с хозяином лавки истек, я нанялся погонщиком.

В то утро, когда я снова увидел вокруг себя поросшие кустами карру холмы с нависающим над ними нежно-голубым небом, я был словно пьяный. Я смеялся, а сердце мое билось так, словно готово было выпрыгнуть из груди. Я плотно зажмурил глаза, а потом снова открывал их, чтобы убедиться, что я не за прилавком. Может быть, в торговле и есть что-то привлекательное, как и во всем другом на свете, — но для меня она отвратительна. Я с удовольствием работал бы погонщиком, если бы мне приходилось погонять только одну упряжку быков. Хозяин сказал мне, что каждый из нас будет править одной упряжкой: первой он, второй я, а для третьей он наймет погонщика. Но с первого дня, чтобы помочь ему, я правил двумя упряжками, а затем и всеми тремя. У каждой придорожной гостиницы хозяин останавливался пропустить рюмочку, а когда возвращался, уже не стоял на ногах, и нам с мальчишкой-готтентотом приходилось класть его в фургон и управляться самим со всем обозом, а у следующей гостиницы все начиналось сначала. Ехали мы по ночам, отдыхали же днем, в самую жару, по пять-шесть часов. Я решил, что буду читать перед сном час-другой, и первое время так и делал. Но потом сон стал одолевать меня с такой силой, что я убрал книги. Когда всю ночь идешь пешком да еще погоняешь три упряжки, устает так, что просто валишься с ног. Поначалу я был в восторге: никогда еще звезды не казались мне такими красивыми. Когда мы проезжали сквозь кустарник, по обе стороны дороги плясали блуждающие огоньки; и даже темные сырые ночи казались мне прекрасными. Но вскоре утомление взяло свое, я перестал замечать что-либо, кроме дороги и быков. И мечтал лишь о ровной колее, чтобы можно было сесть на козлы и подремать. Сколько редкостных растений и цветов видел я там, где мы останавливались на привал. С невысоких деревьев свешивались гроздья цветов, густо рос орешник, порхали невиданные бабочки. Но я слишком сильно

устаивал, чтобы любоваться всем этим. Только бы набить живот, завалиться под фургон и спать до тех пор, пока тебя на разбудят, — и снова всю ночь в пути. Я привык спать на ходу, перестал размышлять и превратился в некое подобие животного. Тело у меня окрепло, я стал выносливей, чем когда бы то ни было, но мой мозг омертвел. Это может понять только тот, кто сам испытал. Ты работаешь, работаешь, работаешь — незаметно душа в тебе черствеет. Когда я теперь встречаю приехавших из Европы землекопов, угрюмых, свирепых и загрубелых, — я знаю, что сделало их такими, и если у меня есть хоть горсть табаку, я отдаю им половину. Их превратила в животных работа — однообразная, тупая, механическая работа, которую делали, может быть, и не они сами, а их предки. Душа в перетруженном теле погибает. Но ведь работа может быть и благом. На ферме я тоже трудился от зари до зари, но у меня оставалось время, чтобы мыслить и чувствовать. Непосильной работой можно вытравить в человеке все человеческое, можно превратить его в дьявола. Я это понял на собственном опыте. Ты никогда не сможешь понять, как велика происшедшая во мне перемена. Хуже всего то, что я не чувствовал себя несчастным! Только бы не застрять в дороге, только бы поспать немного, — о большем я тогда и не мечтал. Так прошло восемь месяцев. Наступил сезон дождей. По восемнадцать часов в сутки мы ходили мокрые. Фургоны по ступицы вязли в грязи, нам приходилось откапывать колеса, мы еле тащились. Хозяин ругал меня последними словами и каждый раз, отведя душу, совал мне свою флягу с бренди. Он и раньше, бывало, предлагал мне сделать глоток-другой, но я отказывался, а тут стал без раздумья пить это зелье, как мои быки воду. Кончилось тем, что я сам стал забегать в каждый придорожный бар.

Однажды, в воскресенье, мы распрягли быков на берегу разлившейся реки и стали ждать, пока спадет вода. Моросило. Я забрался под фургон и улегся на раскисшую от дождей землю. Нечего было даже и думать о том, чтобы развести костер и сварить пищу. Фляжка у меня была полная, я сделал несколько затяжных глотков и заснул. Проснувшись, я увидел, что дождь все еще льет не переставая, и допил все, что оставалось, но никак не мог согреться, и хозяин протянул мне свою фляжку. Выпив, я пошел поглядеть, не убывает ли вода. Помню, как я шел и мне казалось, что дорога убегает у меня из-под ног. Проснулся я под небольшим кустом на берегу. Близился вечер. Тучи разошлись,

и надо мной синело чистое небо. Мальчик-бушмен жарил на костре бараний бок. Он улыбнулся мне, растянул рот до ушей и сказал: «Хозяин был немного хорош, спать лежал на дороге. Боялся: хозяин задавит, перетащил его сюда». И снова заулыбался, словно бы говоря: знакомое дело, самому приходилось валяться на дороге, как же не выручить товарища! Я отвернулся. Какая прекрасная после дождя была земля, чистая, свежая, зеленая! А я, как свинья, валялся в грязи, покуда меня оттуда не вытащили. Я вспомнил, каким я был прежде, подумал о тебе. Однажды ты прочтешь в газетах: «Немец-возчик Вальдо Фарбер попал под колеса своего фургона. Смерть была мгновенной. Покойный, как полагают, в момент происшествия был в нетрезвом состоянии». Такие сообщения частенько попадают в газеты. Я сел, вытащил из кармана фляжку и зашвырнул ее в темную воду. Готтентот кинулся было за ней, но она пошла ко дну. С тех пор я не пью. Но, Линдал, видеть грех страшнее, чем совершать его. Каторжник и пропойца внушают нам ужас, мы думаем, что они потеряли облик человеческий, — а ведь сами они чувствуют себя такими же людьми, как и мы. «Вот мерзавцы!» — негодуем мы. А ведь они — это мы сами. Мы только древесина, а жизненные обстоятельства тот резец, который придает этой древесине любую форму.

Не знаю, почему я так упорно работал на хозяина. С такой же покорностью, должно быть, быки подставляют свою шею под ярмо. Может быть, я до сих пор продолжал бы работать, если бы не одно происшествие... Однажды мы отправились с грузом к алмазным копям. Быки к тому времени истухали, а тут еще весь день, пока мы грузились, им не давали корм. У подножия первого же холма они встали. Я пробовал понукать их, но понял, что одной упряжкой тяжелый фургон не вытянешь, и хотел было присоединить к ним другую упряжку, но тут из фургона выпрыгнул хозяин. «Пусть половина быков из твоей упряжки передохнет, но они втащат фургон на холм!» — закричал он.

Хозяин был пьян, просто зол с похмелья. Обругав меня, он велел мне взять кнут и помогать ему. Но сколько мы ни старались, быки даже не сдвинулись с места. Я сказал, что понукать их бесполезно. Хозяин выругался еще крепче, созвал погонщиков со всего обоза и велел хлестать быков. Один из быков, черный бык, был так худ, что его кости были лишь едва-едва прикрыты кожей. «Это ты, дьявольское отродье, тянуть не хочешь? Сейчас я тебе задам!» — заво-

пил хозяин. В эту минуту он сам походил на дьявола. Он велел погонщикам отойти, нашел круглый камень и, ухватив черного быка за рог, принялся бить его камнем по ноздрям, пока не хлынула кровь!.. Потом они снова хлестали быков кнутами, но, как быки ни напрягались, они так и не смогли сдвинуть фургон. «Так не хочешь тянуть, не хочешь! — орал хозяин. — Я тебе помогу!»

Он вынул нож и трижды вонзил его по самую рукоятку в ногу дрожащего черного быка, потом убрал нож в карман, и они снова взялись за кнуты. Бока у животных судорожно вздымались и опускались, они брызгали пеной. Они проталили фургон на несколько футов и стали, не давая ему скатиться назад. Из ноздрей черного быка била кровавая пена. Он повернул голову и посмотрел на меня полными боли глазами, словно умоляя о помощи. А они опять взялись за кнуты. И тут он жалобно заревел. Божья тварь, казалось, звывала к своему творцу. И тут же из обеих ноздрей черного быка хлынула алая кровь, он упал на землю, и фургон медленно скатился вниз. «Ишь ты как развалился, дьявольское отродье! — вскричал хозяин. — Ну, погоди у меня!»

Бык издыхал. А хозяин снова полез за своим ножом. Не помню, что было дальше. Помню только, как меня оттаскивали от хозяина, а я прижимал его коленом к земле. Жаль, что мне не дали с ним разделаться. Излив свою ярость, я повернулся и зашагал обратно в город. Все, что у меня было, осталось в этом проклятом фургане. В кармане у меня лежало всего два шиллинга, но я не унывал. На другой день я нашел себе работу в оптовом магазине. Я таскал ящики, упаковывал их и распаковывал. Рабочий день длился с шести до шести, так что у меня оказалась бездна свободного времени. Я снял себе уголок, записался в библиотеку. Других у меня желаний не было. На рождественские праздники я отправился поглядеть на море. Я шел всю ночь, Линдал, чтобы не идти по жаре. Вскоре после рассвета я оказался на вершине высокого холма. Передо мной расстилалось однообразное ровное голубое пространство. Я смотрел на него, думая о море, которое мне так хотелось видеть. Только немного погодя я понял, что ведь это и есть море! Не будь я так измучен, я тотчас повернул бы назад. Неужто же нам суждено разочароваться во всем, что так хочется увидеть, — в соборах, в картинах, в европейцах? Сколько лет я мечтал увидеть море. Еще совсем маленьким, когда я пас овец за курганом, я часто рисовал себе в мечтах безграничный морской простор, сверкающий под солнцем.

Мое море! Неужели же идеал всегда прекраснее действительности?

К вечеру я добрался до берега и долго смотрел, как набегают на песок высокие валы, увенчанные белыми гребнями. Зрелище было красивое, но я подумал, что утром все равно вернусь в город. Это море не мое!

Ночью, в лунном свете море стало мне нравиться, на другой день оно понравилось мне еще больше. Я его полюбил, Линдал. Море куда человечнее, чем небо и звезды, повествующие о том, что не имеет ни конца, ни начала. Из всего, что я видел, только море походит на человеческое существо. Его нельзя сравнивать ни с небом, ни с землей. Оно в вечном волнении, в его глубине таится нечто приводящее его в движение. Оно не знает отдыха, оно всегда во власти желаний, всегда, всегда! Оно бросается на берег, затем медленно, со стонами, отползает, так и не достигнув своей цели. Оно вечно задает один и тот же вопрос, но так и не получает на него ответа. Я слышу его голос ночью и днем; белопенные валы вслух высказывают мои мысли. Я брожу по его берегам в одиночестве и пою ту же песню, что и оно. Я ложусь на песок и слежу, чуть прикрыв глаза, за волнами. Небо прекраснее, но небо так высоко. Я люблю море. Не все же нам глядеть на небо! Прошло пять дней, прежде чем я вернулся в Грэхэмстаун.

У меня были замечательные книги, по ночам я мог читать их в своей комнатке сколько душе угодно, но чувствовал я себя одиноким. Когда живешь в городе среди людей, книги не могут заполнить твою жизнь целиком. Я и тосковал, и мне нужен был друг, живой человек, а не мертвые книги. Однажды к нам на ферму заехал незнакомец. Мы с ним долго разговаривали, сидя среди кустов карру. Имени его я не знаю. Куда бы ни бросала меня судьба, я искал его везде: и в гостиницах, и на улицах городов, и в проносившихся мимо омнибусах, и в окнах домов, — но мне так и не удалось его найти, так и не удалось услышать его голос. Однажды, в конце недели, я пошел в ботанический сад. Стоя на верхней террасе, я смотрел вниз на площадку, где музыканты настраивали инструменты. По аллее гуляла публика, красивые леди и нарядные дети, все вокруг утопало в цветах. Наконец заиграл оркестр. Никогда в жизни не слышал я такой музыки: сначала она текла медленно и неторопливо, как будничная жизнь, без страстей, без волнений; но вот темп стал убыстряться, затем музыка оборвалась, и после короткой нерешительной паузы загре-

мела снова. Линдал, даже рай не был бы раем без музыки. Музыка подхватывает тебя и уносит вдаль; ты паришь на ее крыльях над широкой равниной, и тебе кажется, будто ты обрел все, к чему стремился. Пока играл оркестр, я стоял, прислонясь головой к дереву, и ничего не видел; и только после того, как музыка замолкла, я пришел в себя. Совсем рядом на скамейке между двумя красивыми разряженными леди, сидел тот самый незнакомец, которого я искал. Музыку они не слушали, только тихо разговаривали и смеялись. Я слышал весь их разговор и даже улавливал аромат розы, которая красовалась на груди одной леди. И тут я вдруг испугался, как бы незнакомец меня не заметил, и спрятался за дерево. А немного погодя они поднялись и стали прогуливаться по аллее. Снова заиграла музыка, но они продолжали весело шутить. На руке у незнакомца висел шарф, принадлежавший самой красивой из двух леди. Я не слушал музыки, я только старался уловить звуки его голоса всякий раз, когда они проходили мимо дерева, за которым я стоял. Пока я наслаждался музыкой, я совсем не думал о том, что плохо одет, теперь же я устыдился самого себя. Каким жалким оборванцем выглядел я в этой нарядной толпе! В тот день, когда мы сидели с ним под кустом терновника, он казался мне таким же, как я. Теперь я понял, что он принадлежит другому миру. Но мне он казался по-прежнему прекрасным, особенно хороши были его карие глаза. Только у тебя, Линдал, красивее глаза, чем у него, и я побрел за ним. У ворот их ждал фэтон. Незнакомец помог обеим леди сесть и, поставив ногу на подножку, что-то им сказал. Затем они попрощались, и он ушел, помахивая тросточкой, следом за ним бежала итальянская борзая. Только фэтон тронулся, — одна из леди уронила хлыст.

«Эй, парень, — окликнула она меня, — подай-ка мне хлыст». Когда я подал ей хлыст, она бросила мне шестипенсовик. Я мог бы, разумеется, возвратиться в сад, но у меня пропала охота слушать музыку. Мне хотелось быть одетым в красивое модное платье и обладать изысканными манерами. Я посмотрел на свои загрубелые руки и понял, какой я неотесанный мужлан. Больше я не искал встречи с этим человеком.

После этого случая я проработал в магазине еще четыре месяца, но на душе у меня было грустно и беспокойно. Меня тянуло к людям, я был недоволен собой. Даже когда я их не видел, меня все равно тянуло к людям, и я чувствовал

себя глубоко несчастным. Я разлюбил книги, я нуждался в человеческом обществе. Возвращаясь домой по улицам, затененным деревьями, я тосковал, потому что, проходя мимо домов, слышал музыку, видел, как в окнах мелькают человеческие лица. Все эти люди были мне не нужны, но мне нужен был один-единственный друг. Я ничего не мог поделать с собой, мне хотелось жить более красивой жизнью, чем та, которой я вынужден был довольствоваться.

За все это время я был счастлив лишь однажды, когда в магазин зашла няня с маленькой дочкой одного из приказчиков. Пока няня ходила в контору с каким-то поручением, малютка внимательно меня разглядывала. Потом вдруг подошла и заглянула мне в лицо.

«Какие у вас красивые кудри,— пролепетала она,— я очень люблю кудри».

Она тщательно ощупала мои волосы своими ручонками и позволила мне посадить себя на колени. И поцеловала меня! Мы оба были счастливы. А потом пришла няня, забрала девочку и стала стыдить ее за то, что она пошла на руки к чужому человеку. Но та ее и слушать не стала. Перед тем как няня увела ее, она ласково улыбнулась мне.

Я мог бы полюбить наш мир, будь он миром детей. Взрослые же мужчины и женщины сперва привлекают, а потом отталкивают меня, повергая в отчаяние. Видимо, я не создан для того, чтобы жить среди людей. Может быть, после того как я стану постарше, я научусь жить среди них, научусь смотреть на них так же, как смотрю на скалы и кусты, без волнения и тревоги. Но пока это невозможно... Итак, я чувствовал себя все несчастнее. Мной овладел какой-то странный недуг. Я лишился покоя, не мог читать, утратил способность мыслить. И вот я вернулся сюда. Я знал, что тебя здесь нет, и все же мне казалось, что я буду к тебе ближе. Ты мне так нужна. Никто не может заменить тебя...

Вальдо исписал всю бумагу, что была на столе, и достал последние несколько листков с каминной полки. Эмм мирно дремала на овчине возле очага. За окном продолжал бушевать ветер, но теперь он налетал редкими порывами, словно утомленный своим недавним неистовством. Вальдо снова склонился над столом. На его щеках пылал румянец нетерпения.

«Это было чудесное путешествие, путешествие домой,— торопливо писал он,— Я прошел весь путь пешком. Треть-

его дня, на закате, я почувствовал сильную жажду и, свернув с дороги, углубился в лощину, надеясь найти среди густо-зеленых куп деревьев какой-нибудь родник. Солнце село, было так тихо и безветренно, что ни один листок не шевелился. Подойдя к пересохшему руслу горной речки, я прыгнул на ее белое песчаное дно. Казалось, я стою в огромной зале с ровными отвесными стенами. Из расщелины в скалах тонкой струйкой бежала вода. Разбиваясь о гладкую каменную плиту внизу, капли звенели серебряным колокольчиком... Одно из деревьев резко выделялось на фоне, белесого неба. Все другие деревья застыли в полной неподвижности, но это трепетало всей кроной. Я стоял на песке, не в силах уйти. Только после того, как стало совсем темно и на небе зажглись звезды, я выбрался из лощины. Может быть, это покажется тебе странным, но я был безмерно счастлив своей близостью к тому, что нам не дано видеть, а дано только чувствовать. Эта последняя ночь выдалась ненастная, ветреная. Я шел по равнине в полной темноте. Мне нравилось идти против ветра, потому что казалось, будто я пробиваюсь к тебе наперекор ярости стихий. Я знал, что не найду тебя здесь, но хотя бы расспрошу о тебе. Ночью, когда я сидел на козлах фургона, — я нередко ощущал прикосновение твоих рук. А в своей каморке я тушил свечу и сидел в темноте, чтобы отчетливее видеть твое лицо. Я представлял тебя то девочкой, которая приходила ко мне, когда я пас овец, и садилась рядом в своем синем передничке, то девушкой. И ты была мне одинаково дорога. Я неудачник и никогда ничего не достигну. Но ты, верю я, добьешься многого, и я буду горд твоими успехами. Такая радость охватывает меня при одном воспоминании о тебе! Ты — это я, у меня нет никого ближе тебя. Вот допишу и пойду взглянуть на дверь твоей комнаты...

Ветер, истощив свою ярость, со стонами кружил вокруг дома и всхлипывал, как усталое дитя.

Эмм проснулась и села к огню. Протирая глаза, она слушала, как ветер с жалобным плачем проносится над крышей и удаляется прочь, вдоль каменных оград.

— Утих, — сказала она и сама вздохнула, как бы выражая свое сочувствие утомленному ветру.

Погруженный в задумчивость, Вальдо ничего не ответил.

Немного погодя она поднялась и положила руку ему на плечо.

— Тебе надо написать много писем? — спросила она.

— Нет,— отвечал он,— только одно, Линдал.

Она отвернулась и долго-долго молчала, глядя на огонь. Но ведь горький плод не станет слаще от долгого хранения.

— Вальдо, дорогой,— проговорила она, взяв его за руку,— заканчивать это письмо нет никакого смысла.

Он откинул со лба завитки черных волос и взглянул на нее.

— Никакого смысла,— повторила она.

— Почему? — спросил он.

Эмм прижала ладонью исписанные листки.

— Потому что Линдал умерла.

Глава XII

ГРЕГОРИ И ЛИНДАЛ

По равнине медленно тащилась повозка. На заднем ее сиденье, скрестив руки на груди и надвинув на глаза шляпу, сидел Грегори, на переднем — молодой возница-туземец, — а у его ног расположился Досс. Пес то и дело приподнимался, поглядывал через щитки на вельд, а затем с хитрым видом прищуривал левый глаз, давая понять, что знает здесь каждый кустик. Никто не ждал их, никто не вышел навстречу. Вальдо спокойно плотничал в сарае, пока вдруг не увидел перед собой Досса, который весь дрожал, морщил нос и приглушенно таякал, выражая свой восторг от встречи.

Эмм устала ждать их приезда и ушла в глубь дома, где занялась какими-то делами. Неожиданно она увидела на пороге Грегори в соломенной шляпе. Он тихо поздоровался, повесил шляпу на обычное место за дверью, и все это так, словно отлучался ненадолго, ездил в город за почтой. Изменился Грегори очень мало, разве что сбрил бороду да лицо похудело немного. Он расстегнул кожаные гетры, снял их, пожаловался на жару и пыль и спросил себе чаю. Затем поговорил с Эмм о ценах на шерсть, о скоте, об овцах. Эмм принесла ему пачку писем, накопившихся за долгие месяцы его отсутствия. О том, что хранилось в самой глубине их души, они не обмолвились ни словом. Грегори пошел осматривать загоны для овец, а Эмм принялась печь лепешки. За ужином они потолковали о работниках и слугах, а потом стали молча пить кофе. Эмм ни о чем не спрашивала. Кончив ужинать, Грегори пошел в гостиную и лег там в темноте на диван.

— Не зажечь ли огонь? — спросила Эмм, заглянув в гостиную.

— Нет, — ответил он и немного погодя добавил: — Присядь, Эмм. Я хочу поговорить с тобой.

Она вошла и села на скамеечку рядом.

— Я все расскажу, если ты хочешь, — предложил он. Она прошептала:

— Расскажи. Если это не причинит тебе боль.

— Не все ли теперь равно? — проронил Грегори. — Говори не говори, ничто не изменится.

И все-таки он долго не мог начать. Дверь была открыта, и, освещенный тусклым наружным светом, он лежал плашмя на спине, закрыв рукой глаза. Наконец он заговорил. Вероятно, с облегчением.

...Итак, Грегори выследил их через своего агента и отправился в Блумфонтейн в Свободной Оранжевой Республике. Остановился он в том же отеле, где до него жила Линдал со своим спутником, ему даже указали их комнату. Цветной юноша, который отвез их в следующий городок, дал ему точный адрес. Грегори тотчас поехал туда и узнал, что они оставили в этом городке двуколку, купили легкую коляску и четверку лошадей серой масти. Грегори воспрянул духом, теперь их нетрудно было настичь. И помчался за ними на север.

На всех фермах, где он останавливался, люди отлично помнили коляску, еще бы, господин и госпожа ехали четверкой. В одном месте жена хозяина бура рассказала, как высокий, голубоглазый англичанин взял у нее молока и спросил, как проехать до соседней фермы. Он попросил букет цветов и дал за них девочке полкроны. Подумать только, полкроны! Хозяйка велела дочке принести монету, чтобы Грегори собственными глазами убедился в правдивости ее рассказа. На следующей ферме господин и госпожа ночевали. Здесь ему рассказали, как огромный бульдог, который терпеть не мог чужих, положил голову молодой даме на колени. Вот так, с помощью расспросов, он следовал за ними долгие месяцы.

На одной ферме ему попался разговорчивый хозяин-бур, он подробно рассказал, что даме понравился фургон, который она увидела у дверей, и как англичанин, не спрашивая цены, тут же предложил за эту старую колымагу сто пятьдесят фунтов да еще шестнадцать выложил за быков, которые и десяти не стоили. Бур радостно посмеивался, благо де-

нежки покоились у него в сундуке под кроватью. И Грегори тоже молча улыбался, уверенный, что теперь-то он не потеряет их след, в таком громоздком экипаже им далеко от него не уехать. Но Грегори радовался рано, потому что, когда он в тот же вечер добрался до маленькой придорожной гостиницы, там и слышать не слышали ни о каком фургоне.

Хозяин, угрюмый человек, принявший, видимо, изрядную дозу местного бренди, с трубкой в зубах сидел на скамье у дверей. Грегори подсел к нему и принялся его расспрашивать, но тот только попыхивал трубкой. Ничего такого он не припоминает, никакого англичанина и англичанки знать не знает. Да разве упомнишь всех, кто тут перебивал! Грегори и так и эдак пытался разбудить его память, говорил, что леди, которую он разыскивает, красавица, у нее маленький рот и стройные ножки. Но старик угрюмо отмалчивался. Подумаешь, экая невидаль — маленький рот и стройные ножки. Весь этот разговор слышала из окна дочь хозяина, ленивая и неопрятная, хотя и не лишенная доброты особа, которая любила поболтать с приезжими. Она протянула в окно пару бархатных туфелек с черными бантами и, похлопав ими Грегори по плечу, спросила, не узнает ли он эти туфельки. Он чуть ли не рывком выхватил их у нее. Только одной женщине в мире они могли быть впору!

— Эти туфельки прошлым летом оставила здесь одна дама, — сказала девушка. — Ее-то вы, наверно, и разыскиваете? Сроду не видывала таких маленьких!

Грегори поднялся и принялся ее расспрашивать. На чем они ехали, в фургоне или в коляске, — этого она не могла сказать. Помнила только, что джентльмен был чудо как хорош собой, высокий, стройный, с голубыми глазами, всегда в перчатках. Английский офицер, должно быть. Уж конечно, не африкандер...

Грегори попросил ее рассказать о леди. Леди? Пожалуй, недурна собой, сказала девушка. Но надменная, скучная, неразговорчивая. Они пробыли здесь дней пять, ночевали вон в том флигеле против большой веранды. Иногда ссорились. Ссоры затевала, так она полагает, леди. Она им прислуживала и все видела. Однажды джентльмен коснулся волос леди, а та вскочила как ужаленная. Стоило ему подсесть к ней, как она тотчас же вставала и уходила в другой угол комнаты. Гуляла одна. Слишком холодная жена для такого приятного мужчины, — так она полагает. Про-

сто жаль, такой красивый мужчина, и... уехали они рано утром, а куда, как — девушка не помнила.

Грегори расспросил прислугу, но ничего больше так и не сумел выяснить. На следующее утро он оседлал лошадь и поехал дальше. На фермах добрые старые дядюшки и тетюшки угощали его кофе, а босоногие дети глазели со всех сторон, но никто не слышал о леди и джентльмене, которыми он интересовался. Грегори метался по карру, стремясь отыскать конец утерянной нити, но все его поиски оказались напрасными: коляска и фургон, маленькая леди и красивый джентльмен бесследно исчезли. Ничего не было слышно о них и в городках.

Один только раз его осенила надежда. На веранде деревенской гостиницы, где он остановился на ночлег, прохаживался джентльмен степенного вида сочень приветливым лицом. Грегори поговорил с ним о погоде, а потом, с места в карьер, спросил, не встречал ли он в здешних местах мужчину и женщину в коляске либо в фургоне. Тот покачал головой, но тут же поинтересовался, какова из себя леди.

Грегори постарался расписать, как мог: шелковистые волосы, маленький ротик, нижняя губа полная и нежно-розовая, верхняя — тонкая, красиво очерченная, на ногте указательного пальца правой руки четыре белые крапинки, брови с легким, еле заметным изгибом.

Джентльмен задумался, будто что-то припоминая.

— Да, да, щеки цвета розового бутона, ручки лилейной белизны, ангельская улыбка...

— Это она, она! — вскричал Грегори и спросил, куда, в какую сторону она поехала.

Джентльмен долго поглаживал бородку. Он попробует припомнить.

— А ее ушки... — не договорив, джентльмен сильно закашлялся и поспешно скрылся.

Тощий клерк и бармен в грязном фартуке, стоявшие в дверях, громко хохотали. Грегори подумал с неодобрением, что вряд ли уместно смеяться над закашлявшимся человеком, но тут до него донеслись раскаты громового хохота из-за двери, за которой исчез джентльмен. Выяснить было нечего. Все было и так ясно. Бедный Грегори!

Грегори носился на своем коне взад и вперед, от маленькой грязной гостиницы, где потерялись следы, до всех окрестных ферм, пока окончательно не пал духом. Ему не приходило в голову, что фургон мог отправиться

в одну сторону, а коляска — в другую. Наконец он понял, что продолжать здесь поиски бесполезно, и отправился дальше наугад.

Лошади его совсем обессилели, и ему пришлось остановиться в каком-то маленьком городишке. Единственная там гостиница оказалась уютным гостеприимным жилищем, под стать ее хозяйке, чистенькой маленькой женщине с приветливой улыбкой на лице. Хозяйка вечно была на ногах, всюду попевала и любила поговорить кстати и некстати с посетителями бара, со служанками на кухне, с прохожими на улице. Она была словоохотлива по натуре, как и все добродушные женщины, с большим ртом и носом кнопкой.

В гостинице была небольшая зала для постояльцев, предпочитающих одиночество. Сюда Грегори и подали завтрак, а хозяйка, смахивая пыль с мебели, развлекала его разговорами о последних находках в алмазных копиях, о том, как плоха нынче прислуга, как скверно относится местный пастор-голландец к англичанам. Грегори ел завтрак и пропускал ее болтовню мимо ушей. Тотчас по приезде он навел справки, а до остального ему не было никакого дела.

Но вот отворилась дверь в углу, и в гостиную вошла служанка. Красный платок, которым она была повязана, выдавал в ней уроженку Мозамбика. Она несла поднос с остатками завтрака — недоеденный гренок, недопитая чашка кофе, яйцо разбитое, но даже не начатое. Она тихонько притворила за собой двери и с благодушной улыбкой на черном лице пожелала Грегори доброго утра.

— Ах, Айя, право же, я не могу поверить, что ты хочешь от нее уйти! — обратилась к ней хозяйка. — Прислуга говорила мне, но я уверена, что ты этого не сделаешь.

Служанка ухмыльнулась.

— Муж говорит, я должна его слушать.

— На кого же ты ее оставишь? Она ведь не захочет брать себе другую сиделку, — сказала хозяйка. — Да и я ни за какие деньги не соглашусь за ней смотреть.

Служанка еще раз добродушно улыбнулась и вышла. Хозяйка последовала за ней.

Обрадованный тем, что остался наконец в одиночестве, Грегори рассеянно смотрел, как солнечные лучи играют на фуксиях и на полированных филенках двери в углу. Служанка, уходя, не закрыла дверь, а только притворила, и теперь кто-то тихонько толкал ее изнутри. Затем в щели

показались нос и желтое ухо, спадавшее на левый глаз, а затем и вся голова, склоненная набок. При виде Грегори нос неодобрительно сморщил и исчез. Из-за полуприкрытой двери на Грегори пахло запахом туалетного уксуса. Там, в комнате, было темно и тихо.

Чуть погода вернулась хозяйка.

— О боже, оставила дверь открытой! — заговорила она, спеша затворить дверь. — Ох уж эти черные! И где только у них голова! Вам нездоровится, сэр? — поинтересовалась она, взглянув на Грегори.

— Нет, нет, — отвечал Грегори. — Кто живет в этой комнате?

Обрадованная неожиданному слушателю, хозяйка тут же выложила все, что знала. Полгода назад в гостиницу приехала леди, одна-одинешенька, если не считать цветного погонщика. Через восемь дней после приезда она родила. Если хочет, мистер может встать и поглядеть в окно, вон там на кладбище, под эвкалиптом и покоится ее младенец; слабенький такой родился, жил всего два часа, да и мать чуть за ним следом не отправилась. Однако выходили ее. В один прекрасный день она встала, оделась и, никому ни слова не сказав, вышла. День был сырой, дождливый. Там под деревом, на кладбище, и увидел ее случайный прохожий. Сидит на сырой земле вся промокшая. Насилу увели ее оттуда. Бедняжка простудилась и с тех пор не встает. И не встанет, говорит доктор...

А леди такая терпеливая, просто диву даешься. Спросишь ее о здоровье, она непременно ответит, что лучше, скоро, мол, совсем поправится. Лежит себе в темноте и никого не беспокоит. Ухаживает за ней одна служанка, а больше она никого к себе не подпускает... Даже и слышать не хочет, чтобы кто-то другой видел ее в таком состоянии. Странная леди, — но платит исправно. А теперь вот уходит ее служанка, и ей поневоле придется привыкать к новой прислуге...

Рассказав все это, хозяйка удалилась с подносом. Грегори беспомощно уронил голову на руки. Но тут же сообразил, что ему делать.

Утром он отогнал своих лошадей за город, где еще по дороге сюда приметил отдохавший на холме обоз. Голландец, старший погонщик, только головой покачал, когда проезжий предложил ему за бесценок своих лошадей. Краденые, наверное. Но стоило рискнуть, и он тотчас же расплатился. Грегори перекинул через руку

седельную суму и поспешил в обратный путь. Отойдя достаточно далеко, он свернул с дороги и пошел вельдом, покрытым сухими, уже отцветающими травами. Добравшись до глубокой лощины, вымытой в сезон дождей, Грегори спрыгнул вниз, на красный песок пересохшего русла. Оглядевшись, он выбрал место в тени под нависшим берегом и сел, обмахиваясь шляпой, потому что день выдался жаркий, а он шел быстро. У его ног сновали запыленные муравьи, перед ним отвесной стеной вздымался противоположный откос, где торчали обнаженные корневища, а над головой сияло лазоревое африканское небо. Он посмотрел на седельную суму, набитую женской одеждой, и поднял умоляющие глаза к небу.

— Неужели это я, боже, я, Грегори Назианзен Роуз? — произнес он.

Как все это странно! Он, Грегори Н. Роуз, сидит в русле пересохшего ручья, среди этой бескрайней равнины! Судьба переменчива, как цвета летнего облака. Грегори даже не заметил, как заснул, прислонясь головой к берегу. Когда он проснулся, солнце клонилось к закату, и лощина тонула в тени. Пора было приниматься за дело. Грегори вынул из кармана маленькое дешевое зеркальце и прикрепил его к обнаженному корню на уровне глаз. Натянул на себя старомодное женское платье и приколот воротник с ажурной вышивкой «ришелье». Затем вынул бритву, и на землю полетели мягкие пряди бороды, которые муравьи тотчас же растащили для своих муравейников. И вот в зеркальце отразилось лицо, увенчанное чепцом с оборками, белое женственное лицо с миниатюрным ртом, вздернутой верхней губой и маленьким подбородком. Грегори преобразился в высокую стройную даму. Дама опустила на колено, затолкала в ямку седельную сумку с мужским платьем, засыпала все землей и разровняла так, чтобы не оставалось следов. Затем поднялась и встревоженно огляделась. Но, кроме ихнемона, сидевшего на задних лапках у своей норы, кругом не было ни живой души, да и зверек, когда она поднялась, юркнул в свою норку.

Грегори не спешил, так чтобы достичь городка не раньше, чем спустятся сумерки.

В дверях кузницы стояли двое подростков. Проходя мимо них по улице, Грегори услышал за спиной громкий смех. Он опасливо оглянулся и, вероятно, бросился бы наутек, если бы ему не мешали юбки. Однако подростки

вовсе и не думали над ним смеяться; поводом для их веселья была искра, опалившая одному из них волосы.

Парадная дверь гостиницы была распахнута настежь, и свет изнутри падал на улицу. На пороге тут же показалась хозяйка. Она пристально вглядывалась в темноту, пытаясь рассмотреть экипаж. Но Грегори был уже близок к своей цели и не сробел. Он сказал хозяйке, что оставил свой фургон на окраине города, там, где весь обоз.

Войдя, Грегори попросил себе комнату для ночлега. Он лгал без всякого смущения и готов был солгать пятьдесят раз кряду. Пусть даже в соседней комнате, обмакнув перо в чернильницу, стоит ангел, записывающий его грехи! Не все ли равно? Важно только одно: здесь лежит та, что так дорога его сердцу; на все расспросы она отвечает, что «ей лучше», а ей худо, очень худо.

Хозяйка подала ему ужин в ту самую маленькую гостиную, где он завтракал поутру, а сама села напротив с вязаньем в кресло-качалку, чтобы поболтать и постараться выведать новости, которыми можно будет потом угостить завсегдатаев бара. В нежном лице под старомодным чепцом с оборочками она не обнаружила никакого сходства с лицом утреннего посетителя. Приезжая оказалась дамой общительной. По роду занятий она сиделка и приехала в Трансвааль, прослышав, что здесь опытная сиделка без работы не останется. Нет, нет, пока она еще и не искала места. Не может ли хозяйка порекомендовать ее в какой-нибудь приличный дом?

Отложив вязанье, хозяйка всплеснула полными руками.

— Не иначе как сам перст божий привел вас сюда. Только что шла речь о сиделке для больной леди. И вот, на тебе!.. Если такое чудо не обратит в веру истинную всех безбожников и вольнодумцев в Трансваале, тут уже ничто не поможет...

Свой подробный рассказ хозяйка заключила словами:

— Уверена, что вы ей подойдете. А за деньгами она не постоит, их у нее предостаточно. И кто-то прислал мне чек на пятьдесят фунтов, чтобы я их тратила на леди, — только ей ничего не говорила. Она, верно, спит сейчас, но мы можем на нее тихонечко взглянуть.

Следуя за хозяйкой, Грегори вошел в угловую комнату. На столике тускло мерцала лампа. При ее свете можно было видеть большую, под белым балдахином

кровать, застланную дорогим одеялом из малинового атласа. Грегори опустил голову, не в силах взглянуть на Линдал.

— Да подойдите же! — подбодрила его хозяйка. — Я выверну чуть-чуть фитиль у лампы, чтобы вы могли ее разглядеть. Правда ведь, она прехорошенькая?

С малинового одеяла на него смотрели умные, блестящие глаза Досса.

— Видите, она закусила губы? — промолвила хозяйка. — Только по губам и заметно, как она страдает.

Лишь тогда наконец Грегори решился перевести взгляд на маленькое, белое до прозрачности лицо Линдал. Любовь ее был прикрыт повязкой, а мягкие волосы разметались по подушке.

— Пришлось подстричь, — сказала хозяйка, прикасаясь к волосам Линдал. — Мягкие, как шелк. Словно у куклы.

Сердце у Грегори обливало кровью.

— Доктор сказал: все, не подняться ей больше.

Грегори что-то промямлил, и в тот же миг прекрасные глаза Линдал широко открылись и оглядели всю комнату.

— Кто тут? Кто это говорил?

Грегори отступил за штору, но хозяйка отодвинула ее и вытолкнула его на середину.

— Я вам привела сиделку, мадам, настоящую сиделку. Она позаботится о вас, если вы согласитесь на ее условия.

Линдал приподнялась на локте и вперила в Грегори пристальный взгляд.

— Я никогда не видела вас прежде? — спросила она.

— Нет.

Линдал устало откинулась назад.

— Может быть, вы хотите поговорить с глазу на глаз? — сказала хозяйка. — Присаживайтесь. Я скоро вернусь.

Грегори сидел, не смея поднять глаз, пытаясь сдержать биение сердца. Линдал молчала, она лежала, полузакрыв глаза, будто забыв о его существовании.

— Подверните, пожалуйста, фитиль, — попросила она. — Не выношу яркого света.

В полумраке Грегори осмелел. Он сказал, что уход за больными — его призвание. Ему не надо никаких денег. Если же...

— Я не принимаю бесплатных услуг, — прервала она его, — я буду платить вам столько же, сколько и прежней служанке. Если согласны, оставайтесь.

Грегори смиренно пробормотал, что согласен.

Линдал попробовала перевернуться на другой бок. Грегори приподнял ее. Ах, как исхудала она, как ослабло ее тело! Он благословил собственные руки за то, что они помогают ей в несчастье.

— Спасибо. У вас добрые руки. Другие всегда делают мне больно, — сказала она. — Спасибо. — И, помолчав, тихо повторила: — Другие всегда делают мне больно.

Грегори, весь дрожа, опустился на стул. Ах, бедная, бедная! Ей приходится терпеть боль!

Четыре дня спустя доктор отозвался о Грегори как о самой опытной сиделке из всех, каких ему доводилось видеть на своем веку.

Грегори случайно подслушал эти слова и невольно усмехнулся. При чем тут опыт? Опыт и за тысячу лет не научит тому, чему любовь учит в один час. Туземец всю жизнь учится распознавать далекие звуки, но он никогда не услышит шагов человека, который крадется по сухой траве к своей любимой, а вот она услышит!

В первые дни Грегори терзался, видя, как она тает у него на глазах. Но потом он смирился с этим. И не только смирился, но и почувствовал себя счастливым. Ибо у страсти на устах только одно: «О, позволь прикоснуться к тебе, любимая!»

Линдал лежала недвижно, с собакой в ногах, а Грегори сидел в темном уголке, ловя каждое ее движение.

Спала она мало. Целыми днями глядела на круглый лучик, который пробивался сквозь дыру в ставнях или на ножку платяного шкафа, сделанную в виде огромной львиной лапы. Какие мысли выражал ее взгляд? Грегори мог только догадываться, спросить он не решался.

Иногда Доссу снилось, что они с хозяйкой снова мчатся в коляске. Пофыркивают вороньи кони, посвистывает встречный ветер, и вельд бежит им навстречу. Тогда пес вскакивал и громко лаял. Очнувшись, Досс с извиняющимся видом лизал хозяйке руку и тихонько укладывался на место.

Она никогда не стонала, и Грегори не замечал ее страданий. Вот только, когда свет от лампы падал ей на глаза, она чуть приметно сжимала губы, и ее брови подергивались.

Спал Грегори на диване, за дверью. Как-то среди ночи, разбуженный непривычными звуками, он осторожно приоткрыл дверь. Линдал плакала с таким отчаянием,

словно в мире не было никого, кроме нее самой и ее боли. Свет падал на атласное одеяло и маленькие руки, которые сжимали голову. Широко раскрытые глаза были обращены вверх, и по щекам у нее катились крупные слезы.

— Не могу, о боже, не могу больше терпеть! — стояла она. — О боже мой, боже. Все это время я молчала, все эти месяцы, долгие, долгие месяцы я терпела... Но у меня нет больше сил, о боже!

Грегори опустился на колени у порога, прислушиваясь.

— Не прошу у тебя ни мудрости, ни любви человеческой, ни работы, ни знаний, ничего того, к чему я так стремилась, только избавь меня от боли. Хоть на час. А потом будь что будет.

Она села на постели и прикусила руку.

Он тихо отошел от дверей, вышел на крыльцо и долго стоял, глядя на безмятежное звездное небо. Когда он вернулся, она лежала как обычно, устремив взгляд на львиную лапу.

— Вам очень больно? — спросил он, подходя ближе.

— Нет, не очень.

— Могу ли я вам чем-нибудь помочь?

— Нет. Только наймите фургон. Мы едем.

Плотно сжав губы, она показала рукой на спящего пса. Грегори поднял его и положил рядом с ней. Она попросила Грегори расстегнуть ей халат, так чтобы пес мог положить свою черную мордочку ей на грудь.

Когда ее спросили о здоровье на следующее утро, она ответила: «Лучше».

— Кто-то должен сказать ей, — не выдержала хозяйка. — Нельзя допустить, чтобы она отошла не исповедавшись. Боюсь, что малыш у нее был незаконнорожденный. Пойдите и скажите ей, доктор.

Хозяйка заседала на доктора до тех пор, пока он не согласился выполнить ее просьбу. Едва зайдя в комнату больной, он тотчас же вылетел как ошпаренный и погрозил хозяйке кулаком.

— Разрази меня бог, если я когда-нибудь соглашусь выполнять ваши поручения! — Он снова потряс кулаком и, ругаясь, ушел.

Когда Грегори вошел в комнату, Линдал лежала, свернувшись клубочком, лицом к стене. Он не осмелился беспокоить ее. Но через некоторое время она повернулась к нему и сказала:

— Принесите завтрак. Я хочу есть. Два яйца, ломтик поджаренного хлеба, мясо... Нет, два куска хлеба, пожалуйста.

Пораженный, Грегори принес на подносе все, что она попросила.

— Помогите мне сесть и придвиньте поднос поближе, — сказала она. — Я должна все это съесть. — Она подвинула тарелки поближе и расставила их поудобнее. Разломала ломтик поджаренного хлеба, разбила оба яйца, положила в рот крошечный кусочек хлеба и стала кормить собаку ломтиками мяса.

— Двенадцати еще нет? — спросила она. — Обычно я завтракаю позже, оттого и нет еще аппетита. Уберите, пожалуйста. Нет-нет, не уносите. Оставьте все на столе. В двенадцать я позавтракаю.

Она откинулась на подушки, ее била дрожь. Немного погодя она сказала:

— Принесите мне платье.

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Да, завтра я думаю встать. Я бы встала сегодня, да уже поздно. Повесьте платье на спинку стула. Воротнички — в картонке, туфли за дверью.

Она внимательно следила, как он собирает и складывает все на стул.

— Пододвиньте стул, — сказала она. — Отсюда я ничего не вижу. — Подложив руку под щеку, больная долго смотрела на свое платье.

— А теперь откройте ставни, — велела она, — я буду читать.

Старые, знакомые нотки слышались ему в ее мелодичном голосе. Он повиновался, открыл ставни и усадил ее спиной к взбитым подушкам.

— Подайте мне книги, — нетерпеливо продолжала она, показывая пальцем. — Вон ту, толстую, и журналы, и пьесы.

Он разложил все, что она просила, подле нее на постели, а она подвинула книги и журналы поближе, глаза у нее ожили, засверкали, но лицо оставалось белым, как горная лилия.

— Еще вон ту, большую, что на комод. Не помогайте мне, я сама ее удержу, — сказала Линдал.

Грегори уселся в углу, и некоторое время слышался только шелест переворачиваемых страниц.

— Отворите, пожалуйста, окно, — попросила она, слегка раздраженным тоном. — И выбросьте эту книгу. Глу-

пость ужасная! Я думала, эта книга представляет какую-то ценность. А тут только слова, слова и никакого смысла. Вот и прекрасно! — сказала она с одобрением, когда он выбросил книгу. — Какая же я была глупая, что читала подобную чепуху!

Сдвинув брови и опираясь локтями о толстый том, она принялась читать другую книгу. Это были пьесы Шекспира.

— Обвяжите мне голову платком да стяните потуже: боль несносная.

Он сделал все, что она просила, сел на свое место в углу и почти тут же увидел, как из-под ладоней, которыми она прикрыла глаза, капают слезы.

— Я отвыкла от такого яркого света, голова кружится, — пожаловалась она. — Ступайте, закройте ставни.

Когда, закрыв ставни, Грегори вернулся с улицы, она лежала, съежившись среди подушек. Плечи ее вздрагивали, и он понял, что она плачет. Он не стал зажигать огня.

Вечером Линдал наказала разбудить ее пораньше, она-де оденется к завтраку. Однако, когда пришло утро, одеваться она не стала, сказала, что слишком холодно, и пролежала весь день, глядя на приготовленное для нее платье. И все же она велела послать на ферму за фургоном, сказав, что в понедельник едет в Капскую колонию.

После полудня она попросила открыть окно и подвинуть к окну кровать.

День был свинцово-серый, тяжелые тучи висели над самыми крышами домов, на безлюдной улочке перед гостиницей стояла тишина, лишь изредка нарушаемая порывами ветра, который подхватывал сухие листья и, поиграв ими, бросал в придорожную канаву. Линдал смотрела на улицу. Неожиданно раскатился звон церковного колокола, и в конце улицы показалась процессия, следовавшая за гробом какого-то старика. Линдал следила глазами за процессией до тех пор, пока она не скрылась за деревьями по ту сторону кладбищенских ворот.

— Кого это хоронят? — спросила она.

— Старика, — отвечал он. — Говорят, ему было девяносто четыре года. Я не знаю имени.

Она помолчала, глядя в одну точку.

— Вот отчего колокол звонил так весело, — наконец заговорила она. — Когда умирает старик, человек, который прожил долгий век, — это не такое печальное событие. А вот когда умирает молодой, колокола плачут навзрыд.

— И старикам жить хочется, — сказал он, только бы поддержать разговор.

Она приподнялась на локте.

— Да, им хочется жить и не хочется умирать, — отзывалась она. — Ну и что? Они прожили свое. Они ведь знали, что человеческий век — семьдесят лет, вот и жили бы, чтобы все успеть. А когда умирают молодые, которые ничего еще не успели повидать, ничего не успели узнать, это ужасно. Тогда-то и рыдают колокола. Я сразу поняла, что умер старик. Слышите, как смеются колокола. «Так и должно быть, так и должно быть, — вещают они. — Он отжил свое».

Больная в изнеможении откинулась на подушки. Блеск в ее глазах потух, и она молча смотрела на улицу. По одному, по двое из ворот кладбища выходили люди, проводившие в последний путь покойника, а потом улица снова опустела и ее затопили сумерки. Когда в комнате стало темно, Линдал сказала:

— Сегодня ночью будет дождь, — и беспокойно заворочалась на подушках. — Как ужасно лежать под дождем... — добавила она немного погодя.

Он не сразу понял, что она имеет в виду, — и не откликнулся. Каждый молча думал о своем.

— Ступайте, возьмите мой плащ, — тот новый, серый, он за дверью на вешалке. Под высоким эвкалиптом вы найдете маленькую могилку. Вода сейчас каплет на нее с листьев. Покройте могилку плащом.

Она передергивалась, как от боли.

Грегори сказал, что все сделает, и снова наступило молчание. Она впервые заговорила о своем ребенке.

— Он был такой маленький, — промолвила она, — и жить-то не жил, всего три часа. Его положили возле меня, а я его даже не видела, только чувствовала, что он тут, рядом. — Помолчав, она добавила: — Какие у него были холодные ножки... я взяла их в руку, чтобы согреть... крохотные такие... — У нее задрожал голос. — Он прижался ко мне... хотел молока, хотел, чтобы ему было тепло. — Она овладела собой. — Я его не любила, нет. Его отец не был принцем из сказки; ребенка я не любила, но он был такой маленький. — Она пошевелила рукой. — Неужто никто не поцеловал его перед тем, как опустить туда? Ведь за всю свою короткую жизнь он никому не сделал зла. Неужто никто его не поцеловал?

Грегори услышал сдавленный плач.

Позднее вечером, закрыв ставни и засветив лампу, Грегори вспомнил о ее просьбе. Он снял плащ с вешалки за дверью и вышел на улицу, под дождь.

Возвращаясь с кладбища, он завернул на почту, и там ему дали письмо для нее. В гостинице, прежде чем отдать письмо Линдал, он взглянул на адрес на конверте. Ему ли не узнать почерк! Тот же самый, что и на обрывках письма, которые он пытался сложить на ферме. Жгучая боль сдавила Грегори сердце. Неужели и теперь кто-то третий встанет между ними? Когда он вручил ей письмо, она попросила подвинуть ближе лампу, а дочитав до конца, велела подать ей карандаш и бумагу.

А потом Грегори сидел долгое время в своем углу за шторой, слушая скрип карандаша. Когда он выглянул из-за занавески, Линдал лежала, погруженная в раздумье. Распечатанное письмо лежало рядом, и она смотрела на него с ласковой улыбкой. Сколько перестрадал человек, прежде чем его рука начертала такие слова: «Позволь мне вернуться! Любимая моя, дай мне обнять тебя и защитить от всего света. Никто не посмеет оскорбить ту, кого я назову своей женой. Я научился любить тебя разумнее и нежнее, и ты будешь со мной совершенно свободна. Линдал, гордая моя малютка, ради себя же самой будь моей женою!.. Отчего ты вернула мне деньги? Ты жестока со мной и поступила несправедливо».

Она задумчиво вертела в руке красный карандаш, и ее лицо было озарено нежностью. И однако в своем ответе она написала:

«Это невозможно. Я очень благодарна вам за вашу любовь, но не могу согласиться на ваше предложение. Считайте меня безумной, считайте глухой, — все люди, я уверена, скажут то же самое, — но я знаю, каким путем мне суждено идти, и не могу стать вашей женой. Вы всегда будете мне дороги благодаря тому существу, которое три часа лежало со мной рядом. Но наши дороги разошлись. Я хорошо понимаю, что не могу связать свою судьбу с судьбой человека, которого люблю только такой любовью. Я не боюсь людской молвы, я готова постоять за себя перед всем светом. Когда-нибудь, вероятно, не скоро, я встречу с душой более благородной и сильной, нежели моя, и склонюсь перед ней в благоговении. Вы же ничего не потеряете, лишившись такой слабой, эгоистичной, погрязшей в заблуждениях женщины, как я.

Когда-нибудь я встречу человека, поистине достойного поклонения, и вот тогда я...»

— Няня,— позвала она,— возьмите карандаш и бумагу. Мне что-то хочется спать. Завтра допишу.— Разбитая внезапной слабостью, она уткнулась лицом в подушку и тотчас же уснула.

Грегори тихонько убрал письменные принадлежности и уселся на свое обычное место. Прошло несколько часов. Дождь наконец перестал, и вокруг воцарилась глубокая тишина. Когда часы пробили четверть первого, он встал, в последний раз поглядел, покойно ли она спит, и тихо пошел к своей кушетке. Но когда он подходил к двери, она неожиданно приподнялась и окликнула его.

— Хорошо ли вы закрыли ставни? — спросила она с выражением ужаса на лице.— Вы уверены, что хорошо их закрыли?

Он успокоил ее. Да, ставни закрыты крепко.

— Впрочем, запирай не запирай,— зашептала она,— этим его не удержишь. В четыре часа он все равно заползет сюда. Холодный, как смерть! — Она вздрогнула.

Он подумал, что она бредит, вернулся и уложил ее поудобней.

— Мне приснилось, что вы забыли закрыть ставни,— проговорила она, заглядывая ему в глаза.— И вот он приполз сюда, а я совсем одна.

— Кто он? — мягко спросил он.

— Серый Рассвет,— сказала она, снова оглядываясь на окно.— Никогда ничего не боялась, даже в детстве, ничего, кроме него. Вы не пустите его сюда?

— Нет, нет. Не пущу.

Она уже успокоилась.

— Ступайте спать. Просто мне скверный сон приснился. Вы устали, ступайте. Это ребяческий страх.

Но Грегори видел, что она вся дрожит.

Он сел на стул у кровати. Некоторое время спустя она попросила растереть ей ноги.

Он опустил на колени. Ноги у нее распухли, отекли, но Грегори, наклонясь, стал покрывать их поцелуями.

— Спасибо, няня. Так мне легче. И за что они все меня любят? — чуть слышно, будто сквозь сон, проговорила Линдал.— Видно, не такая уж я скверная, не такая уж скверная.— Склонив голову, она смотрела на него.

Стоя на коленях, прижимаясь щекой к ее ногам, тихонько растирая их, Грегори и сам не заметил, как

успул. Он не знал, долго ли продолжался его сон. Линдал смотрела уже не на него, а куда-то в угол комнаты. Глаза ее горели неземным блеском.

Он встревоженно оглянулся. Что она там видит? Уж не божьих ли ангелов? Почему ее взгляд выражает такой ужас? Сам он видел лишь тень от лиловой портьеры.

— Что вы там видите? — спросил он невнятным голосом.

Она заговорила странным, до неузнаваемости изменившимся голосом:

— Я вижу, как бедная слабая душа стремится к добру. Ее стремление не отвергнуто. В конце концов, претерпев много горя и пролив много слез, она узнает, что истинная праведность в глубоком сострадании к ближнему, истинное величие состоит в том, чтобы жить просто и честно, что... — она подняла свою белую руку и прикрыла ладонью лоб, — счастье в безмерной любви и самопожертвовании. Нет, ее стремление не отвергнуто; она полюбила то, что смогла узнать... полюбила... и...

Неужели только это и смог различить ее взгляд в углу? Или нечто большее?

Утром Грегори сказал хозяйке, что больная бредила всю ночь. Когда он принес Линдал завтрак, она сидела в постели и вид у нее был непривычно бодрый.

— Сюда, ближе, — сказала она ему, показывая, куда поставить поднос. — А после завтрака я оденусь.

Она быстро съела все, что он подал.

— Мне не надо никакой помощи, я поднялась сама, — сказала она. — Дайте мясо. — Она нарезала мясо кусочками и накормила Досса. Потом подвинулась к краю постели. — Ну вот, а теперь поставьте стул поближе и помогите мне одеться. Я совсем зачихала, потому что лежу без солнечного света, с закрытыми ставнями. И вечно перед глазами эта львиная лапа! — проворчала она с отвращением. — Помогите мне одеться!

Грегори опустил на колени и попробовал натянуть чулки, но ноги так распухли, что все его усилия оказались тщетными.

— Вот забавная история! — сказала она, с любопытством глядя на свои ноги. — Оказывается, я очень растолстела за время болезни. Слишком много лежу. — Она явно ждала подтверждения своих слов от Грегори, но он нашел другую пару чулок, большего размера, и молча натянул их, а потом осторожно одел туфли.

— Ну вот, — воскликнула она с тем же восхищением, с каким ребенок смотрит на первые в своей жизни баппачки. — Хотя гулять идти. Чудесные туфельки. Нет, нет, — торопливо прибавила она, видя, что он протягивает ей мягкий капот, — подайте мне белое платье с розовым бантом. Пусть ничто не напоминает мне о болезни. Несчастье только усугубляется, если о нем все время думаешь. А вот если напрячь всю свою волю и сказать: нет, нет, этому не бывать, ты сумеешь отвести беду. — Она замолчала, плотно стиснув губы. Одевать ее было не труднее, чем одевать куклу, такая она стала маленькая и худая. Грегори хотел поднять ее с постели и поставить на пол, но она легонько отвела его руку и даже рассмеялась, впервые за все эти отчаянно долгие месяцы.

— Нет, нет, я сама, — сказала она, осторожно спускаясь с кровати. — Видите? — Она бросила вокруг себя торжествующий, с вызовом даже взгляд. — Я не вижу себя в зеркале, поднимите полог! Вот так, повыше, чтобы не мешал.

Он поднял полог повыше, и она стояла, разглядывая себя в зеркале на противоположной стене. Царственная фигурка в белом и розовом. Маленькое, прозрачное, ангельски-прекрасное лицо, облагороженное страданием. Глядя на свое отражение, Линдал тихо смеялась. Досс носился вокруг нее с возбужденным лаем. Она сделала шаг в сторону двери, с помощью вытянутых рук сохраняя равновесие.

— Ну, вот и пошла, — проговорила она. Но тут же, как слепая, стала шарить руками вокруг себя. — Ох, ничего не вижу. Ничего не вижу! Где я?

Прежде чем Грегори успел подскочить к ней, она рухнула на пол, ударясь головой о ножку платяного шкафа. С величайшей бережностью поднял он комочек из белого муслина и розовых лент и отнес на кровать. Досс прыгнул на свое место и не сводил с нее глаз.

Грегори бережно помог ей раздеться.

— Завтра вам будет лучше. Тогда попробуете опять, — утешил ее он. Но она даже не смотрела в его сторону и не шевелилась.

Когда он снял с нее платье и уложил ее в постель, Досс улегся на свое привычное место. Он тихонько повизгивал.

Весь день Линдал пролежала без движения.

Грегори то и дело подходил к кровати, но больная

упорно молчала. Глаза ее были полузакрыты, и Грегори не мог понять, то ли она спит, то ли в забытьи.

Вечером он подошел еще раз, наклонился и сказал:

— Фургон прибыл. Если хотите, завтра же и поедem.

Ну как, собираться в дорогу?

Грегори дважды повторил свой вопрос. Только тогда она посмотрела на него, и он увидел, что надежда погасла в ее прекрасных глазах.

И все же она ответила:

— Собирайтесь, мы поедem.

— Поедете ли вы или останетесь — какая разница? — высказал Грегори свое мнение доктор. — Исход один.

Грегори вынес ее на руках и уложил в стоявший у дверей экипаж. Пока он устраивал ее на мягком ложе, она, не отрываясь, глядела на широкие просторы равнины.

— Видите эту голубую гору? — заговорила больная впервые за все утро. — Там и остановимся.

Линдал закрыла глаза. Грегори опустил парусиновый полог спереди и сзади, и фургон медленно покатился. Стоя на веранде, их провожала хозяйка и вся туземная прислуга.

Большой фургон бесшумно катился по зеленому ковру трав. Возница, устроившийся на облучке, не понукал быков, не шелкал бичом. Грегори сидел возле него, скрестив на груди руки, а в глубине фургона, за спиной у них, тихо лежала Линдал. Руки у нее покоились на груди. В ногах у нее свернулся клубочком Досс. Грегори боялся туда заглядывать. Подобно Агари, оставившей дитя свое среди пустыни, чтобы не видеть его предсмертных мук, он сидел спиной к Линдал, говоря себе: «Не хочу видеть смерти ее!»

Наступил вечер, а они так и не успели доехать до голубой горы, и весь следующий день они были в пути, а гора все еще маячила вдаль. Только к концу второго дня они достигли ее. Вблизи она уже не казалась голубой. Ее бурные склоны усеяны были грубыми валунами и поросли высокой волнистой травой. Они остановились ночевать у самого подножия. Здесь было тепло и тихо.

С наступлением ночи, когда усталых быков привязали к колесам фургона и когда погонщик и возница, укутавшись в одеяла, легли возле костра, Грегори плотно застегнул парусиновый полог фургона, укрепил в головах постели, где спала Линдал, высокую свечу, а сам лег на пол у ее ног. Он молча слушал, как уставшие после

двухдневного пути животные жуют жвачку, как потрескивает огонь костра, пока наконец, разбитый усталостью, не забылся тяжелым беспокойным сном. Собака дремала в ногах у хозяйки, и только нудное жужжание нескольких moskitov, залетевших в фургон, нарушало ночную тишину.

Ночь уже подходила к концу, когда Линдал пробудилась от долгого крепкого сна. В изголовье у нее горела свеча, пес лежал на своем месте. Но он весь дрожал, холод, видимо, шел снизу, от ее ног. Она лежала, сложив на груди руки и глядя вверх. Где-то рядом жевали свою жвачку быки, кругами носились вокруг горящей свечи moskity, но мыслями она была в далеком прошлом.

Все эти месяцы, отравленные нестерпимым страданием, ее ясный, острый ум был окутан странной пеленой. Но вот эта пелена исчезла, и Линдал очнулась от тупого оцепенения. И она видела прошлое, видела настоящее, но грядущего для нее уже не было. В последний раз вернулась к ней ясность духа.

Она медленно поднялась на локте и сняла с парусинового полога кем-то повешенное зеркальце. Холодные пальцы плохо ей повиновались. Она положила себе на грудь подушку и поставила на нее зеркальце. Оттуда на нее глянуло мертвенно бледное лицо. Сколько раз видела она свое отражение! Девочка в синем передничке! Потом молодая женщина с подернутыми поволокой глазами, которые как бы говорили ее двойнику в зеркале: «Нас не испугаешь. Нас двое, и мы еще постоим за себя»; и вот наступил конец. Умирующие глаза женщины смотрят на умирующие глаза в зеркале, — и она понимает, что это конец.

Линдал подняла руку и прикрыла зеркальце коченеющими пальцами. Она хотела что-то вымолвить, но так и не смогла произнести ни слова. Только во взгляде еще теплился удивительный свет. Тело уже умерло, но сияющая, не омраченная никакой тенью душа выглядывала наружу.

Потом веки медленно сомкнулись. В зеркальце отражалось спокойное, исполненное неземной красоты лицо. Видел это только Серый Рассвет, который успел заползти в фургон.

Обрела ли она то, что искала — нечто истинно достойное поклонения? Или просто перестала существовать? Кто знает. Лик Грядущего скрыт завесой ужасного тумана.

СНЫ

«Скажи мне, чего твоя душа желает, и я скажу — кто ты» — гласит пословица.

Можно эту пословицу перефразировать и так:

«Скажи мне, о чем твоя душа грезит, и я скажу, что ты любишь».

Ведь с самого раннего детства и до глубокой старости, день за днем, нашей суетливой жизни наяву сопутствуют сны. Эти причудливо-искаженные и призрачные сны, подобные то перевернутым миражам, то смутным образам, прорисовывающимся сквозь горный туман, являются все же отображением реальности.

В тот вечер, когда Грегори рассказал о последних днях Линдал, Вальдо долго сидел один возле очага, не притрагиваясь к ужину. Он так устал за день, что не в силах был есть. В конце концов он поставил тарелку на пол. Досс вылизал ее дочиста и ушел в свой угол. Вскоре после этого и его хозяин, не раздеваясь, бросился на кровать и уснул. Спал он долго. Уже давно догорела и погасла свеча, а он все лежал не шевелясь на широкой кровати, и ему снился прекрасный сон.

По правую руку от него возвышались огромные горы. Их вершины были увенчаны снежными шапками, а поросшие зеленью склоны купались в солнечных лучах. У их подножия лежало подернутое рябью голубое море. Только в детстве снится море такой удивительной голубизны. В узкой полоске леса, протянувшейся между горами и морем, воздух был напоен сладким ароматом лиан, гирляндами ниспадавших с темно-зеленых крон, а среди бархатистой травы бежали звонкие ручьи. Он сидел среди кустарника на огромной квадратной скале. Рядом с ним была Линдал. Она пела ему песню. Вальдо видел ее во сне маленькой девочкой в синем передничке, но лицо у нее было печальное-печальное. Случилось так, будто он загляделся на горные выси, а когда оглянулся, — ее уже нет. Вальдо спустился с утеса и пошел ее искать. Но он смог найти только следы ее маленьких башмачков. Они отпечатались везде: и на свежей зелени трав, и на мокром песке, там, где ручьи стремились в море. Долго-долго не мог он выследить ее. И вдруг увидел вдалеке ее фигурку, озаренную солнечным светом. Она собирает

раковины на морском берегу. Но теперь она уже не маленькая девочка, а женщина, и солнце поблескивает на ее каштановых волосах и на белом платье, в подоле которого она собирает раковины. Заслышав его шаги, она выпрямляется и, придерживая рукой платье, которым играет ветер, молча ожидает его. Вот он подходит, она подает ему руку, и они вместе идут по сверкающему песку и розовым морским ракушкам. И слышат они, как шепчутся листья, как звенят ручьи, спеша к морю, и как поет само море.

Дойдя до берега, устланного чистейшим белым песком, они останавливаются. Одну за другой она выбрасывает все собранные раковины, а потом поднимает на него свои прекрасные глаза. Она не говорит ни слова, только кладет одну руку ему на лоб, другую — на грудь...

Неожиданно с криком отчаяния Вальдо вскочил, рывком приоткрыл дверь и высунулся наружу, судорожно хватая ртом воздух.

Боже великий! Пусть все это только сон, но боль так же сильна, как если бы в темноте к нему подкрался вероломный убийца и вонзил нож в грудь. И Вальдо, этот сильный мужчина, дрожал, как испуганная женщина.

— Только сон. Но боль-то была настоящая! — пробормотал он, прижимая правую руку к груди. Потом скрестил руки и выглянул во двор, тускло озаренный звездным небом.

Он все еще был во власти сна. Все еще видел свою подругу, словно и не разлучался с ней долгие годы.

Он поднял глаза на ночное небо, которое давно уже стало родным и близким. Оттуда на него смотрели мириады глаз величавых звезд, образующих короны и круги созвездий. Они и теперь были ему так же дороги и так же загадочны, как и в детстве. Неожиданно он вздрогнул и в ужасе отвел взгляд. Какое их неисчислимое множество — но ни на одной из них нет той, кого он продолжает любить. Обыщи он их все до самой последней искорки света, — нигде ему не найти ее. А завтра взойдет солнце, позолотит горы, и осветит тысячи долин, и снова закатится, и выглянут звезды. И так будет год за годом, век за веком, мир будет жить своей жизнью, день будет сменяться ночью, лето будет чередоваться с зимой, за посевом будет следовать жатва, — ей никогда уже не видеть всего этого.

Вальдо захлопнул дверь, не в силах вынести звездного сияния. Но и темнота была ему невыносима. Он зажег свечу и стал ходить по комнате, все быстрее и быстрее. Протекут долгие века, долгие эпохи — но ее никогда больше не будет. Она уже не существует. Густой туман заволакивал все перед его глазами.

— Где же ее руки, голос, тело? Где ее душа, которая не боялась заглядывать в самую глубь вещей? — закричал он. — Неужели она навсегда перестала существовать? Навсегда? И зная, что этот час неотвратимо наступит, — продолжал он с еще большей горечью, — люди намеренно ослепляют свой разум, подавляют собственные мысли. Хуже того, торгуют истиной и знаниями, хватаются за любую ложь, любую веру, только бы им внушали, что мертвые не мертвы! О, господи! Но что же там, на том свете?

Боль сделала его малодушным, он готов был оплакивать утраченную веру. Именно слезы, падающие на свежевырытую могилу, скрепляют власть духовенства. Ибо душа, что любила и потеряла, взывает об одном: «Да перекинется мост между жизнью и смертью, да смешается Настоящее с Будущим, да будет дозволено смертному накинуть одеяние бессмертия, да будет ему дозволено верить, что мертвые не мертвы. И тогда я уверую во все остальное, все перенесу, все выстрадаю!»

Словно ослепший, Вальдо, склонив голову, метался по комнате.

На отчаянный зов души, утратившей самое дорогое, есть много ответов. Вальдо пытался найти хоть каплю утешения.

«Ты увидишь ее вновь, — говорит христианин, истинно верующий в Священное писание. — Вновь увидишь ее. «И я увидел умерших, великих и малых, предстоящими престолу Его. И раскрыли книги, и по записям в этих книгах умершие были судимы. И кто не был записан в книгу жизни, того ввергали в огненное озеро, и это есть вторая смерть». Да, ты увидишь ее. Она умерла, не преклонив колен, не воздев рук, не прочитав молитвы, умерла, гордясь своим разумом, в расцвете юности. Она любила и была любима, но она не молилась господу, не просила ее помиловать, не каялась в грехах. Ты *непреложно* увидишь ее вновь».

Вальдо горько усмехнулся.

Ах, как давно уже он не прислушивается к наущениям дьявола!

Но вот еще один голос:

«Ты увидишь ее,— обещает христианин девятнадцатого века, в чью душу глубоко запали семена неверия и свободомыслия, этот христианин обращается с Писанием, как нырятьщик с раковинами: выбирает жемчужины, а остальное отбрасывает. И он умеет подобрать подходящую оправу для найденных им жемчужин.— Не страшись,— успокаивает он.— Нет ни ада, ни страшного суда, Бог милосерден. За этим голубым небом над нашей головой таится всеобъемлющая любовь. Отец наш небесный смилостивится над тобой, и ты увидишь не только ее дух, но и ее маленькие руки и ноги, что ты так любил; ты можешь даже коснуться их устами, если захочешь. Христос воскрес и жил в человеческом облике,— так и она воскреснет. Воскреснут все умершие. Бог милосерден. Ты увидишь ее вновь».

Небесно-прекрасную песнь поет христианин девятнадцатого столетия. Она могла бы осушить слезы, но этой возможности, увы, не дано осуществиться.

«Я любил женщину, гордую и юную, — думал Вальдо. — А ведь некогда и у нее была мать; умирая, она целовала свою малютку и молилась о том, чтобы увидеть ее снова, а если бы сын этой женщины остался жить, и он тоже, закрыв ей усталые очи и разгладив морщины у нее на челе, молил бы бога дать ему снова увидеть ее улыбку. Для сына и рай небесный не рай, если он не узрит милого материнского лица среди ангельских ликов. Юноша будет искать свою возлюбленную мать, она же свое дитя. Чьей же она будет в день воскресения мертвых? Ах, господи, господи! Все это лишь прекрасный сон,— воскликнул Вальдо,— наяву же этот сон никому не увидеть».

Он продолжал метаться с глухими стонами из угла в угол.

И вдруг услышал громкий голос поклонника трансцендентной философии¹.

«Что тебе до плоти, до грубой и жалкой оболочки духа? Ты снова увидишь ее. Но не руки, ноги и лоб, которые ты любил, а ее самое. Любовь, страх, слабости, присущие плоти, умрут вместе с нею. Не сожалея о них!

¹ Трансцендентная философия — идеалистическая философия, предполагающая возможность бытия, недоступного для нашего разума, наших ощущений. Основателем ее считается Кант.

В человеке есть нечто бессмертное — семя, зачаток, зародыш, духовная суть. Ты увидишь ее той, что знал на земле. Как дерево выше семени, так человек выше эмбриона; ты увидишь ее преображенной и увенчанной славой».

Возвышенные слова, услаждающие слух, сулящие жемчужины голодному, золото алчущему хлеба. Хлеб плесневеет, золото нетленно, хлеб легок, золото тяжело; хлеб обычен, золото редко. И все же голодный отдаст все золотые россыпи мира за один-единственный кусок хлеба. Вокруг господнего престола роятся сонмы ангелов, херувимов и серафимов, но что, если душа человеческая стремится не к ним, а всего лишь к одной маленькой греховной женщине, которую душа некогда любила.

— Препрабране — сместь! — закричал он. — Мне нужна только она, а не ангелы, такая, как была, не лучше, со всеми ее грехами.

Любимые дороги нам прежде всего своими слабостями. Пусть люди живут на земле, а божьи ангелы на небе.

— Препрабране — сместь, — громко повторил он. — Кто смеет утверждать, будто бы тело не умирает только потому, что оно обращается в траву и цветы, будто бы дух вечен и где-то там, в небесном пространстве, из останков умершего может возникнуть некое странное существо!.. Нет, нет! — восклицал он в порыве горчайшего отчаяния. — Верните мне то, что я утратил. Ничего другого мне не надо.

Душа, жаждущая бессмертия, требует только одного: верни умершую такой, как она была прежде. И оставь меня неизменным. Ибо, отняв у меня мысли, чувства, желанья, — а они-то и есть жизнь, — ты отнимешь у меня все. Не бессмертие, а уничтожение несешь нам ты; обещанная тобой загробная жизнь лишь обман.

Вальдо рывком распахнул дверь и вышел во двор. Подгоняемый мучительными мыслями, он шел не разбирая дороги.

— И все-таки должна быть загробная жизнь! Так хочет человек! От колыбели до могилы его снедает стремление к недостигаемому. Загробная жизнь должна быть хотя бы потому, что мы не можем представить себе конца жизни. А начало, разве можно вообразить себе начало? Куда проще сказать: «Меня не было», чем: «Меня не будет»! Однако, где были мы все девяносто лет назад? Сны, сны. Ложь и сны. Беспочвенные мечты. Иллюзии. Ложь.

Он вернулся в пристройку и снова принялся шагать из угла в угол. Час проходил за часом, а он все не мог обрести покоя.

Всем людям свойственно мечтать; можно только надеяться, что их мечты не окажутся в грубом разладе с известной им действительностью.

Вальдо ходил по комнате с низко опущенной головой.

Все смертно, все смертны! Розы алеют румянцем, которым некогда цвели щеки ребенка, цветы пышнее всего распускаются на полях кровавых сражений; перст смерти тайно проникает в сердце всего сущего, он, этот перст смерти, во всем и везде. Скалы воздвигнуты на останках умерших. Тела, мысли, любовь — все умирает. Откуда же доносится этот шепот, обращенный к крохотной человеческой душе: «Ты не умрешь»? Неужели нет истины, тенью которой было бы это обещание?

Вальдо замолк. И шаг за шагом его душа, спускаясь по ступеням размышлений, вступила в тот обширный край, где царствует вечный покой, край, где душа, погруженная в раздумье, утрачивает сознание своего ничтожного «я» и приближается к постижению древней тайны единства вселенной.

— Смерть. Смерти нет, — прошептал он. — Есть нечто бессмертное, не подвластное тлению. Распадается лишь частное, целое же остается. Погибает лишь организм, атомы сохраняются. Умирает лишь человек, и Всеединство, составной частью которого он является, возвращает его к изначальной материи. Не беда, что человеческий день короток, человек рождается на восходе, на закате умирает. Он лишь частица мироздания; оно дает ему жизнь, оно же и призывает его к себе. И пока живет мироздание, живем и мы.

Душе, громко молящейся о продлении своего существования и о продлении существования своих близких, нечего и надеяться на помощь. Но для души, осознавшей себя самое и всех, кто ею любим, лишь неотъемлемой частью единой вселенной, для души, чувствующей в себе биение ее жизни, — для такой души нет смерти.

«Так умрем же, любимая, чтобы воссоединиться во вселенной!» В мире глубокого раздумья умирают бурные страсти и нисходит мир.

Вальдо ходил по комнате, не видя окружающего его мира; он уже перестал просить о возвращении ушедшей. Его душа обрела покой. Иоанн не единственный, кому

дано было увидеть небеса отверстыми. Мечтатели видят это чудо каждый день.

Много лет назад его отец ходил по полу этой пристройки, ему грезились сонмы ангелов, грезился их князь в образе человеческого, но облаченный в одежды бессмертия. Познанное сыном отличалось от познанного отцом, его мечты были тронуты новизной, но в них таилась неменьшая сладость; они несли бесконечный покой, которого не обрести в маленьком тлетворном царстве осязаемого. Мы окружены решетками действительности; при каждом взмахе наши крылья задевают о железные прутья — и льется кровь. Но если нам удастся проскользнуть сквозь эти прутья в Неведомое, мы можем спокойно парить в величественных небесах, не видя ничего, кроме собственной тени.

Века сменяют века, одни мечты сменяются другими; и только сам мечтатель может изведать радость мечтаний.

У наших отцов были свои мечты, у нас же свои; грядущее поколение придет в жизнь со своими мечтами. Человек не может существовать не мечтая.

Глава XIV

ВАЛЬДО ГРЕЕТСЯ НА СОЛНЦЕ

Долгое утро сменилось великолепным днем. Дожди уже закончились, и еще недавно голая, бурая земля карру покрылась сочным зеленым ковром. Темно-изумрудные побеги выглядывали даже из трещин в каменных оградах, и сухие песчаные ложбинки украсились свежей порослью. На полуразрушенных стенах старого свинарника пышно разрослись алзина и хрустальник.

Вальдо стоял у сарае: делал кухонный стол для Эмм. Когда из рубанка выползала особенно длинная, пружиной завитая стружка, он останавливался и бросал ее черному голому малышу, который уполз от матери, взбивавшей во дворе масло, и с восторгом наблюдал за работой Вальдо. Мальчик был весь в золотой пене стружек, но тянул к Вальдо пухлую ручонку, требуя еще и еще, между тем как Досс, ревниво относившийся к своему хозяину, старался на лету перехватить стружку, отталкивая малыша, и тот падал на кучу опилок, испытывая безмерное удовольствие. В такой хороший день Досс не в силах был злиться по-настоящему, поэтому, повалив малыша, он только делал вид, будто кусает его за пальцы,

а тот всюду заливался смехом. Вальдо поглядывал на них, улыбаясь. Он ни разу не выглянул наружу. И однако он хорошо представлял себе зеленую равнину, раскинувшуюся во всю ширь под солнцем, и от этого ему было еще приятнее работать. Во двор уже заползли вечерние тени, а мать малыша продолжала медленно поднимать и опускать мутовку, напевая одну из тех дремотных песен, которые так любят люди ее племени. Невнятное звучание этой песни походило на далекое жужжание пчел.

У хозяйского дома стоял экипаж тетюшки Санни, а сама она сидела в гостиной и пила кофе. Она приехала навестить падчерицу, вероятно, в последний раз, потому что в ней было теперь двести шестьдесят фунтов весу, и она стала тяжела на подъем. На стуле рядом с ней сидел ее кроткий юный супруг. Он нянчил толстощекого, похожего на сдобную булку младенца с маленькими заплаканными глазками.

— Возьми нашего малыша и ступай в экипаж, — велела тетюшка Санни своему супругу. — Нечего тебе слушать наши женские разговоры.

Молодой человек поднялся и смиренно удалился с младенцем на руках.

— Очень рада, что ты собираешься замуж, дитя мое, — сказала тетюшка Санни, допив кофе до последней капельки. — Я не хотела говорить при твоём молодом человеке, а то он еще вообразит о себе бог весть что, только замужество — дело приятное. Я уже третий раз замужем, но если бог приберет и третьего, выйду в четвертый. Лучше, чем замужество, на свете ничего нет, дитя мое.

— Может быть, не для всех и не всегда, тетюшка Санни, — возразила Эмм. В ее голосе слышались усталые нотки.

— Как это не для всех! — возмутилась тетюшка Санни. — Для чего ж Он, господь наш возлюбленный, и сотворил женщин, как не для замужества? Вышла годами — иди замуж, не то согрешишь перед господом. Не тщись показать, будто умнее его. Что ж, по-твоему, бог даром старался, создавая нас, женщин? Если он посылает младенцев, стало быть, такова его воля. А вот мне не везло, — сокрушенно добавила она. — Только вина не моя. Бог знает, как я старалась!

Она с усилием встала и медленно направилась к двери.

— Удивительное дело! — сказала она перед уходом. —

Покуда не родится ребеночек, и мужа-то своего не полюбишь. Ну вот взять хоть моего нынешнего... Первое время, когда мы поженились, я ему даже чихнуть не давала, — чуть чихнет, тотчас надеру уши. А теперь? Было раз, пепел из трубки на чистую скатерть высыпал, так я и то его пальцем не тронула. Нет, замужество — дело приятное. Есть ребеночек, есть муж, большего счастья женщине и не надобно. Только бы у маленького не было родимчика. А муж любой хорош, что тот, что этот. Один толстый, другой худой, один хлещет бренди, другой джин, а по сути, никакой разницы. Все мужчины одинаковы.

У крыльца, в тени, сидел Грегори. Тетушка Санни поздоровалась с ним за руку.

— Рада слышать, что вы женитесь, — сказала она. — Желаю вам ребят в доме, что телят в загоне... А я хотела бы еще взглянуть, как ты мыло варишь, — добавила она, поворачиваясь к Эмм. — Говорят, теперь новая мода — добавляют соды. Зачем же тогда Отец наш небесный молочай в вельде насадил? Обходились люди без соды, и мы обойдемся.

Она пошла вперевалку вслед за Эмм к котлу, где та варила мыло, а Грегори остался сидеть на своем месте. Его голубые глаза смотрели куда-то вдаль, пытаюсь уловить что-то ускользающее, быстро ускользающее. Так пытаются отыскать небольшое суденышко на горизонте. Рядом с ним лежала давно погасшая трубка. Мысли его все время возвращались к письму, которое он хранил у сердца, письму на его имя, найденному в ящичке стола. Всего три слова: «Женитесь на Эмм». Он зашил это письмо в черный мешок и носил, как ладанку. Это было ее единственное письмо к нему.

— Все эти новые выдумки навлекут на нас гнев господень, — говорила тетушка Санни, следуя за Эмм. — Попомни мое слово, найдет он на овец паршу. *Сами на себя* кличут гнев божий. За что бог наказал сынов Израиля, как не за тельца золотого? И я не без греха, а вот десятую заповедь свято помню: «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе господь, бог твой, чтобы продлить дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую господь, бог твой, дает тебе». А мы почитаем их только на словах, а сами выдумываем такое, о чем они и знать не знали, и делаем все по-своему, все по-своему! Как моя матушка варила мыло, так и я варить буду. И если бог накарает эту землю, — произнесла те-

тушка Санни в полном сознании своей добродетели, — так не по моей вине. Пускай строят свои огненные колесницы! Господь бог знал, что делал, когда дал нам лошадей да быков. Не миновать им божьей кары! Да читают ли они, эти люди, Писание? Ты слыхала, чтобы Моисей или Ной по железным дорогам ездили? В ту пору господь бог посылал с небес огненные колесницы, а вот нам — если не переменимся — оп их не пошлет, — заключила она, сокрушаясь о судьбе нынешнего поколения.

Подойдя к котлу, где варилось мыло, она проговорила глубокомысленно:

— Нет этому благословения божьего! Вот попомни: не миновать тебе чесотки либо другой какой заразы... — И окончательно распалясь, она прокричала, уперев руки в бока: — Нет, ты подумай только: ей восемьдесят два года, а у нее козы, бараны, восемь тысяч моргенов¹ земли, а козы-то чистой ангорской породы, овец две тысячи голов и короткорогий бык...

Эмм смотрела на нее с безмолвным удивлением. Неужто блаженство супружества и радости материнства вконец помutilи рассудок старой женщины?

— Да, — сказала тетушка Санни, — чуть не забыла тебе рассказать главное-то... Вот бы его сюда!.. Как-то в воскресенье мы с Питом ходили в церковь. И вдруг видим перед собой старую тетушку Трану, — у нее водянка и рак, и жить ей осталось меньше восьми месяцев, а рядом с ней, засунув руки в карманы, в накрахмаленной манишке и черной шляпе, с важным видом вышагивает англичанин. Я его сразу узнала. Однако спрашиваю: «Кто это?» А это, отвечают, богатый англичанин, тетушка Трана за него вышла замуж на прошлой неделе. «Богатый англичанин! — говорю я. — Нашли богача!..» А сама думаю: «Шепну-ка я Тране пару словечек!»

Я бы, конечно, посчиталась с ним, если бы не шла к причастию. Уж он бы у меня не разгуливал, задрав нос. Но этот хитрый лис, это дьявольское отродье, семя амалекитянское, заметил, что я поглядываю на него в церкви и посреди службы — хвать тетушку Трану под ручку, и на улицу! Я сунула младенца своему муженьку, и за ними. Не догнала! — с сожалением промолвила она. — Куда мне за ними угнаться при моей комплекции! Пока до угла добралась, смотрю: он уже тетушку Трану

¹ М о р г е н — единица измерения площади, около 0,8 га.

в коляску подсаживает: «Тетушка Трана, — кричу я ей. — За кого же ты замуж вышла? За какого-то пса приبلудного!» А больше сказать ничего не могу, дыхание от злости перехватило. А он мне подмигивает. Подмигивает! — проговорила тетушка Санни и вся заколыхалась от возмущения. — Сперва одним глазом, а потом еще и другим. Так они и уехали... Амалекитянское отродье! Да не иди я к причастию... О господи боже...

В эту минуту прибежала девочка-бушменка.

— Лошадей никак не удержать, — сказала она.

Не переставая сыпать проклятиями в адрес своего старого врага, тетушка Санни пошла садиться в коляску. Попрощавшись с Эмм за руку и нежно расцеловав ее, она с большим трудом забралась наконец на заднее сиденье, и, когда экипаж тронулся, еще несколько раз высунула голову и, улыбаясь, кивнула Эмм. Эмм глядела им вслед, но солнце било в глаза, и она не стала ждать, пока коляска скроется, повернулась и пошла.

Подойти к Грегори она не решилась, он предпочитал проводить время в одиночестве, глядя вдаль, на зеленую гладь карру. Покуда служанка не собьет масло, делать было решительно нечего, и Эмм пошла в сарай. Присев на край верстака, она смотрела, как работает Вальдо. Сидела, покачивая одной ногой и не замечая, как растёт грудa стружек возле ее черного платья.

— Вальдо, — сказала она наконец, — Грегори отдал мне все деньги от продажи фургона и быков. Если их прибавить к тем пятидесяти фунтам, которые остались после нее... Возьми эти деньги, поезжай куда-нибудь, поучись год-другой.

— Нет, — сказал он, продолжая строгать. — Прошло время, когда я был бы благодарен каждому, кто помог бы мне словом или делом. Один я жил — один и кончу свою жизнь. Спасибо, милая!

Она, казалось, не была огорчена его отказом. По-прежнему покачивала ногой и только еще больше наморщила свой морщинистый лоб.

— Почему так устроен мир, Вальдо? — проговорила Эмм. — Мы мечтаем достичь какой-то цели. Мы готовы отдать все, что у нас есть, ради этого. Но наши мечты не сбываются. А если и сбываются, то слишком поздно, когда в душе у нас все перегорело и нам уже ничего не надо. — Эмм сидела с отрешенным видом, сложив руки поверх передника. Помолчав, она прибавила: — У моей мамы

была коробка с катушками. Нитки были все разного цвета... Боже, как я мечтала поиграть с этими катушками, но мама не позволяла. И вот однажды она наконец решила мне взять коробку. Я так обрадовалась, что просто себя не помнила. Но когда я забежала за дом, и уселась там на ступеньки, и открыла коробку, оказалось, что в ней уже нет катушек. Пустая.

Эмм сидела долго, пока служанка не кончила сбивать масло. Только тогда Эмм собралась уходить. Но прежде чем уйти, она положила руку Вальдо на плечо. Он перестал строгать и поднял на нее глаза.

— Грегори собирается завтра в город. Пастор должен сделать объявление о нашей свадьбе. Через три недели мы венчаемся.

Вальдо подошел и приподнял Эмм. Он не стал поздравлять ее: вероятно, вспомнил о пустой шкатулке, — только торжественно поцеловал в лоб.

Эмм пошла к хозяйскому дому, но на полпути обернулась и крикнула:

— Я принесу тебе пахты, как только остынет.

Вскоре голос ее звенел уже в кухне, она пела «Глубое море».

Вальдо не стал ждать ее возвращения. То ли он очень устал, то ли его прохватило сквозняком в сарае, — хоть это и было маловероятно в такой теплый летний день, — то ли им снова, как и в прежние дни, овладела мечтательность, только он сложил инструмент и вышел из сарая. Во дворе все было залито солнцем, и наседка со своими цыплятами искала червячков среди мусора. Вальдо сел спиной к кирпичной стене.

Солнце клонилось к закату, и тень от высокого холма постепенно захватывала желтое море цветов возле фермы. Кругом порхали белые бабочки. На старом заброшенном загоне резвились три белых козленка. У дверей одной из хижин, на земле, сидела старая туземная женщина и чинила циновку. Везде царил благоухающий, целительный покой. Даже старая наседка, казалось, была вполне довольна. Она рылась среди камешков и сзывала всех цыплят, как только ей удавалось обнаружить какое-нибудь сокровище, — и все время квохтала с глубоким удовлетворением. Вальдо сидел, уткнувшись подбородком в колени и обхватив их руками, и с улыбкой смотрел на окружающий его мир. Мир этот злобен, лжив, обманчив, призрачен, — и все же он прекрасен. Как это чудесно —

греться на солнце! Ради этого одного стоило быть маленьким ребенком, плакать и молиться. Вальдо тихонько потирал руки, точно мыл их в лучах солнца. Стоит жить ради одних таких светлых вечеров. От избытка переполнявшего его удовлетворения Вальдо посмеивался, и его смех походил на кудахтанье старой наседки. Она радовалась каждому червячку и теплу, а он радовался и старой кирпичной стене, и легкой дымке над землей, и небольшим кустам. Красота — хмельной напиток, которым бог поит допьяна всех его любящих.

Вальдо протянул руку к хрустальнику, выросшему на полуразрушенной стене старого хлева. Не для того, чтобы его сорвать, а в дружеском приветствии. Один листок хрустальника повернулся так, что солнце пронизывало его насквозь. И Вальдо с глубоким волнением рассматривал каждую клеточку, похожую на маленький кристаллик льда.

Человек редко видит природу. Пока в душе его продолжается пир страстей, он отворачивает от нее глаза.

Ступайте прогуляйтесь вечером по склону холма. Если вы оставили дома больного ребенка, если на следующий день у вас свидание с вашим возлюбленным либо на душе у вас одна мысль, как бы разбогатеть, — вы ничего не увидите во время своей прогулки. Ибо природа, подобно древнему иудейскому божеству, властно требует: «Да не будет у тебя других богов пред ликом моим». Только в тот день, когда в сердце у нас водворяется покой, когда свергнут прежний кумир, умерли надежды и подавлены обуревавшие нас желания, — только в тот день природа открывает нам самое себя и вознаграждает нас за все утраты. И тогда мы ощущаем свою связь с природой так тесно, что нам кажется, будто ее кровь вливается в нас по еще не отрезанной пуповине; мы чувствуем биение каждой ее жилки.

Он настанет рано или поздно, этот день. Вы сидите мрачный и унылый, один на всем белом свете; все, кого вы любили, сошли в могилу или умерли для вас, даже острая жажда знаний, после многих неудач, притупилась: настоящее вам безразлично, от будущего вы ничего не ждете. И вот тогда природа с неожиданной нежностью принимает вас в свои объятия!

Большие белые хлопья снега в своем бесшумном падении шепчут нам успокоительно: «Отдохни, бедное сердце, отдохни», — их прикосновение, словно прикосно-

вление материнской руки, приносит нам сладостное утешение.

И жужжание желтоногих пчел звучит в наших ушах упоительной пёсней; и луч солища на почерневшей каменной стене кажется нам прекрасным, словно великое творение искусства; и трепет листвы заставляет учащенно биться сердце.

И тогда лучше всего умереть. Ибо если вы останетесь жить, — с той же неминуемостью, с какой идут годы, с какой весна сменяет зиму, в вашей груди снова поселятся страсти, и вы утратите покой. С новой силой оживут желания, честолюбие и неистовая, мучительная жажда любви. Природа опустит свое покрывало, отныне, несмотря на все ваши старания, вам не увидеть ее лица и не вернуть безмятежных дней. И тогда лучше всего умереть.

Вальдо сидел, обхватив руками колени и надвинув на глаза шляпу, и любовался золотым закатом, окрасившим все вокруг, даже воздух, в цвет спелых колосьев. Он был счастлив.

Да, он неудачник, да, он зачерпнул только ложку в море знаний, его удел — сколачивать столы да ворочать камни, но жизнь в этот миг казалась ему необыкновенной, и он радостно потирал руки. Ах, вот так бы и жить до конца дней своих. Довольствуясь тем, что есть. Пусть идут дни за днями, принося свои заботы и свои радости. Пусть золотит вершины холмов солнце, пусть сияют звезды на ночном небе, — пусть трещит огонь в очаге! Жить мирно, вдали от троп людских, следить за полетом облаков и букашек, заглядывать в самое сердце цветка и любоваться пестиком и тычинками! Как прекрасно нежиться на солнце, вдали от мирской суеты, и как прекрасно собирать цветы, выращенные великими людьми в их книгах, где во всей своей красоте раскрывается мир! Ах, жизнь восхитительна! Как прекрасно жить долго, дожидаться наступления новых времен. Времен, когда никто не будет отталкивать тех, кто взывает о помощи, когда людям не придется искать одиночества, после того, как все откажут им в любви и участии. Как прекрасно жить долго, до наступления новых времен. Трижды благословенна жизнь!

Прижимая руку к груди, Вальдо ощупал маленький башмачок, в котором некогда танцевала Линдал. Баш-

мачок лежал в том самом кармане, где Вальдо в юности хранил обломки грифельной доски. В душе его не было грусти, только радость. Вальдо надвинул шляпу еще глубже и сидел неподвижно, так неподвижно, что цыплята решили, будто он спит, — и подошли чуть-чуть поближе. Один даже отважился клюнуть его башмак, но, испуганный собственной смелостью, тотчас пустился наутек. Крохотный желтый комочек знал, что опасны даже спящие люди: ведь они могут проснуться. Но Вальдо не спал и, очнувшись от своих солнечных грез, протянул ему руку: залезай же! Ну, что ты медлишь? Но желтый комочек опасно покосился на его руку и поспешил укрыться под крылом матери. Оттуда он лишь изредка высовывал круглую головку, посматривая на Вальдо. Вынырнул он только после того, как увидел, что его братья погнались за белым мотыльком. Когда мотылек взмыл вверх, они проводили его разочарованными взглядами и вернулись к матери.

Вальдо смотрел на них полузакрытыми глазами. И они тоже о чем-то думают, чего-то боятся, чего-то хотят. Что же они, в сущности, представляют собой, эти крохотные искорки жизни? Цыплята бродят по старому двору в лучах заходящего солнца. Они живут. А что будет через несколько лет? С братским чувством Вальдо протянул им руку, но цыплята так и не решились к нему подойти. Несколько минут он смотрел на них с мрачным видом, потом улыбнулся и что-то забормотал себе под нос. Затем он уткнулся лицом в колени. Так он и сидел, залитый желтым сиянием солнца.

Немного погодя из задней двери дома с чашкой молока в руках вышла Эмм. Голова ее была повязана полотенцем.

— Заснул, — сказала Эмм, останавливаясь около Вальдо. — Ничего, выпьет, когда проснется. — И она поставила чашку на землю.

Наседка все еще бродила среди камешков, а цыплята забрались на Вальдо. Один сидел у него на плече, прислонясь маленькой головкой к черным курчавым волосам, другой раскачивался на полях старой поярковой шляпы, третий, устроившись на руке, пытался кукарекать, а четвертый спал на рукаве.

Эмм не стала прогонять их. Она накрыла чашку полотенцем и ушла.

— Проснется, выпьет, — повторила она.

Но цыплята знали, что он уже никогда не проснется.

рассказы
и аллегории

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
А. СИМОНОВА /

Женщина сидела в углу комнаты у бюро, за спиной ее пылал камин. Вошел слуга и протянул ей визитную карточку.

— Скажите, что я занята и никого не принимаю. К двум часам я должна отослать эту статью.

Слуга вернулся. Посетительница просит уделить ей всего минуту, ей крайне необходимо увидеть хозяйку. Женщина встала из-за бюро: «Пусть мальчик подождет. Попросите ее войти».

Вошла юная женщина в платье из шелка и в длинной, до пят, меховой накидке. Была она высокая, стройная и светловолосая.

— Я знала, что вы не откажете. Я так хотела вас увидеть!

Женщина указала ей место поближе к огню:

— Помочь вам снять накидку? У меня тепло.

— Я так хотела прийти — повидать вас. Во всем мире только один человек может мне помочь — это вы! Я знаю, вы великодушны, у вас широкая душа, вы так добры к другим женщинам!.. — Она села. Большие голубые глаза были полны слез, она

безотчетно стягивала и надевала маленькие перчатки. — Вы знакомы с мистером... — Она назвала имя известного писателя. — Я знаю, вы часто встречаетесь с ним по работе. Не могли бы вы помочь мне? Мне так нужна помощь!

Стоя на коврике у камина, женщина посмотрела на нее сверху вниз.

— Я не могу сказать этого ни отцу, ни матери, никому, но вам я могу сказать, хоть я вас почти не знаю. Вы слышали, что прошлым летом он приезжал и жил у нас целый месяц. Я его часто видела. Не знаю — поправились ли я ему, я знаю, ему нравилось, как я пою, мы часто ездили верхом — мне нравился он, нравился, как ни один мужчина до него. Вы-то знаете, это неправду говорят, что мужчина нравится женщине только тогда, когда она сама ему нравится, а потом мне казалось, что я ему немножко нравлюсь. Но, с тех пор как мы переехали в город, он ни разу не зашел, несмотря на наши приглашения. Может быть, ему кто-то на меня наговаривает. Вы его знаете, вы всегда с ним встречаетесь, не могли бы вы мне помочь, замолвить за меня хоть слово? — Она сжала побелевшие губы и взглянула вверх. — Мне иногда начинает казаться, что я схожу с ума! О господи, какой это ужас — быть женщиной!

Женщина посмотрела ей в лицо.

— Теперь до меня дошли слухи, что он любит другую. Я не знаю, кто она, но, говорят, она очень умная и пишет книги. Это так ужасно! Это невыносимо.

Женщина облокотилась о каминную доску и, подперев лицо ладонью, стала смотреть вниз, на огонь. Потом повернулась к своей юной посетительнице.

— Да, — сказала она, — быть женщиной — ужасная штука. — Она помолчала, а потом спросила, и этот вопрос дался ей нелегко:

— А вы уверены, что любите его? Вы уверены, что это не просто чувство, которое может внушить молодой девушке человек старше ее, человек прославленный, о котором все говорят?

— Я чуть не сошла с ума. Вот уже несколько недель, как я не сплю. — Она с такой силой сплела свои маленькие пальцы, что кольца врезались в кожу. — Он для меня все, кроме него, ничто в мире не существует. Вы такая замечательная, такая сильная, умная, вам в жизни важнее всего ваша работа, а мужчины вас интересуют только

как друзья, вам не понять, как один человек может быть для тебя всем, всем на свете и, кроме него, ничего нет.

— О чем же вы просите?

— О, я не знаю! — Она подняла голову. — Женщина сама знает, что можно сделать. Только не говорите ему, что я его люблю. — Она посмотрела вверх. — Скажите ему что-нибудь. Боже, как ужасно быть женщиной, я так беспомощна. Но вы ведь не скажете ему — так, прямо — что я его люблю? Если мужчине просто взять и сказать такое, он возненавидит эту женщину.

— Если я буду с ним говорить, то только начистоту. Он мой друг. Я не могу разговаривать с ним обиняками. О своих делах я всегда говорила с ним только напрямик. — Она сделала движение, словно намереваясь отойти от камина, потом повернулась и заговорила вновь: — Вы когда-нибудь задумывались, какой должна быть любовь между мужчиной и женщиной, когда речь идет о семье? Долгая-долгая жизнь бок о бок, день за днем, когда вся романтика отшелушилась, и живешь лицом к лицу, и некуда отодвинуться, и знаешь другого, как собственную душу — наизусть. Вы отдаете себе отчет в том, что в конце концов цель семьи сделать и мужчину и женщину сильнее, и если на закате жизни, когда старик и старуха присядут у огня, они не смогут сказать себе: «Мы прожили жизнь смелее и свободнее оттого, что прожили ее плечом к плечу, и не было бы этого, проживи мы ее врозь», — это значит, что вся жизнь пошла насмарку? А хватит ли вашей любви, чтобы жить ради него не только завтра, но и тогда, когда вы оба станете дряхлыми стариками? Сможете вы прощать ему его грехи и его слабости, когда большее всего они будут бить по вас самой? А если он превратится в постоянно хнычущего инвалида и не встанет с постели двадцать лет — хватит у вас сил непрерывно нянчиться с ним столько лет и утешать, как мать утешает малое дитя? — Женщина с трудом перевела дыхание.

— О, я его люблю бесконечно! За радость один раз услышать, что я ему дороже всего, я готова умереть!

Женщина по-прежнему смотрела вниз, на нее.

— А вы никогда не думали о той, другой, может быть, и она могла бы составить все счастье его жизни, как и вы? — спросила она.

— О, нет женщины, которая сделала бы для него то, что я. Я бы жила только для него. Он мой! — Она наклонилась вперед, плечи ее тряслись, но она не плакала. —

Это так ужасно — быть женщиной, ведь у тебя связаны руки, ты даже слова сказать не можешь!

Женщина положила ей руку на плечо. Молодая взглянула прямо ей в глаза, старшая отвернулась и застыла, глядя в огонь. Было так тихо, что они слышали тиканье часов над письменным столом.

Потом старшая сказала:

— Только одно я могу для вас сделать. Не знаю, поможет ли это вам, но это я сделаю. — И она отвернулась.

— О, вы великодушны, вы так добры, так прекрасны, так непохожи на других женщин, которые способны думать только о себе! Благодарю вас, благодарю. Я знаю, вам я могу довериться. Я не могла бы сказать об этом никому, даже матери, никому, кроме вас.

— А теперь идите. Мне нужно закончить работу.

Молодая женщина обвила ее руками:

— О, вы добры и прекрасны!

Шелк платья и мех накидки, удаляясь, прошелестели и смолкли за дверью.

Оставшись одна, женщина заходила из угла в угол все быстрее, пока на лбу не выступили бисеринки пота. Она сделала передышку и подошла к столу: там, на столе, лежала записка, написанная мужским неразборчивым почерком на клочке писчей бумаги: «Могу ли я зайти к вам сегодня пополудни?» Рядом лежал закрытый и надписанный конверт. Она вскрыла его. Внутри было написано: «Да, я жду вас».

Она наискось разорвала листок и написала: «Нет, я не смогу вас принять».

Она запечатала свою записку в новый конверт и надписала адрес. Потом собрала со стола листки рукописи, скатала их в трубку и позвонила. Вошедшему слуге она вручила это со словами:

— Скажите, чтобы посыльный передал хозяину, что статья обрывается довольно неожиданно — пусть дадут примечание, что продолжение следует, я закончу ее завтра. Когда он по дороге будет пробегать мимо дома двадцать, пусть занесет эту записку.

Слуга вышел. Она закинула руки за голову, сцепила пальцы и снова принялась расхаживать по комнате из угла в угол.

Два месяца спустя старшая из двух женщин стояла у огня, когда внезапно открылась дверь и вошла молодая.

— Я должна была вас видеть, я не могла ждать. Вы слышали — он обвенчался сегодня утром? Неужели это правда? О, помогите же мне! — И она протянула руки к старшей.

— Сядьте. Да, это истинная правда.

— О боже, как это ужасно, и я ничего не знала! Неужели вы ему так ничего и не сказали? — Она схватила старшую за руку.

— С того дня, как вы были здесь, я его ни разу не видела — так что говорить с ним я не могла, но я обещала сделать то, что смогу, и сделала. — Она стояла, равнодушно глядя в огонь.

— Я слышала, она совсем еще ребенок, восемнадцати нет. Говорят, до того как сделать предложение, он видел ее всего три раза в жизни. Неужели, по-вашему, это правда?

— Да, истинная правда.

— Он не может ее любить. Говорят, он женился из-за ее положения и денег — и только.

Женщина круто повернулась:

— Кто дал вам право так говорить? Никто его не знает так, как я. Зачем ему чужое положение и чужое богатство? Они ничего не стоят рядом с ним. Может быть, женщины старше ее обманули его ожидания, и ее красота, юность и свежесть помогут ему заполнить пустоту. Она так молода и так прекрасна — ее мог бы полюбить любой мужчина, и родители ее известны своим умом. Если он воспитает ее, она станет ему такой женой, что ни одна женщина не сможет с ней сравниться.

— Но это невыносимо, это невыносимо! — Молодая женщина опустила в кресло. — Она будет его женой, у нее будут его дети.

— Да, — старшая быстро заходила по комнате, — да, так хочется иметь ребенка, и прижимать его к груди, и кормить его, — она еще ускорила шаг, — пусть другая дала ему жизнь, это неважно — лишь бы можно было заботиться о нем. — Она металась по комнате.

— О нет, только не ее ребенок. Когда я думаю о ней, мне кажется — я умираю, у меня холодеют пальцы, я чувствую, что жизнь ушла из меня. О, вы этого не знаете — вы были только его другом.

Старшая заговорила быстро и негромко:

— Неужели вы совсем не испытываете к ней нежности, когда думаете о том, что она будет его женой, матерью

его детей? А я бы хотела хоть раз обнять ее, если б она позволила. Говорят, она так хороша собой.

— О нет, видеть ее выше моих сил, я бы умерла. А они так счастливы сегодня, они вместе! И он ее так любит!

— Вы не хотите, чтобы он был счастлив? — Старшая посмотрела на младшую сверху вниз. — Вы что же — никогда его не любили?

Младшая сидела, закрыв лицо руками:

— О, какой это ужас, какая тьма! И с этой болью мне жить дальше, год за годом! О господи, дай мне сил умереть!

Старшая стояла над ней, глядя в огонь, потом сказала медленно, с расстановкой:

— Бывают в жизни периоды, когда кажется — нет просвета, когда голова идет кругом, и ни о чем, кроме смерти, думать не можешь. Но если ждешь, долго ждешь, иногда целые годы, приходит покой. Может быть, так и не сможешь сказать, что все было к лучшему, но находишь в прошлом удовлетворение и принимаешь его. Тогда борьба окончена. И такой день наступит для вас возможно раньше, чем вы думаете. — Она говорила медленно, с трудом.

— Нет, нет, для меня такой день не наступит. Если я люблю — я люблю навсегда. Я никогда не умела забывать.

— Любовь — не единственная цель жизни. Можно жить и ради другого.

— Да, для вас можно! А для меня любовь — это все!

— А теперь, дорогая, вам пора.

Молодая женщина встала.

— Поговорить с вами — такое утешение. Если б я не пришла к вам, я бы наложила на себя руки. Вы так помогли мне. Я ваш вечный должник.

Старшая взяла ее руку в свои:

— Можно я вас о чем-то попрошу?

— О чем?

— Тут всего не объяснить, я не смогу. И вы не поймете. Но бывают в жизни случаи ужасные, ужаснее, чем потеря любимого человека. Представьте, у вас была мечта, какой должна быть ваша жизнь, и вы все делали, чтобы воплотить эту мечту, и вот — не удалось: что-то такое, что вы выжгли в себе каленым железом много лет назад, вдруг поднимает голову и кричит в вас: «Пусть каждый занимается самим собой и плюет на ближнего! Каждый за себя. Так и только так надо играть в эту

игру!» — и все, ради чего вы жили, ставится под сомнение, и, кажется, земля уплывает из-под ног... — Она помолчала. — Вот такая минута настала сейчас для меня. Обещайте мне, что, если другая женщина когда-нибудь придет к вам с просьбой о помощи, вы не откажете ей и постараетесь полюбить ее, ради меня, если вы обещаете мне это, может быть, мне станет легче. Может быть, у меня хватит сил не отречься от своей веры.

— О, я сделаю для вас все, о чем вы просите. Вы так добры и великодушны!

— О, добра, о, великодушна! Если бы вы только знали! А теперь идите, дорогая.

— Я не оторвала вас от работы, скажите?

— Нет, последнее время я не сажусь за стол. До свидания, дорогая.

Молодая ушла, а та, что старше, опустилась на колени у кресла и заскулила, как малый ребенок, которого ударили, а он не смеет разрыдаться.

Прошел год, снова была ранняя весна.

Женщина сидела за бюро и писала, за спиной ее пылал камин. Она писала передовую статью о причинах, которые поставили разные народы перед выбором: свобода торговли или протекционизм.

Женщина писала быстро. А потом вошел слуга и положил на стол пачку писем.

— Скажите мальчику, я кончу через пятнадцать минут, — бросила она, и продолжала писать. Но тут внимание ее привлек почерк на одном из конвертов. Она отложила ручку и вскрыла письмо. Вот что она прочла:

Дорогой друг, пишу вам, потому что уверена, что вас обрадует известие о счастье, которое выпало на мою долю. Помните ли вы, как в тот день у огня вы мне сказали: «Ждите и через многие годы вы поймете, что все было к лучшему»? Этот день наступил раньше, чем мы смели надеяться. На прошлой неделе в Риме состоялась моя свадьба. Я замужем за самым лучшим, самым благородным, самым добрым из людей. Сейчас мы с ним во Флоренции. Вам даже трудно себе представить, какой прекрасной кажется мне моя жизнь. Теперь я знаю, та страсть была просто глупым сном молоденькой девочки. Я первый раз по-настоящему люблю мужчину, и этот мужчина —

мой муж. Он любит меня и понимает так, как никто и никогда меня не понимал. Благодарю бога, что он нарушил мой сон, у него был для меня в запасе радостный сюрприз. Я больше не испытываю ненависти к той женщине, я всех люблю, всех до одного! Как вы, моя дорогая? Мы навестим вас, как только вернемся в Англию. Я всегда вспоминаю вас, какая вы счастливая — делать такое дело и помогать другим людям. Я больше не считаю, что быть женщиной — ужасно, теперь я знаю — это восхитительно.

Надеюсь, вам по душе эта дивная весна.

Преисполненная благодарности, любящая вас

Е...

Женщина дочитала письмо, встала и подошла к камину. Она не перечитывала письма, просто стояла с открытым письмом в руке и смотрела на пламя. Углы губ ее были сжаты. Затем она разорвала письмо и стала смотреть, как в огонь не спеша слетают одна за другой полоски бумаги. Потом, не разжимая губ, она вернулась к бюро и снова села за статью. Написав несколько строк, она опустила руку на бумаги и уронила голову на руку, как будто спала.

В эту минуту постучал слуга: посыльный ждет.

— Скажите ему, пусть подождет еще десять минут.

Она взяла ручку: «Политика борьбы австралийских колоний за протекционизм легко объяснима, если учесть тот факт, что...» — И она дописала статью до конца.

ЕЕ РОЗА

У меня есть старая резная шкатулка, крышка сломана и завязана ниткой. В ней я храню маленькие бумажные конверты с локонами волос, картинку, которая висела над кроватью моего брата, когда мы были детьми, и еще кое-какие мелочи. Лежит в шкатулке и роза. У других женщин тоже есть такие шкатулки, где они хранят свои реликвии, но ни у кого нет такой розы.

Когда взгляд мой утрачивает ясность, когда сердце замирает, когда вера моя в женщину колеблется и ее настоящее вызывает во мне мучительную боль, а будущее приводит в отчаяние, запах этой засушенной розы снова,

через двенадцать лет, доносится ко мне. И я знаю — наступит весна, я знаю это наверняка, как знают птицы, когда видят два дрожащих зеленых листка, пробившихся из-под снега. Весна неизбежна.

Были когда-то в шкатулке и другие цветы: гроздь белых цветов акации, сорванная сильной мужской рукой, когда мы проходили по деревенской улице душным полднем после дождя и капли еще падали на нас с листьев высоких акаций... Цветы были мокрые, следы плесени остались на бумаге, в которую я их завернула. Через много лет я их выбросила. В шкатулке сохранился только тонкий, сильный запах сухой акации, который напоминает о том душном летнем полдне, зато роза лежит в шкатулке, как и прежде.

Теперь тому уже много лет. Я была девочкой, мне было пятнадцать, и я гостила в маленьком городке вдали от океана. Городок тоже был молод, и лежал он в двух днях пути от ближайшего жилья, и населяли его главным образом мужчины. Некоторые были женаты, с ними были жены и дети, но большинство составляли холостяки.

В городке, когда я туда приехала, жила одна-единственная девушка. Ей было лет семнадцать, стройная и, пожалуй, чуть полная, с большими мечтательно-голубыми глазами и волнами светлых волос; губы у нее были полные и казались вялыми, пока она не начинала улыбаться, тогда на лице появлялись ямочки и сверкали белые зубы. Кажется, была еще дочка у хозяина гостиницы и две у фермера, жившего на окраине, но мы их никогда не видели. Она властвовала одна. Все мужчины ее боготворили. Она была единственной женщиной, о которой они могли мечтать. Они говорили о ней на верандах своих домов, на ярмарке и в гостинице; их взгляды подстерегали ее на каждом уличном перекрестке; они ненавидели мужчину, которому она поклонилась или с которым прошла по улице. Они приносили цветы к ее парадной двери, к ее услугам была любая из их лошадей; и те, кто смел молить, молили ее выйти за них замуж.

Было что-то возвышенное и героическое в том, как беззаветно поклонялись они лучшей из женщин, какую им довелось знать. Но чего еще можно было ожидать от мужчин, отрезанных от мира, когда они обращали на одну женщину всю страсть, которой в иных обстоятельствах хватило бы на двадцать. Однако было и что-то мерзкое в их зависти друг к другу. Стоило ей шевельнуть

мизинцем, и любой из двадцати в ту же минуту женился бы на ней.

И вот приехала я. Сомневаюсь, чтоб я была такой хорошенькой, как она, сравнение было бы не в мою пользу. Наверняка она была красивее. Но во мне было много жизни, и я была новенькая, а к ней они уже привыкли — и оставили ее, устремаясь за мной. Теперь цветы складывались к моей двери и меня ждали двадцать лошадей, когда мне нужна была одна, и обсуждали они мое каждое слово и мой каждый шаг.

Пожалуй, мне это нравилось. Всю жизнь я прожила одна, и никто до сих пор не говорил мне, что я женщина и что я прекрасна. Я им верила. Я не знала, что это просто условия игры, которые один из них установил, а остальные, не задумываясь, приняли. Я любила, чтобы они делали мне предложение, а я отказывала. Я их презирала. Материнское чувство еще не поселилось в моем маленьком сердце, я не знала, что мужчины — все — мои дети, как знает это настоящая женщина с большим сердцем. Я была еще слишком молода, чтобы быть доброй. Мне нравилась власть. Я похожа была на мальчишку, которому подарили новый кнут, и он, вместо того чтобы смотать его и отложить до поры до времени, ходит и лупит им по чему попало. Мужчины были для меня странными существами, одному богу известно, почему я им нравилась. И только одно портило мне удовольствие: меня точила мысль, что они бросили ее ради меня. Мне нравились ее огромные голубые мечтательные глаза, мне нравилась неторопливость ее походки, ее протяжная речь; когда я видела ее среди мужчин, все они казались мне недостойными сидеть с ней рядом. Я готова была отдать ей все их славословия, если бы она хоть раз улыбнулась мне, как она улыбалась им, так чтобы улыбка озаряла все лицо, на щеках появлялись ямочки и сверкали зубы. Но я знала — этому не быть, я была уверена, что она меня ненавидит, что ей бы хотелось, чтоб я умерла, чтоб никогда ноги моей не было в этой деревне. Ведь она не знала, что на прогулке верхом, когда мужчина, который постоянно ездил рядом с ней, захотел поехать рядом со мной, я отослала его прочь; что однажды, когда другой мужчина, пытаясь завоевать мое расположение, стал высмеивать медлительность ее речи, я так напустилась на него, что он не смел больше показываться мне на глаза. Я знала, ей известно, что, когда двое мужчин поспорили в гостинице, кто кра-

сивее, она или я, и опросили каждого входящего, выиграл тот, кто ставил на меня. Я их за это ненавидела, но я бы умерла, а не показала ей, как мне важно, что она ко мне чувствует.

Мы с ней никогда не сказали и двух слов.

Встречаясь на улице, мы раскланивались и проходили мимо; здороваясь за руку, мы молчали и не глядели друг на друга. Но я думаю, она всегда чувствовала, что я здесь, в комнате, так же, как я чувствовала ее присутствие.

Наконец пришла пора мне уезжать. Я должна была ехать на следующий день. Накануне один мой знакомый устраивал в мою честь вечер, на который приглашен был весь городок.

Зима была в разгаре, в опустевших садах отцветали последние георгины и хризантемы, и, думаю я, миль на двести в округе ни за какие деньги нельзя было достать розу. Только в саду моего друга в самом солнечном уголке между кирпичной оградой и вынесенным наружу очагом стоял розовый куст с единственным бутоном. Эта белая роза была обещана девушке со светлыми волосами.

Наступил тот вечер. Когда я вошла в прихожую, чтобы снять пальто, девушка уже была там. Она была одета во все белое, ее прекрасные белые руки и плечи обнажены; белокурые волосы переливались в свете свечей, а на груди приколоты роза. Она была как королева. Я быстро сказала: «Добрый вечер», — и отвернулась к зеркалу; надо было поправить мою старенькую черную шаль, надетую поверх старенького черного платья.

Тут я почувствовала, как чья-то рука прикоснулась к моим волосам.

— Стойте спокойно, — сказала она.

Я взглянула в зеркало. Она сняла со своего платья розу и приколотла ее к моим волосам.

— Какая прелесть — темные волосы! Они как будто нарочно созданы для цветов. — Она отступила на шаг и посмотрела на меня. — Вам она идет куда больше, чем мне.

Я обернулась.

— Я так люблюсь вами, — сказала я.

— Да-а-а... — ответила она своим протяжным, как говорят в колониях, говором, — я та-а-ак рада.

Мы стояли и смотрели друг на друга.

Тут появились они и увлекли нас танцевать. За весь

вечер мы и минуты не пробыли вместе. Только раз, скользая мимо меня в танце, она мне улыбнулась.

На следующее утро я уехала из городка.

Много лет спустя я услышала, что она вышла замуж и уехала в Америку. Так ли это, я не знаю, но роза — розу я продолжаю хранить! Когда вера моя в женщину готова покинуть меня, когда кажется, что не хватит ей любви и великодушия, чтобы достигнуть грядущего рая, — тогда вновь доносится до меня запах иссушенного цветка и я знаю: весна неизбежна.

СОН

Мать сидела в одиночестве у открытого окна. С улицы доносились голоса детей, игравших под акациями, и горячее дыхание жаркого полдня. В окно безостановочно влетали и снова вылетали из комнаты дикие пчелы с желтыми от пыльцы цветущих акаций лапками.

Она сидела со штопкой на низком кресле у стола. Перед ней на столе стояла большая корзина, откуда она брала штопку, а на коленях, полузакрыв забытую книгу, лежали уже заштопанные чулки. Она следила, как ныряет и выныривает иголка; заунывное пчелиное жужжание и голоса детей за окном сливались в смутный гул, и работа шла все медленней и медленней. И уже не пчелы, а похожие на ос существа, которые не приносят меда, гудя, кружились над ее головой. Дремота одолевала ее, она уронила на край стола руку с надетым чулком и положила на нее голову. Голоса детей становились призрачней и то приближались, то удалялись, пока наконец не замолкли совсем, и только одно она еще чувствовала — своего девятого ребенка там, под сердцем. Так она и заснула среди выющихся над головой пчел, склонясь вперед, и увидела вещий сон: ей виделось, что пчелы все увеличиваются в размерах, растут и превращаются в людей, и уже люди продолжают этот безостановочный хоровод вокруг нее. И один из них, легко ступая, подошел к ней и сказал:

— Дитя спит в твоём чреве, позволь, я коснусь его, и, осененный моим прикосновением, ребенок станет подобен мне.

— А кто ты? — спросила она.

— Я — Здоровье, — сказал он. — У человека, кото-

рого я коснусь, всегда будет играть в жилах красная кровь, ни боли, ни усталости он не узнает, жизнь его будет сплошным праздником.

— Нет, — перебил его другой, — пусть его коснусь я, ибо я — Богатство. Мое прикосновение освободит его от всех житейских забот. Если он захочет, мышцы и кровь других людей будут кормить его; и не успеет глаз его пожелать, как рука уже будет владеть желаемым. Слов «я хочу» не будет у него.

Тяжел и неподвижен был ребенок в ее чреве.

И сказал третий:

— Пусть коснусь его я, я — Слава. Человека, которого я осеяю, я возвожу на высокий холм, откуда он виден каждому. Он умрет — и не будет забыт, имя его прогремит в веках, и из уст в уста будет передаваться эхо этого имени. Подумай — остаться в памяти на века!

Мать дышала ровно, но во сне ее люди-пчелы все теснее смыкали круг.

— Позволь мне коснуться ребенка, — сказал еще один, — ибо я — Любовь. Тот, кого я коснусь, пройдет по жизни не один. В самой крошечной тьме, стоит ему протянуть руку, он почувствует другую руку, протянутую навстречу. Пусть весь мир будет против него, найдется человек, который скажет: «Мы. Ты и я».

И ребенок шевельнулся.

Но вот еще один протиснулся в круг.

— Пусть это буду я, я — Талант. Я могу дать все, что обещали ему до меня. Я касаюсь солдата и государственного деятеля, мыслителя и политика — и дарю им успех, я осеяю писателя, который никогда не опередит свое время и никогда не отстанет от него. Если я коснусь ребенка — ему никогда не придется плакать о сокрушенных надеждах.

Пчелы вились над головой матери, дотрагиваясь до волос своими длинными ниточками-лапками, а во сне она видела, как из затененной части комнаты выступил человек с болезненным, изборожденным морщинами лицом, и между впадинами щек дрожала на губах улыбка. Он протянул руку. Мать отпрянула и воскликнула:

— Кто ты?

Он промолчал, и она заглянула под полуопущенные веки. И спросила:

— А ты что можешь дать ребенку — здоровье?

И он сказал:

— Человек, которого я коснусь, ощущает в крови жгучий трепет, трепет этот жжет кровь, как огонь. Вся жизнь уходит на то, чтобы унять в крови это жжение.

— Ты даешь богатство?

Он покачал головой.

— Когда человек, которого я коснусь, нагибается, чтобы поднять золото, он внезапно видит знамение в небе над головой, а пока он смотрит на него, золото уплывает между пальцами или его забирает другой.

— Может быть, славу?

— Едва ли, — ответил он. — Путь человека, которого я коснусь, начертан пальцем на зыбком песке и никому не виден. Этим путем ему и идти. Иногда путь ведет его к вершине, но внезапно поворачивает и низвергает в бездну. И он должен идти этим путем, хотя только он один видит зыбкий след, по которому идет.

— Любовь?

— Он будет страстно желать ее, но не найдет. Когда он протянет ей руки и прижмет к сердцу того, кого любит, тогда в дальнем далеке он увидит, как играет свет на черте горизонта. И он должен идти туда. Тот, кого он любит, не пойдет с ним — его удел идти в одиночестве. Когда он прижмет нечто к пылающему сердцу и воскликнет: «Мое, мое, я владею этим!», — он услышит голос: «Отрекись! Отрекись! Владеть — не твой удел!»

— Он достигнет успеха?

— Его ждет поражение. В беге наперегонки он придет к черте последним. Потому что таинственные голоса зывают к нему, и странные огни манят его, и он должен стоять, смотреть и слушать. А самое странное, что вдали, за горячими песками, где для других лежит лишь пустота пустыни, он будет видеть голубое море! Над этим морем не заходит солнце, вода в нем синяя, как сверкающий аметист, и белизною пены очерчен берег. Великолепный остров поднимается из этого моря, и он будет видеть, как горят золотом вершины его гор.

Мать спросила:

— А он достигнет этого острова?

Человек неопределенно улыбнулся.

— А он есть, этот остров? — спросила она.

— Кто знает, что есть и чего нет? — спросил он вместо ответа.

И она взглянула в его глаза, прикрытые веками, и сказала:

— Коснись.

Он наклонился и приложил ладонь к спящему, не рожденному еще младенцу, и прошептал, улыбаясь — только она одна могла его слышать:

— И в том будет награда твоя — ты воочию увидишь свой идеал.

Ребенок вострепнулся, а мать продолжала крепко спать и больше не видела снов. Но где-то глубоко внутри, еще не рожденное ею существо видело сон. В его глазах, еще не видевших света дня, в его не оформившемся еще мозгу возникло предощущение света. Света, которого оно никогда не видело! Света, которого, быть может, лучше бы ему и не видеть! Света, который неведомо где, но есть!

И уже дана была ему обещанная награда: он воочию видел свой идеал.

ТАЙНА ХУДОЖНИКА

Жил однажды художник, и рисовал он картину. У других художников краски были богатые и редкостные, и картины они рисовали куда более примечательные. А он свою писал одной краской, и был в этой картине поразительный красный свет. И люди приходили и уходили, говоря:

— Нам нравится картина, нам нравится этот свет.

Приходили другие художники и спрашивали:

— Где он берет эту краску?

Они спрашивали и у него — он улыбался в ответ и говорил:

— Я не могу вам сказать, — и, низко склонив голову, продолжал свою работу.

И один художник поехал на далекий Восток, и купил дорогих пигментов, и составил необычайную краску, и стал писать ею; но прошло время — краска выцвела. И другой художник, вычитав в старых книгах секрет, составил краску сочную и редкостную, но, когда он положил краску на холст, она была мертва.

А тот художник продолжал рисовать. И работа его становилась все красней и красней, а сам художник все

бледнел и бледнел. И наконец в один прекрасный день его нашли мертвым возле картины, над которой он работал, и надо было отправить его в последний путь. Собратья его осмотрели все вокруг, все горшки и все тигли, но не нашли ничего такого, чего не было бы у них.

Но когда сняли с него одежду, чтобы обрядить его для похорон, то над левой грудью они увидели след раны — это была старая рана; похоже, он прожил с этой раной всю жизнь — края ее отвердели, но Смерть, которая всему подводит итог, стянула края раны и прикрыла ее.

И его похоронили. А люди все продолжали спрашивать друг друга:

— Откуда он брал свою краску?

И прошло время, и настало время, художника забыли, но работа его осталась жить.

ДАРЫ ЖИЗНИ

Я видела спящую женщину. Ей снилось, что перед нею стоит Жизнь и держит дары: в одной руке — Любовь, в другой — Свободу.

— Выбирай! — сказала она женщине.

И женщина долго молчала, а потом сказала:

— Свободу!

Тогда сказала ей Жизнь:

— Верен был выбор твой. Скажи ты «Любовь», и я даровала бы тебе то, что ты просила; и ушла бы от тебя, и не возвратилась более. А теперь наступит день, когда я возвращусь к тебе. В тот день оба дара мои я принесу в одной руке.

Я слышала, как женщина засмеялась во сне.

«МНИЛОСЬ МНЕ, Я СТОЮ...»

I

Мнилось мне, я стою у божьего трона, в райской обители, и бог спрашивает меня, зачем я пришла.

— Чтобы обвинить Мужчину, брата своего, — отвечала я.

— Что он совершил? — спросил бог.

— Он взял сестру мою, Женщину, и бил ее, и нанес ей раны, и вышвырнул ее на улицы, и там она лежит распростертая. Его руки красны от крови. Я пришла обвинить его, пусть лишится он царства, ибо он недостоин царства, и пусть отдадут царство мне. Ибо руки мои чисты.

И я показала свои руки.

Бог сказал:

— Чисты руки твои — приподними твои одежды.

Я приподняла одежды: ноги мои были красны, словно я ступала по вину.

— А что это? — сказал бог.

— Господи, — отвечала я, — дороги на земле залиты грязью. Если бы я ступала прямо по ним, я запачкала бы свои одежды, ты видишь, как они белы! Приходится выискивать, куда поставить ногу.

— И куда же ты ставишь ее? — спросил бог.

Я промолчала и опустила свои одежды. Потом с головой завернулась в плащ и тихо вышла. Я боялась попасться на глаза ангелам.

II

И снова я стояла у дверей рая, и со мной другая женщина. Мы крепко держались друг за друга — мы так устали. Мы смотрели на огромные двери, и ангелы отворили их, и мы вошли. Грязь была на наших одеждах. По мраморному полу мы прошли туда, где стоял трон. Тут ангелы отделили нас друг от друга. Ее они поставили на верхнюю ступень, а меня оставили у подножия, сказав:

— Эта женщина в прошлый раз оставила красные следы на полу, нам пришлось смывать их своими слезами. Пусть же она стоит внизу.

Тогда та, с кем я пришла, оглянулась и протянула мне руку, я подошла и стала рядом с ней. И ангелы, эти сияющие существа, что никогда не грешили и никогда не страдали, проходили мимо нас вверх и вниз по ступеням. Нам, я думаю, было бы одиноко там — так сияли лица этих ангелов, — но каждая из нас была не одна.

Бог спросил меня, зачем я пришла, и я выставила вперед сестру мою, чтобы он видел ее.

Бог сказал:

— Как случилось, что сегодня вас здесь двое?

Я ответила:

— Она лежала на улице в грязи, и они ступали по ней, я легла рядом с ней, и она обвила мою шею руками, я подняла ее, и мы встали вместе.

Бог сказал:

— Кого теперь вы пришли обвинить предо мной?

Я ответила:

— Мы не пришли обвинять.

И бог склонился к нам и спросил:

— Дети мои, чего же вы пришли просить у меня?

Она тронула мою руку, чтобы я говорила от нас обеих.

Я сказала:

— Мы пришли просить слова твоего, чтоб сказал ты слово Мужчине, брату нашему, вручил нам послание к нему, чтобы дано ему было понять и дано ему было...

— Идите и передайте ему послание мое,— перебил меня бог.

— Что в нем, в послании твоём?

— Оно начертано в ваших сердцах,— сказал бог,— сойдите на землю и передайте его Мужчине.

Мы повернулись и пошли. Ангелы провожали нас до дверей. Ангелы смотрели на нас.

Один сказал:

— Ах, как прекрасны их платья.

И другой сказал:

— Я думал, это грязь на них, когда они вошли сюда, но смотрите, это золото.

А третий возразил:

— Нет, нет, это отблеск сияния, что светится на их лицах!

И мы сошли на землю к брату нашему.

НА ДАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ

Есть в мире еще одна земля, кроме нашей, и в той земле все происходит не так, как у нас.

В той земле жили мужчина и женщина, они вместе добывали свой хлеб, и вместе шли по жизни много дней, и дружили — и такое время от времени случается на нашей земле тоже.

Но было и иное в этой далекой земле, такое, чего у нас нет. Там был густой лес, где деревья росли так тесно, что стволы их соединились, а летнее солнце никогда не све-

тило, там стоял алтарь. Днем все было тихо, но ночью, когда горели звезды или луна заливала своим светом вершины деревьев, а внизу все молчало, стоило кому-то пробраться сюда в одиночестве, преклонить колени на ступенях каменного алтаря и, обнажив грудь, нанести себе рану, чтобы капли крови упали на каменные ступени, тогда все, чего бы ни пожелал он, преклонивший колени, давалось ему. И случалось так потому, что, как я уже сказала, это очень дальняя земля, и в той земле все часто происходит иначе, чем у нас.

Так вот, мужчина и женщина жили бок о бок, и женщина хотела мужчине добра. Однажды ночью, когда сияние луны отражалось в листьях всех деревьев, а волны моря серебрились, женщина, одна, отправилась в лес. Там было темно: только маленькие блики лунного света лежали на мертвых листьях, по которым она ступала, а ветви сплетались в узлы над ее головой. Дальше стало еще темнее, исчез последний лунный блик. Тут она подошла к алтарю, опустилась перед ним на колени и помолилась — ответа не было. Тогда она обнажила грудь и острым, с двух сторон заточенным камнем, что лежал возле, нанесла себе рану. Капли медленно стекли и упали на каменные ступени, и голос спросил:

— Чего ты просишь?

Она отвечала:

— Есть мужчина, ближе и дороже его у меня ничего нет. Я хочу для него высшего из благ.

— В чем оно? — спросил голос.

— Не знаю, — сказала девушка, — но я хочу ему того, что будет для него благом.

— Твоя молитва услышана, — сказал голос. — Он получит это.

И она встала. Она прикрыла грудь и, крепко стянув одежды рукой, побежала прочь из леса, и мертвые листья затрепетали под ее шагами. А за лесом в лунном свете плыл теплый воздух и поблескивал песок на морском берегу. Она бежала по песчаной глади и вдруг остановилась. По воде что-то двигалось. Она подняла руку и взглянула из-под ладони. Это была лодка, лодка, быстро скользя по залитой лунным светом воде, уходила в море. Кто-то стоял в лодке, лица она не могла разглядеть в свете луны, но очертания тела были ей так хорошо знакомы. Лодка быстро удалялась, и, казалось, она движется сама по себе. В мерцании лунного света

девушке трудно было рассмотреть наверняка, да и лодка была далеко от берега, но ей чудилось, что в лодке есть еще кто-то. Все быстрее и быстрее скользила по воде лодка — прочь, прочь. Девушка бросилась бежать вдоль берега, но лодка была все так же далека. Одежды, которые девушка стянула на груди, рванулись по ветру, она протянула руки, и лунный свет засиял в ее длинных распутившихся волосах.

— О чем ты? — шепотом спросил голос рядом с нею.

— Кровью своей оплатила я лучший из лучших даров для него. Я пришла, чтобы отдать. Но он уходит!

— Твоя молитва услышана, — тихо прошептал голос. — Он уже принадлежит ему, твой дар.

— Что это за дар? — воскликнула девушка.

— Это возможность оставить тебя, — ответил голос. Девушка замолчала.

Далеко в море, за гранью лунного блеска, скрылась из глаз лодка.

Голос спросил негромко:

— Довольна ли ты?

— Я довольна, — сказала она.

У ног ее волны, раскатываясь в мелкую зыбь, мягко набегали на берег.

А. Д а в и д с о н. Оливия Шрейнер и ее книги . . . , 3

АФРИКАНСКАЯ ФЕРМА

*Перевод с английского
А. Клышко*

Часть первая

Глава	I. Первые образы. Часы	23
Глава	II. Планы на будущее и рисунки на скале	31
Глава	III. «Я был странником, и ты приютил меня»	38
Глава	IV. Блаженны верующие	44
Глава	V. Воскресные молитвы	53
Глава	VI. Бонапарт Бленкинс вьет гнездо . . .	62
Глава	VII. ...Расставляет силки	67
Глава	VIII. ...И проводит на мякине старого воробья	71
Глава	IX. Бонапарт убегает от призрака	81
Глава	X. Бонапарт показывает зубы	88
Глава	XI. ...Пытается укусить	91
Глава	XII. ...И кусает	98
Глава	XIII. Faire l'amour	109

Часть вторая

Глава	I. Бытие	115
Глава	II. Вальдо и незнакомец	133
Глава	III. Грегори Роуз встречает свою суженую	151
Глава	IV. Линдал	161
Глава	V. Тетушка Сэнси устраивает ночные посиделки, а Грегори пишет письмо . .	178
Глава	VI. Бурская свадьба	186
Глава	VII. Вальдо отправляется странствовать по белому свету, чтобы узнать жизнь, а Эмм остается дома и тоже познает жизнь . . .	198
Глава	VIII. Курган	202
Глава	IX. Линдал и странник	210
Глава	X. Отъезд Грегори Роуза	218
Глава	XI. Неоконченное письмо	222
Глава	XII. Грегори и Линдал	236
Глава	XIII. Сны	256
Глава	XIV. Вальдо греется на солнце	262

РАССКАЗЫ И АЛЛЕГОРИИ

*Перевод с английского
А. Симонова*

Политика борьбы за протекционизм	273
Ес роза	280
Соп	284
Тайна художника	287
Дары жизни	288
«Мнилось мне, я стою...»	288
На дальней земле	290

Шрейнер Оливия.

Ш 86 Избранное. «Африканская ферма». Роман. Рассказы и аллегории. Пер. с англ. Вст. статья А. Давидсона. М., «Худож. лит.», 1974.

296 с.

В «Избранное» входят роман «Африканская ферма», первое правдивое, без экзотических прикрас описание жизни в прежней Африке, рассказы и аллегории, о которых М. Горький писал, что «Оливии Шрейнер превосходно удается объединить... крупное идейное содержание с художественным изложением».

Ш $\frac{70304-231}{028(01)-74}$ 197-74

И (Афр)

**ОЛИВИЯ
ШРЕЙНЕР
ИЗБРАННОЕ**

**Редактор А. Ибрагимов
Художественный редактор Ю. Коннов
Технический редактор Е. Полонская
Корректоры
Г. Киселева и О. Наренкова**

Сдано в набор 14/XII-1973 г. Подписано в печать 13/V-1974 г. Бумага типографская № 3. Формат 84×108¹/₃₂. 9,25 печ. л. 15,54 усл. печ. л. 16,335+1 вкл.—16,385 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ 1496.
Цена 66 коп.

Издательство «Художественная литература», Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано с матриц Ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28 на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР,
ул. Воровского, 24.

